

ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИЗМА
В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

КОНЕЦ XVIII-
НАЧАЛО XIX В.



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

XVIII

В Е К

СБОРНИК

13

ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИЗМА
В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

КОНЕЦ XVIII-
НАЧАЛО XIX В.



ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1981

Отв. редакторы

Г. П. МАРОГОНЕНКО, А. М. ПАНЧЕНКО

П $\frac{70202-590}{042 (02)-81}$ 492.81.4603010101.

© Издательство «Наука», 1981 г.

Г. П. МАКОГОНЕНКО

**ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЗМА
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

1

Историзм несомненно является важнейшей особенностью новой русской литературы. Но с какого времени должно вести его историю? Практика свидетельствует, что традиционно точкой отсчета оказывается «Борис Годунов» Пушкина. Тем самым подчеркивается, что в России историзм выступает одновременно с реализмом и как его важнейший атрибут. Литературе до Пушкина (точнее — до написания «Бориса Годунова») в историзме логично отказано. Взгляды на историю писателей-романтиков, писателей-декабристов и писателей-просветителей характеризуются как антиисторические. Справедливо ли это? Исторично ли наше сегодняшнее представление о времени формирования историзма в русской литературе?

Обращение к европейской литературе открывает нам другую закономерность. В Англии, например, историзм как принципиально новое понимание истории отчетливо проявляет себя в десятилетия XIX в. внутри романтической системы Вальтера Скотта. Историзм надолго оказался связанным именно с романтическим мировоззрением. На опыт Вальтера Скотта опирались французские историки, выступившие в 1820—1830-е годы со своими фундаментальными трудами по истории (в частности, по истории французской революции 1789—1793 гг.). Созданная ими школа романтической историографии и придала классический характер историзму на его домарксовской стадии развития.

Немецкая литература дает иной ответ на вопрос о времени зарождения историзма. Факты утверждают, что формирование исторического мышления началось в последнее тридцатилетие XVIII столетия, и проходило оно в рамках и на фундаменте просветительской идеологии, в доромантический период европейской литературы. «Отцом историзма» справедливо называют Гердера,

который своими трудами дал мощный толчок для выработки нового понимания истории.

Насущная необходимость истории историзма очевидна. Ее отсутствие свидетельствует о неразработанности этой важнейшей проблемы. Хотя следует признать, что и у нас, и за рубежом систематически выходят работы, посвященные, в частности, французским историкам, В. Скотту, Гердеру и вообще проблемам историзма. Вопрос же о том, как в русской литературе до Пушкина в ответ на требование времени начался пересмотр философии истории просветителей и стало формироваться подлинно историческое мышление, давно стоит перед литературоведческой наукой. Пора его решать, т. е. исследовать проходивший на протяжении полувека (до пушкинского «Бориса Годунова») сложный, противоречивый, но нацеленный на будущее процесс выработки нового понимания истории, в ходе которого история начинала открывать тайны своего развития.

Процесс, проходивший в России, соотносится с тем, что делалось в других европейских странах — Германии, Франции, Англии прежде всего. Русская литература участвовала в общеевропейской борьбе за новую философию истории, делала первые шаги в избранном направлении. Изучение этого процесса требует тщательного собирания нужного материала, просмотра под этим углом зрения всего написанного за это полу столетие, исследования собранного и прочитанного, отказа от устоявшихся догматических априорных представлений об антиисторизме русской литературы до Пушкина. На этом пути откроется много неожиданного, интересного и благодарного. Труд исследователей будет вознагражден. Но уже сейчас ясно, что в становлении историзма на его начальной стадии огромная роль принадлежит Радищеву и Карамзину. Пушкин начинал не на пустом месте: ему было на что опереться — и на русский и на западноевропейский опыт. Опыт русской литературы последней трети XVIII и первой четверти XIX столетия и должен быть предметом рассмотрения, изучения и обобщения.

При этом необходимо, опираясь на факты, преодолеть антиисторический взгляд на просветительскую философию истории, покончить с недооценкой огромного вклада просветителей в познание прошлого, в формирование основ новой исторической науки. Чаще всего в характеристике освободительной идеологии просветителей подчеркивается антиисторизм их взглядов на общество и человека, обращается внимание только на эту особенность их убеждений. Действительно, великие французские просветители, даже материалисты в философии, оставались идеалистами в объяснении общественных отношений. Отсюда исторически закономерно утверждалась механистичность и антиисторичность их воззрений на историю.

Беспощадно критикуя феодальное общество, просветители признали перед судом разума неразумными все прежние установле-

ния и представления. Оттого они не признавали самостоятельного значения исторического прошлого и прежде всего средневековья с его, как они утверждали, варварством и суевериями. «Мир в течение прошедших веков руководился нелепыми предрассудками; лишь теперь его озарил яркий свет разума, и все прошлое заслуживало лишь сострадания и презрения».¹ Для Дидро, например, история человечества — это история угнетения его кучкой мошенников. Мерсье рассуждал еще категоричнее: «История — это сток нечистот, где кишат преступления, совершенные родом человеческим».²

При рассмотрении просветительской философии истории Энгельс отмечал ее антиисторизм. «В области истории — то же отсутствие исторического взгляда на вещи». «На средние века смотрели как на простой перерыв в ходе истории, вызванный тысячекратным всеобщим варварством. Никто не обращал внимания на большие успехи, сделанные в течение средних веков: расширение культурной области Европы, образование там в соседстве друг с другом великих жизнеспособных наций, наконец, огромные технические успехи XIV и XV веков. А тем самым становился невозможным правильный взгляд на великую историческую связь, и история в лучшем случае являлась готовым к услугам философов сборником примеров и иллюстраций».³

Механистичность воззрений просветителей XVIII в. (даже материалистов) приводила к тому, что они оказывались не способными понять мир — и природу и историю человечества — как процесс, как непрерывное и, главное, обусловленное материальными факторами развитие. Это бесспорная истина. Но не должно забывать, что уже в конце XVIII в. некоторыми просветителями обоснована мысль о неспособности этой философии истории объяснить причины развития, что с 1770-х годов стали публиковаться работы, в которых отчетливо проявлялись тенденции принципиально нового понимания общества и человека. Более того, именно в эту пору начался, с одной стороны, пересмотр механистического понимания истории, а с другой — в ходе пересмотра в старых работах просветителей обнаруживались гениальные догадки о причинах развития общества.

В трудах Монтескье, Юма, Руссо, Мабли, Рейналя, Дидро уже находились отдельные элементы понимания подлинного механизма общественных отношений, которые в той или иной степени способствовали преодолению антиисторического взгляда на историю.

История европейского Просвещения убеждает, что преодоление механистического взгляда на историю как на сборник примеров и иллюстраций умозрительно созданной той или иной философ-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 1-е изд., т. XIV, с. 357. (Во 2-м изд., т. 20, с. 17, мысль эта переведена иначе).

² Ранний буржуазный реализм. Л., 1936, с. 38.

³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 287—288.

ской концепции и выработка основ подлинно исторического мышления осуществлялись на протяжении многих десятилетий; это был сложный процесс исследований, исканий, догадок, но важно помнить, что начался он в ту же эпоху Просвещения и часто в недрах самого Просвещения. Такова диалектика исторического развития науки об истории.

Домарксов историзм складывался на протяжении почти целого века. Естественно, на этот процесс мощное влияние оказывало время (бурные политические и социальные события, развитие философии и прежде всего диалектики, возникавшие острые общественные проблемы, заставлявшие обращаться в поисках истины к опыту истории, и т. д.), расчленившееся на определенные этапы или периоды. Через какие же периоды проходила пытливая человеческая мысль, стремившаяся познать законы истории? В научной литературе бытуют некоторые определения: пишут о реалистическом историзме (Пушкин), о романтическом историзме (В. Скотт, французские историки). Закономерно начальный этап этого процесса — конец XVIII и начало XIX в. — именовать просветительским историзмом. Самыми крупными деятелями этого периода являются Рейналь и Гердер. В России он дал Радищева и Карамзина.

Термин «просветительский историзм» только на первый взгляд кажется парадоксальным, и в этом вина нашего неисторического, некоего суммарного и абстрактного представления о воззрениях просветителей на историю. В действительности именно этот термин несет в себе нужную и важную информацию о великой роли просветителей в выработке новой философии истории, о первых достижениях на пути к познанию законов развития. С другой стороны, в этом термине содержатся объясняемые временем идейные, теоретические, философские в конце концов, слабости нового метода, характерные именно для него недостатки в познании прошлого и объяснении настоящего. И это оправданно, поскольку историзму (как определенной системе взглядов) каждого конкретного этапа свойственны определенные и присущие только ему особенности. При таком условии мы пойдем диалектику процесса формирования исторического мышления.

Как бытующий в науке об истории термин «романтический историзм», так и термин «просветительский историзм», конечно, носит условный характер. И в том и в другом случае не идет речь о какой-то школе с четко изложенной программой, но обозначается конкретное направление усилий человечества к постижению законов развития истории в разные эпохи.

Историзм начинается с преодоления (в той или иной степени) метафизического подхода к истории, т. е. преодоления такого взгляда, когда отдельное событие рассматривается обособленно, вне связи с другими, вне процесса и развития, как проявление случайности и т. д. Историзм означал рождение нового взгляда на события прошлого. Он отстаивал принцип постоянного измене-

ния, развития и совершенствования общества. Историзм делал возможным понимание места каждого народа в прошлом человечества, своеобразия культуры каждой нации, он приоткрывал будущее, устанавливал связь современности с прошлым, которое ее подготавливало.

Кстати, термин «просветительский историзм» был уже употреблен в нашей науке при характеристике исторических взглядов автора «Духа законов». Имя Монтескье названо не случайно. Именно в его популярнейшей в XVIII в. книге государство рассматривалось с исторической точки зрения как закономерно возникший и развивавшийся социальный организм. Современный уровень и степень изученности Просвещения позволяет в термине «просветительский историзм» аккумулировать то новое, что появилось у самих просветителей в понимании истории, что способствовало преодолению механистичности их философии истории.

Для того чтобы понять особенности и своеобразие начального этапа формирования исторического взгляда на историю — просветительского историзма, необходимо кратко охарактеризовать созданную просветителями философию истории.

2

Век Просвещения явился крупной вехой в развитии исторической науки. Великие французские просветители выступили революционно, подвергнув беспощадному суду не только существовавший феодальный режим, но и все унаследованные от прошлого воззрения (на общество, природу, историю), которые были отвергнуты как неразумные. Была отвергнута и религиозная концепция истории, господствовавшая многие века. Решительно преодолевая влияние священной истории, просветители создали гражданскую историю, историю цивилизаций, культур, государств и народов. Ими была разработана философия истории (термин Вольтера), в основе которой лежала идея прогресса в истории и единство исторического процесса.

Исследователь Гердера В. М. Жирмунский писал: «Эпоха Просвещения выдвинула идею единства исторического процесса и прогресса в истории; на место старой религиозной концепции истории как осуществления плана „божественного спасения“ рода человеческого она поставила вопрос о закономерности общественного развития и ее материальных факторах — в наивной форме так называемого „географического материализма“ (учение Монтескье о зависимости общественного устройства от «климата», т. е. от совокупности физико-географических факторов)».⁴

Идея прогресса определяла важную и высокую общественную

⁴ Жирмунский В. М. Жизнь и творчество Гердера. — В кн.: Гердер И. Г. Избр. соч. М.; Л., 1959, с. XLV.

роль исторических сочинений, само развитие исторической науки. Прошлое могло объяснять настоящее. Вот почему XVIII век стал веком бурного развития интереса к истории у широких кругов читателей, веком создания капитальных сочинений по истории — в Англии, Франции, Германии и России — и многочисленных работ, посвященных проблемам теории и философии истории, среди которых особое место занимали статьи, печатавшиеся в «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера.

Современный исследователь так характеризует исторические воззрения энциклопедистов: «Задача науки истории и просвещенного историка состоит в том, чтобы дать обществу картину прошлой жизни и тем самым наметить цель дальнейшего движения исторического процесса. Для энциклопедистов эти цели заключались в преобразовании общества ради достижения счастья людей. Поэтому руководящим началом в их философии истории была идея прогресса. Она освещала не только прошлое, но и будущее. В соответствии с ней энциклопедисты строили периодизацию истории».⁵

Интерес русских людей к истории родины, к прошлому русского народа был обусловлен событиями общественной жизни начала XVIII в. Время преобразований требовало и создания мощного духовного и нравственного потенциала, мобилизации внутренних ресурсов нации, концентрации того многовекового ее опыта, который накопился со времен отражения далеких набегов кочевников на русскую землю, в борьбе за единство государства и в низвержении монголо-татарского ига. В петровский период и происходила аккумуляция «духа» и нравственного опыта нации и повое обогащение этого духа и опыта в процессе осуществления громадных планов преобразования России, итогом которых явилось историческое самоутверждение народа, глубоко верящего в свое будущее. Закономерно в этих условиях стал развиваться интерес к прошлому России, к героическим страницам ее истории, к историческому объяснению и обоснованию проходившего на глазах у всех «великого метаморфозиса», бурного развития чувства национальной гордости и патриотизма.

Необходимость осмысления истории своего отечества остро осознавалась уже Петром I. То, что делалось сейчас, должно было связать с прошлым. Отсюда стремление Петра дать россиянам краткую историю России. В 1708 г. по его приказу Федор Поликарпов принялся сочинять книгу «от начала княжения Василия Ивановича до последнего времени». Автор был выбран неудачно, книга не получилась. Второй опыт увенчался успехом: А. Манкиев представил нужную книгу «Ядро Российской истории». Петр I требовал собирать по монастырям летописи, вынашивал идею создания большого труда по истории России, веря, что не

⁵ Люблинская А. Д. Историческая мысль в Энциклопедии. — В кн.: История в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера. М., 1978, с. 245.

иностранцы, а только сами русские смогут создать настоящую и подлинную историю отечества.

«Поднимающаяся нация», утверждая себя во всемирных деяниях, стремилась прочно опереться на свой исторический опыт. Так естественно возник вопрос о возрождении славных традиций прошлого, того, что было предано забвению. Эта потребность удовлетворялась и художественной литературой (например, поэтическое творчество Ломоносова и трагедии Княжнина) и многими историческими сочинениями. Несомненно, идейные позиции и цели исторических писателей были различны, неодинаковыми были и результаты их деятельности. Но важно помнить, что на протяжении века выходили исторические труды, шел бурный процесс собирания ценнейших документов, разрабатывались теоретические проблемы истории. Читатель получал труды Ломоносова и Татищева, Щербатова и Болтина, Голикова и Туманского. Серьезной разработкой исторических проблем и собиранием документов занимались Миллер и Шлоссер. Важный вклад в изучение истории России сделали писатели — Радищев, Новиков, Муравьев и, наконец, Карамзин, автор громадного сочинения — «История государства Российского».

Нараставший из десятилетия в десятилетие интерес к русской истории привел к тому, что ею стали заниматься сотни людей. По свидетельству современного исследователя, «историческая наука создавалась не только ее корифеями, но и тысячами различных людей — историками и неисториками, писателями и учеными, лицами гражданского, военного и духовного звания, переводчиками и издателями, разрабатывалась в Москве и Петербурге, Оренбурге и Архангельске, Казани и Астрахани, в Сибири и на Украине и в других центрах России».⁶

Особое внимание к истории отечества проявляли русские писатели. Они тщательно изучали летописи, собирали документы, публиковали их и обращались с призывами к соотечественникам спасать от гибели драгоценные свидетельства о прошлом России и ее замечательных деятелях. Особо велики заслуги по собиранию исторических материалов Н. Новикова, Ф. Туманского, И. Голикова. Характерным образчиком таких постоянных «воззваний» к читателям служит, например, призыв, напечатанный в журнале «Российский магазин»: «Любезные соотчичи! позвольте воззвать вас к открытию многих сокрытых источников, нужных к познанию России, драгоценного отечества нашего: потрудитесь ко благодарности современников и потомства извлечь из тьмы, а может быть, и от гибели сохранить многие бумаги, относящиеся к истории церковной, гражданской, естественной, к географии, к повестям, нравоучению, хозяйству, домостроительству, военному бывшему образу, обрядам, памятникам, редкостям, произведениям торговли, художествам, ремеслам, добродейаниям частных людей

⁶ Пештич С. Л. Русская историография XVIII века. Л., 1971, ч. 3, с. 77.

и существовавшим где-либо заведениям, наукам, рукоделиям, службе разных родов, и проч. и проч.»⁷

Исторические сочинения русских писателей — Радищева, Новикова, Туманского, Муравьева (большие работы и отдельные статьи и заметки по общим и частным вопросам) опирались на летописи, на различные документы, уже опубликованные или самими авторами собранные. В то же время все написанное ими об истории вообще и России в частности было обусловлено просветительской философией. Они не только знакомились с трудами английских историков или французских просветителей, но пропагандировали их, переводя и публикуя или отдельными книгами, или в виде статей в журналах, а иногда и спорили с отдельными авторами (Вольтером, Руссо, например).

Теория прогресса чаще всего и наиболее эффективно трактовалась и усваивалась как идея развития. Пожалуй, это была самая популярная идея века. Она покоряла умы, управляла мышлением, определяла разыскания по истории, способствовала пониманию прошлого и настоящего, помогала рождению исторического представления о культуре человечества, о совершенствовании науки, литературы, искусств.

Идея развития была девизом рождавшейся новой философии не только истории, но и жизни, она обещала раскрытие многих тайн бытия. Вот почему в журналах и книгах писали о развитии культур, наук, искусства, общества, просвещения и нравов. Литература начала рассматривать человека в динамике, учила ценить мгновение бытия как момент быстротекущей, развивающейся и меняющейся жизни. Появилось острое ощущение времени в его объективном и субъективном плане. Муравьев в 1778 г. писал сестре из Петербурга: «Время течет; останавливай его. Всякая минута, которую в свою пользу употребишь, не вечно для тебя пропала. Чувствуй свое бытие».⁸ В статье «Дщцы для записывания», опубликованной Новиковым в «Утреннем свете» (1778, IV), Муравьев делился своим размышлением: «Считай мгновения: каждое приходило к тебе, способно поместить доброе дело. Сколько уже повергалось их в бездну вечности! Тебе уже осталось мгновение жить». Подобные же представления определяли категорию времени в лирике Муравьева. В стихотворении «Роща» читаем:

К приятной тишине влечется мысль моя,
Медлительней текут мгновенья бытия.

Г. А. Гуковский обратил на это внимание, указав, что главное в этом стихотворении «утверждение субъективности времени как философской категории. Время становится формой восприятия мира, а не объективным фактом».⁹ Это справедливо. Но возможность утверждения субъективного времени в нравственном мире

⁷ Российский магазин, 1792, ч. 1, с. 545—546.

⁸ Письма русских писателей XVIII в. Л., 1980, с. 280.

⁹ Гуковский Г. А. Очерки русской литературы XVIII века. Л., 1938, с. 283.

личности была порождена объективным фактом рождения идеи развития, пониманием течения времени.

Идея развития позднее будет определять стихотворение Радищева «Оснадцатое столетие». В оде «Вольность» говорится о развитии общественного строя в государствах как «законе природы», делается «прорицание» о будущем «жребии отечества», когда «человечество возревет в оковах и, направляемое надеждою свободы и неистребимым природою правом, двинется... И власть приведена будет в трепет»... «Мрачная твердь» рухнет и «вольность воссияет».¹⁰

Именно просветители, и прежде всего французские, способствовали широкому, всеевропейскому распространению идеи развития. Она не только распространялась, но и разрабатывалась учеными и писателями разных стран, применялась и к сфере мышления человека, и к культуре, и к природе, и, наконец, к обществу. Закономерно, что обстоятельства общественного бытия различных стран, с одной стороны, индивидуальность писателей и ученых — с другой, обуславливали направление и характер разработки идеи развития.

А. В. Гулыга прослеживает становление идеи развития и ее дальнейшую разработку у Гердера. В 1760-е годы Гердер попытался идею развития «приложить к изучению поэзии — вида искусства, который был ему особенно близок» («Опыт истории поэзии», 1766—1767). Затем он занимается историей возникновения языка и, связав его с развитием культуры, «ставит вопрос о преемственности в развитии культуры». Исследователь показывает постепенное расширение сферы применения идеи развития: «Идея развития, зародившись первоначально как мысль о естественном происхождении поэзии, языка и мышления, постепенно распространяется Гердером на природу и общество. Конечно, это еще лишь смелые догадки, заключенные подчас в богословскую и даже мистическую оболочку».¹¹

В России так сложилось, что идея развития была применена к проблеме социальной, к вопросу происхождения крепостного права. Опиралась эта идея на документ. В. Н. Татищев обнаружил, откомментировал и представил в Академию наук еще в 1739 г. «Судебник» Ивана Грозного. Впервые он был издан только в 1768 г. Второе издание вышло в 1786 г. благодаря стараниям Н. Новикова. Изучение исторического документа XVI в. позволило сделать вывод, что крепостное право существовало не вечно, что «до царя Федора Ивановича были все крестьяне вольные» и только Борис Годунов в 1592 г. вольность эту «отнял и учинил крепостными».¹²

¹⁰ Радищев А. Н. Избр. соч. М.; Л., 1952, с. 174.

¹¹ Гулыга А. В. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». — В кн.: И. Г. Гердер. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, с. 615, 618.

¹² Попов Н. В. Н. Татищев и его время. М., 1861, с. 760.

«Судебник» вышел в год, когда в Комиссии о сочинении Нового уложения разгорелись споры по крестьянскому вопросу. История приходила на помощь современности — она свидетельствовала, что крестьяне много веков были вольными, а при Борисе Годунове началось закрепощение и оно продолжалось многие десятилетия. Никакого закона, оправдывающего введение крепостного права, не существовало. Демократические депутаты в Комиссии не посмели поставить вопрос о ликвидации крепостного права — они требовали вмешательства власти в отношения помещиков и крепостных, поскольку никаких законов о закрепощении не было, требовали законов, хотя бы ограничивающих права дворян и защищающих «питателей отечества».

Споры в Комиссии по крестьянскому вопросу, а потом восстание под руководством Пугачева способствовали распространению идеи развития на социальные отношения России. В 1788 г. И. Н. Болтин, стремясь объяснить происхождение крепостничества, выдвинул так называемую «бытовую» концепцию. «Нет закона, делающего лично крестьян помещикам крепостными; обычай мало-помалу введенной обращать их в дворовых людей, прямо в противность уложенные статьи о сем, и под названием дворовых продавать их поодиночке сначала был терпим, послабляем, превратно толкуем, обратился наконец, через долговременное употребление, в закон».¹³

При всей социальной несостоятельности этой концепции не следует забывать главного в ней — она подчеркивала незаконность рабства в России. Незаконность оправдывала борьбу народа за отнятую помещиками свободу, она позволяла Радищеву показать современные результаты угнетения крестьян помещиками.

Идея развития красной нитью проходит через философские, критические и исторические сочинения Новикова и Карамзина, она определяет образ мышления самых различных писателей. В идее развития, может быть, ярче всего отражались грозные сполохи народных мятежей, восстаний и революций, потрясших мир в последнюю треть XVIII века. Идея эта объясняет американскую революцию 1776—1783 гг. в книге Рейналя, в оде Радищева «Вольность», в статьях, посвященных этому событию и напечатанных в новиковском издании «Прибавление к „Московским ведомостям“». С тех же позиций будет оцениваться и французская революция Карамзиным. О «развитии» постоянно говорилось в статьях «Московского журнала».

Видимо, оттого это слово так и пугало Шишкова, что он считал нужным призвать соотечественников отказаться от этого термина, забыть его и пользоваться другим, старорусским словом, которое не таило в себе опасных ассоциаций, — «прозябать».¹⁴ Свое пред-

¹³ Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным. СПб., 1788, т. II, с. 211.

¹⁴ Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1803.

ложение он пытался филологически обосновать. В русском языке есть глагол — «развить», «развивать» (противоположное — «свивать»), который означал действие: раскручивать, расплетать, развивать свитую веревку. Использовалось это слово и в переносном смысле: «силы у него еще не развились».

Но в литературе конца 1790-х и 1800-х годов утвердилось новое значение старого слова — обобщенное, абстрактное — *развитие*. Это и рост, и переход из одного состояния в другое, и движение по восходящей, от низшего к высшему. Во французском языке существует слово для выражения идеи роста — *développement*. Потребность в новом термине в связи с концепцией прогресса в истории привела к приспособлению старого слова для выражения нового смысла. Термин *развитие* наполнился новым содержанием, он стал способен раскрывать философский смысл идеи прогресса.

Все это вызывало протест Шишкова. Он сознательно (а может, по ошибке) «новомышленное слово» «развитие» толкует как перевод «французского глагола *developper*», что означает: развернуть (газету, журнал), развить (тело, мускулы). Возводя ненавистный ему новый термин «развитие» к глаголу *developper* вместо *développement*, Шишков издевается над «неграмотным» и, как ему кажется, недопустимым употреблением его как «развитие» в обобщенном значении. Цитируя песню «Ты развейся, камка хрущотая», он заключал: «Здесь развитие камки я понимаю; но чтоб постигнуть *развивание понятий*, признаюсь, что на этот раз ум мой не „развивается“ и остается тем же „свитым“, как прежде был». Чтобы избавиться от неудобного слова, Шишков предлагает вместо «развиваться» в приводимой им фразе («развивались первые мои метафизические понятия») употреблять «прозябать» («первые мои метафизические понятия прозябали»). Глагол этот Шишков превозносит, именует «прекрасным и многозначущим», поскольку он передает разные смыслы: и «делать землю плодородною», и «производить одну какую-либо вещь из другой какой-либо вещи», и «произрастать, исходить из земли или из чего иного».¹⁵ Но, несомненно, главное достоинство глагола «прозябать» для Шишкова заключалось в том, что он начисто лишен был способности выражать современное и грозное содержание идеи развития.

3

Просветительской концепции прогресса в истории как развития по восходящей линии от низшего к высшему противостояла в XVIII в. теория круговорота, выдвинутая итальянским философом и социологом Д. Вико. Как и просветители, Вико опровергал теологическое понимание истории; в своем главном произведении «Основания новой науки об общей природе наций» (1725) он развернул учение о цикличности развития человеческого общества. Согласно Вико, общество проходит стадию детства (период бо-

¹⁵ Там же, с. 296, 300—303.

гов), юности (героический период) и зрелости (человеческий период), в котором и живет современное человечество. «Человеческий период» — высший, после него общество начнет разрушаться, и человечество вновь перейдет к первобытному состоянию.

Радищев так передает суть этой исторической концепции: «Читая историю всех времен и всех столетий и видя, что все бывшие царства подвержены были переменам и переходили из хорошего в худое состояние и из худого в хорошее и, продолжавшись многие столетия, рушились. Я думал, что и всякое государство будет тому ж подвержено. . .».¹⁶

Несмотря на пессимизм, теория Вико сыграла свою роль в выработке исторического мышления, поскольку главное в ней — учение о развитии, которое определяется объективными законами, свойственными человеческому обществу. Общество все время меняет свой облик, поскольку в нем беспрестанно происходит столкновение различных социальных групп, идет борьба за власть и собственность. Именно в утверждении, что существуют объективные законы исторического развития общества, — главная ценность концепции Вико, ее значение для становления исторической науки.

Просветительская концепция прогресса в истории настоятельно требовала выяснения причин развития, постижения движущих сил истории, открытия общих законов, действующих в истории человеческого общества. Но философия истории просветителей (как и философия природы) оказалась не способной увидеть действительную связь исторических событий и открыть общие законы развития. Потребность же в постижении этих закономерностей была, и она удовлетворялась привнесением в историю тех или иных любимых философом или историком идей. Обусловливалось данное положение многими обстоятельствами, в том числе и идеализмом в понимании истории и метафизичностью мышления, которое рассматривало вещи и их умственные отражения, понятия в своей обособленности.

Преодоление метафизического мышления, отказ от идеалистического понимания истории и торжество диалектики и материализма осуществлялись на протяжении многих десятилетий, и окончательно завершился процесс только в XIX в. Но началось это преодоление в эпоху Просвещения. Идея развития оказалась ариадниной нитью, которая помогла человечеству выйти из тьмы и хаоса прошлого, объяснить и сегодняшний день прошлым, установить связь времен, т. е. выдвигала мысль о действовании в истории неких общих законов. Оттого вторая половина XVIII в., и особенно последняя его треть, ознаменовались напряженными поисками человечеством этих тайных, но неумолимо действующих законов развития общества. Поиски не оказались безрезультатными — из десятилетия в десятилетие росло число догадок, пред-

¹⁶ Радищев А. Н. Избр. соч. М.; Л., 1949, с. 679.

положений, прорывов в метафизическом мышлении и выходов к диалектике. На этом фундаменте и складывался просветительский историзм, вооружавший не только историков, но и философов, и социологов, и особенно писателей.

Литература начинала новый этап своей истории. Теория Вико получала отклик у тех просветителей-писателей, кто уже непосредственно закладывал основы историзма, — Гердера и Радищева. Маркс ценил сочинение Вико и видел в нем «немало проблесков гениальности».¹⁷ Такими проблесками и были догадки, помогавшие преодолению метафизического мышления. Их видели, понимали, усваивали и другие мыслители. Радищев, например, в «Путешествии из Петербурга в Москву» так определяет суть установленных Вико объективных закономерностей исторического развития общества: «Таков есть закон природы; из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...»¹⁸ Опираясь на положение Вико о существовании объективных законов общественного развития, Радищев, как увидим, смог эти законы открыть в сфере социальных отношений.

В 1748 г. вышла книга Монтескье «Дух законов», ставшая на долгое время программным документом просветителей. Излагая историю различных государств, Монтескье высказывал мысль о закономерности всего существующего. Помимо законов природы, утверждал он, существуют законы, создаваемые людьми, которые неодинаковы у разных народов, они изменяемы по потребностям. Но главное, законы эти определены условиями жизни людей. И в этой связи Монтескье обосновывал огромную роль географического фактора; человеческими действиями управляют климат, религия, законы, правительственные распоряжения, примеры прошлого, нравы и обычаи. Совокупность всех этих обстоятельств и их взаимодействие рождает «дух народа», которому и должны соответствовать устанавливаемые в обществе законы.

Объяснение существования различного типа государств и их политического устройства географическим фактором — наглядное проявление идеализма в понимании истории. Но в то же время теория географического фактора сыграла немалую роль в становлении исторического мышления, поскольку наглядно и убедительно указывала на существование объективных причин развития общества. Закономерно, что Гердер широко использовал в своем понимании истории географический фактор Монтескье. В ряду других факторов называет его и Радищев.

Материалистические догадки в понимании истинных законов общественного развития мы находим в произведениях Дидро, Гельвеция, Руссо. Известно, что Руссо приблизился к подлинно историческому пониманию происхождения неравенства, объяснив его появлением частной собственности. И опять же закономерно,

¹⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 30, с. 512.

¹⁸ Радищев А. Н. Избр. соч. М.; Л., 1952, с. 173. Далее цитируется это издание.

что это отступление от метафизического мышления было замечено и усвоено многими идеологами, и в частности в России Радищевым.

Вот пример его рассуждений о законах развития с опорой на Монтескье и Руссо: «Но если климат и вообще естественность на умственность человека столь сильно действуют, паче того образуется она обычаями, нравами, а первый учитель в изобретениях был недостаток. Разум исполнительный в человеке зависел всегда от жизненных потребностей и определяем был местоположениями. Живущий при водах изобрел ладью и сети; странствующий в лесах и бродящий по горам изобрел лук и стрелы и первый был воин; обитавший на лугах, зелению и цветами испещренных, удомвил миролюбивых зверей и стал скотоводитель. Какой случай был к изобретению земледелия, определить невозможно. . . Как бы то ни было, земледелие произвело раздел земли на области и государства, построило деревни и города, изобрело ремесла, рукоделия, торговлю, устройство, законы, правления. Как скоро сказал человек: сия пядень земли моя! он пригвоздил себя к земле и отверз путь зверообразному самовластию, когда человек повелевает человеком. Он стал кланяться воздвигнутому им самим богу, и облекши его багряницею, поставил на алтаре превыше всех, воскурил ему фимиам; но наскучив своею мечтою и страшнув оковы свои и плен, попрал обоготворенного и преторг его дыхание. Вот шествие разума человеческого. Так образуют его законы и правление, соделывают его блаженным или ввергают в бездну бедствий».¹⁹

Подобное понимание законов общественного развития, «шествия разума человеческого», опирающееся на материалистические догадки или диалектические открытия, блестяще демонстрирует уровень и характер просветительского историзма в последней трети XVIII в. со всеми присущими ему сильными и слабыми чертами.

4

Формированию просветительского историзма способствовали социальные катаклизмы эпохи, революции в Америке и во Франции. Американская революция, прозвучавшая, по словам Маркса, «набатным колоколом для европейской буржуазии»,²⁰ оказала особо плодотворное влияние на французских, немецких и русских мыслителей, помогая преодолению метафизического подхода к истории. События за океаном не только привлекали к себе пристальное внимание многих народов Европы — они будили мысль, требовали ответа на насущные вопросы политики: чем вызвана эта революция, каким путем народ может добиться желанной свободы, какую роль играет вооруженная борьба народа в освобождении от деспотической власти? Потребность в ответах на эти во-

¹⁹ Радищев А. П. Избр. соч., с. 365.

²⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 9.

просы вызвала огромную литературу, посвященную американской революции.

Знаменательный пример плодотворного воздействия американской революции на выработку социальной и исторической концепции являет «История обеих Индий» Рейналя. Первое ее издание в 1770 г. представляло собой в основном обстоятельный свод различных сведений об экономике колониальных стран мира. Ее автор ставил задачу показать, что порядки и режим, введенные европейцами в колониях, не соответствуют тем разумным нормам общественного устройства, которые были провозглашены просветительской философией XVIII в.

События американской революции заставили Рейналя решительно обновить свой труд. Вместе с приглашенным Дидро Рейналь фактически переписывает книгу, большое внимание уделяет в ней американской революции, пропагандирует ее опыт, пересматривает в свете крупнейшего события современности многие старые просветительские доктрины, обосновывает новые пути к свободе, исторически объясняет причины революции и тем самым вносит серьезный вклад в формирование просветительского историзма.

Ю. Ф. Карякин и Е. Г. Плимак, изучавшие Просвещение конца века, опираясь на многочисленные факты, приходят к заключению, «что европейская просветительская идеология претерпела, как раз в период 70—80-х годов, существенную эволюцию в своем содержании». В частности, они обращают внимание на характер переработки «Истории обеих Индий» в ее третьем издании, написанном после начавшейся в 1776 г. американской революции. «Подавляющего большинства революционных идей либо вообще нет в изданиях 1770 и 1774 гг., либо они присутствуют там в зародышевой форме. Так, заключение первого издания глухо предупреждало английских колонизаторов о неминуемой революции, в третьем издании урокам совершившейся революции отводятся десятки страниц. В первом издании любые вооруженные раздоры именовались гражданскими войнами (*guerres civiles*), теперь этот термин четко противопоставлен термину „распри“ (*dissentions*). Осторожные намеки первого издания о „поучительности“ событий английской революции дополняются прямыми напоминаниями об эшафотах, воздвигнутых для тиранов-королей. . . В первом издании Рейналь, бичуя работорговлю, обращал к королям призывы „ниспровергнуть здание рабства“, в третьем, почти разуверившись в пользу подобных обращений, он заявляет, что восставшие рабы сами разобьют свои цепи. И хотя в последнем, третьем, издании сохраняются прежние, а порой вводятся и новые почтительные обращения к монархам, однако не они задают тон. Идея революции становится лейтмотивом произведения».²¹

²¹ Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Запретная мысль обретает свободу. М., 1966, с. 101—102.

Эволюция социально-политических убеждений обуславливала появление нового подхода к истории, приводила к отступлениям от метафизического рассмотрения явлений прошлого. Потому справедлив вывод Карякина и Плимака, что в третьем издании «Истории обеих Индий» имеются «признаки конкретно-исторического подхода к общественным явлениям», «отдельные элементы историзма». Правда, эти элементы историзма «не мешали Рейналю в любом месте, безотносительно к уровню развития изучаемой страны, рассматривать ее порядки в свете абстрактных принципов „природы“, „естественной справедливости“ и т. п.».²²

И все же появление «элементов историзма» знаменательно. Сочинение Рейналя и Дидро — важнейший идеологический документ, зафиксировавший на конкретных примерах истории разных стран преимущества нового понимания истории, вскрывший объективные закономерности общественного развития. В этой связи необходимо обратить внимание на глубокую зависимость появления «элементов историзма» от учета опыта происходившей на глазах просветителей революции. А интерес к революции и стремление обобщить ее опыт в свою очередь определяли появление недоверия к концепции просвещенного абсолютизма, рост скептического отношения к центральной политической доктрине просветителей.

Известно, что в конце жизни это скептическое отношение характеризует убеждения Гельвеция. Не менее красноречива эволюция взглядов Дидро. Веруя в огромные возможности преобразования страны волею просвещенного монарха, он принял приглашение Екатерины II и приехал из Парижа в далекий Петербург. Беседы с императрицей огорчили философа, но они не поколебали доктрины просвещенного абсолютизма, которую он исповедовал. Уехав из Петербурга в 1774 г., Дидро, остановившись в Гааге, еще раз перечитал «Наказ» Екатерины II «с пером в руках». Так появились его «Замечания на „Наказ“». Само составление «Замечаний» продиктовано все тем же намерением «учить царствовать» философа на троне. При их написании он был свободнее и искреннее, чем во время бесед с императрицей в Петербурге. Оттого в «Замечаниях» много горьких упреков.

Уже во «Вступлении» он констатировал: «Русская императрица, несомненно, является деспотом». И тут же выступал с советом: «...отказаться властвовать по произволу — вот что должен сделать хороший монарх, предлагая Наказ своей нации, если только монарх столь же велик, как Екатерина II, и столь же враждебен тирании, как она». Право советоваться обуславливалось верой: «Если, читая только что написанные мною строки, она обратится к своей совести, если сердце ее затрепещет от радости, значит она не пожелает больше править рабами».²³ Свои суровые

²² Там же, с. 97.

²³ Дидро Д. Собр. соч. в 10-ти т. М., 1947, т. X, с. 419—420.

«Замечания» Дидро, видимо, не отважился послать Екатерине II. Но они попали к ней после смерти философа. И ее сердце действительно «затрепетало», но не от радости, а от возмущения, и сокровенные мысли Дидро она назвала «лепетом» («Это сущий лепет, в котором нет ни знания вещей, ни благоразумия, ни предусмотрительности»²⁴).

Через несколько лет после посещения Петербурга Дидро, осваивая опыт американской революции, в третьем издании «Истории обеих Индий» возлагал надежды на обретение народом свободы не на просвещенного монарха, а на сам народ, на его вооруженную борьбу. Хотя и в этой книге рудименты концепции просвещенного абсолютизма сохранились.

Ту же закономерность в ее более последовательном проявлении мы видим на примере формирования убеждений Радищева. В начале 1780-х годов Радищев уже стоял на позициях революционных — обоспование этой позиции мы находим в оде «Вольность», писавшейся в 1781—1783 гг. Идея революции извлекалась из опыта истории английской и американской революций. Революционные убеждения и обусловили историчность мышления Радищева. Оттого ему оказалась чуждой концепция просвещенного абсолютизма. Она отсутствует в оде «Вольность». Она развенчана в «Писеме другу, жительствующему в Тобольске» (1782), на примере деятельности просвещенного монарха Петра I.

Возможность создания концепции просвещенного абсолютизма предопределялась в конце концов антиисторизмом просветителей. Рождение «элементов историзма» разрушало доверие к этой доктрине. Следует внимательно изучать факты преодоления философами или писателями надежд на просвещенного монарха. Несомненно в таких случаях мы обнаружим и преодоление метафизического мышления, и прорыв к историзму. Эта закономерность будет действовать и в позднейшие эпохи, когда историзм победит. Судьба Пушкина после 14 декабря 1825 г. это подтверждает: появление надежды на Николая I как возможного просвещенного монарха сопровождалось отказом от историзма («Стансы», «Полтава»). Возвращение в 1830-х годах на позиции историзма, углубление и обогащение его помогло не только преодолеть веру в просветительскую доктрину, но и художественными средствами раскрыть ее несостоятельность («Медный всадник», «Анджело»).

События американской революции вызвали глубокий интерес в России. Общеизвестно, какие теоретические выводы из ее опыта и тех обобщений, которые были в книге Рейналя «*Revolution de l'Amérique*», сделал Радищев в оде «Вольность». За борьбой американского народа следили широкие круги читателей грамотной России. В значительной мере этот интерес удовлетворял Нико-

²⁴ Сб. Императорского русского исторического общества, СПб., 1878, т. 23, с. 373.

лай Новиков своей газетой «Московские ведомости» и журналом «Прибавление к „Московским ведомостям“».

Крупнейшее политическое событие XVIII в. наглядно раскрывало роль народа в истории, в изменении несправедливого социального и политического строя: простые земледельцы, вооружившись, отстаивали свои права, свою свободу, свою собственность. Более того, в огне революции проверялись различные исторические и социологические концепции. Всем становилось ясным — должно изучать опыт революций. Вот почему высоко ценилась «История обеих Индий» (третье издание, вышедшее в 1780 г.). Обобщался опыт революции и в отдельной книге «Американская революция» (1781), составленной из отдельных глав «Истории обеих Индий».

Н. И. Новиков на протяжении нескольких лет сообщал в своей газете русским читателям подробный ход событий за океаном. В 1783 г. после победы американской революции он поместил серию биографий крупнейших просветителей и деятелей революции — «Примечания о некоторых славных людях нынешнего столетия, взятые из одного новейшего французского сочинения», в котором определялись их заслуги перед человечеством. Уже в этом проявилась замечательная мысль о роли философов и писателей в общественной жизни. Важно и то, что данные биографии, появившись во Франции, немедленно стали достоянием русской публики. Это наглядный пример осознания общности стремительного процесса познания настоящего и прошлого.²⁵

Сначала шли биографические очерки, посвященные Монтескье, Вольтеру, Руссо, Бюффону. В последующих номерах газеты печатались «Примечания» к биографиям Рейналя, Франклина, Адамса, Вашингтона. Характерно определение заслуг Рейналя: «Он приобучил народы размышлять о своих важнейших интересах». Трудно точнее определить смысл деятельности историографа американской революции — «приобучать народы» (не царей!) думать о своих интересах, опираясь на опыт американского народа. То же делал и Радищев в оде «Вольность». Рассказывая о победе вооруженного народа за океаном, он заявлял:

К тебе душа моя вспаленна,
К тебе, словутая страна,
Стремится, гнетом где согбенна
Лежала вольность попрана;
Ликуешь ты! а мы здесь страждем! . .
Того ж, того ж и мы все жаждем;
Пример твой мету обнажил. . .

Пример этот прежде всего оказал огромное влияние на характер исторических воззрений в последние десятилетия XVIII в. Французский автор биографий «славных людей нынешнего сто-

²⁵ Подробнее об этом см.: *Макогоненко Г. П.* Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века. М.: Л., 1951, с. 369—397.

летия» в своих лаконичных очерках демонстрировал новое понимание истории. В этом отношении заслуживает особого внимания «примечание» к биографии Вашингтона. Это миниатюрный трактат на тему: каковы условия победы восставшего народа. Изучение прошлого и опыта американской революции позволяло сделать следующий вывод: в двух случаях народное восстание не достигает цели. Во-первых, «когда народ возмущается и выбирает себе предводителей, которые не питают в себе того же духа вольности, коим он оживлен, то они пользуются сим случаем для угнетения его, и тогда он (народ, — *Г. М.*) переменяет только цепи, нимало не облегчающие его неволю». Во втором случае — «равным образом, когда и предводители возбуждают народ к бунту и когда он (народ, — *Г. М.*) не предвидит для себя от того таких же выгод, каких они (предводители, — *Г. М.*) ожидают, то он весьма скоро скучает смятением и возвращается незапно к своему естественному игу, в таком случае возмущение учиняется одним только волнением».²⁶

Подобное размышление проникнуто духом историзма, оно объясняет то, что в прошлом казалось непонятным. Американская революция продемонстрировала те условия, которые ведут к победе: «Но когда народ и его предводители ведомы суть тем же духом и воспламенены теми же страстями, то первое волнение содействует совершенную перемену; в таком случае целая нация составляет одну глыбу, которая подавляет все своею тяжестью и величиною, которым ничто сопротивостать не может».

К тем же по сути выводам приходит и Радищев. Описывая действие революционной армии, он подчеркивает единство интересов вооруженного народа и его вождя Вашингтона:

Не скот тут согнан поневоле,
Не жребий мужество дарит,
Не груда правильно стремится, —
Вождем тут воин каждый зрится,
Кончины славной ищет он.
О, воин непоколебимый,
Ты есть и был непобедимый,
Твой вождь — свобода, Вашингтон.

«Приобучал» размышлять над своими интересами русских людей и Новиков, выступая как автор статей по истории и публикатор исторических документов. В своей работе «О торговле вообще» (1783) он широко использует различные европейские источники — «Трактат о правительстве» Локка, экономические сочинения Юма, труд Рейналя. При этом одной из постоянных тем новиковского сочинения является тема революций. Так, например, вслед за Рейналем, но по-своему, он рассказывает историю независимости Голландии. Главу в своей работе он начинает с описания голландской революции: «С новою силою возбудился

²⁶ Московские ведомости, 1783, № 71.

дух торговли на севере. Народ, давно уже упражнявшийся в торговле, народ, которому натура определила быть торговым народом по выгодному положению его земли, по предприимчивому его духу, по умеренной жизни, голландцы, лишены будучи безрассудным тираном своих вольностей и через то успеха прежней их торговли, единственного их пропитания, осмелились, наконец, по выражению одного новейшего писателя, переломить железный скиптр, их угнетавший, и поднять главу свою из вод, дабы владычествовать над морями.²⁷

Пропаганда права на сопротивление угнетению, на революцию, в ходе которой будет «преломлен железный скиптр» тирана, угнетавшего народ и лишавшего его вольности, опиралась на реальный опыт истории. Теория «общественного договора» абстрактно допускала право народа на восстание против монарха, нарушившего свои обязанности. Руссо указывал, что народ соглашается подчиняться законам, отказывается от части своих прав, но делает он это для того, чтобы правитель, государь, которому он себя подчиняет, употреблял свою власть в его пользу. Поэтому, когда государь не будет соблюдать этого безмолвного договора, народ эту власть «может ограничить, изменить, отнять, когда ему угодно».²⁸

При этом Руссо не призывал к революции и полагал, что оружие в руках угнетенных может быть опасно для государства. Только после американской революции абстрактная теория общественного договора и естественного права приобрела совершенно другое звучание. Рейналь и Дидро сделали эти выводы. История начала освещаться новым светом. Этот свет доходил и до России.

5

Преодоление просветителями канонів «священной истории» способствовало сосредоточению интереса на истории государств, цивилизаций и культур. За столетие появилось множество самых разнообразных и интересных работ, посвященных не только древним цивилизациям — Греции и Риму, но истории современных европейских стран. В частности, в «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера печатались очерки по истории почти всех европейских стран и народов. Тем самым уже в таком подходе содержалась возможность сосредоточиваться на выяснении национального своеобразия культур, государственного устройства, быта, правов отдельных народов. Внимание историков к прошлому данной страны, данного народа, собирание документов, различных материалов неизбежно вело к постановке вопроса о национальном характере, об особенностях и своеобразии культуры, искусства, языка данного народа.

Во второй половине XVIII в. эта проблема стала актуальной, ею занимались в ряде стран, в частности в Германии и в России.

²⁷ Новиков Н. И. Избр. соч. М.; Л., 1951, с. 528.

²⁸ Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М., 1938, с. 49.

Разработка вопросов специфики национальных культур с небывалой интенсивностью вела к преодолению метафизического мышления, к выработке подлинно исторического понимания прошлого. Огромная роль в изучении национальной специфики культур принадлежит Гердеру. Принципиально новым «в историческом мировоззрении Гердера было понимание исторического и национального своеобразия „времен и народов“. Национальной культурой данного народа в свою очередь обусловлены его язык, искусство и поэзия как выражение его сознания и национального характера».²⁹

Понимание исторического и национального своеобразия «времен и народов» приводило к изучению индивидуальной культуры каждого народа и открытию его способностей к эстетическому, художественному творчеству. Оттого искусство для Гердера не есть проявление образованности господствующего класса — народ сам создает художественные ценности. Искусство, творимое образованными, оказывается внутренне связанным с тем, что создает народ, оно есть выражение мыслей и чувств народа.

В 1773 г. Гердер опубликовал статью «Извлечение из переписки об Оссиане и песнях древних народов» в сборнике с характерным названием «О немецком характере и искусстве». «Для Гердера существование „Песен Оссиана“ было прежде всего доказательством, что способность к поэтическому творчеству есть общее достоинство всех народов, не только народов „классических“, но также „диких“ народов Севера, и что может существовать идеал прекрасного в поэзии, отличный от древних греков и Гомера». «Подобно Гомеру, Оссиан для Гердера — народный поэт».³⁰

Интерес к Оссиану захватил многие европейские страны, в том числе и Россию. В каждой из них в последнюю треть XVIII в. и первые десятилетия XIX в. появлялось множество переводов и подражаний Оссиану. Русский оссианизм изучен слабо. В то же время его исследование должно расширить наши представления о росте исторического понимания прошлого.³¹

В том же 1773 г. Гердер начал подготавливать к изданию сборник народных песен. Издан он был в 1778—1779 гг. Сборник носит универсальный характер — в него вошли главным образом немецкие и английские старинные песни; включено было несколько испанских (в переводе самого Гердера), старых и новых французских и итальянских песен. Вошли в сборник и отрывки из Оссиана, также в переводе Гердера. Не сумев найти русских песен, Гердер опубликовал песни литовцев, латышей и эстов, с которыми он познакомился во время жизни в Риге. Но, пожалуй, главной и принципиальной особенностью сборника являлось

²⁹ Жирмунский В. М. Жизнь и творчество Гердера, с. VII.

³⁰ Там же, с. XXIX.

³¹ См.: Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе. (Конец XVIII—первая треть XIX века). Л., 1980.

включение в него наряду с народными песнями стихотворений (или песен) известных авторов, живших давно, — Лютера, поэтов XVII в. и современных, в частности Гете (баллада «Рыбак»). Несмотря на некоторую расплывчатость понятия, введенного Гердером (в предисловии и самом сборнике — «народные песни», *Volkslied*), эта книга явилась событием в литературном движении не только Германии. Она давала четкое представление о глубоких связях народной и индивидуальной поэзии, вызывала интерес в каждой стране к собственной народной поэзии.

Сборник Гердера, его статьи о национальном и народном искусстве оказали серьезное влияние на дальнейшее развитие историко-литературной науки и выработку исторического взгляда на процветание и развитие национальной поэзии. Но проблема национальная была уже поставлена в порядок дня перед всеми странами. Поэтому в одних случаях на формирование новых представлений о национальном искусстве как выражении национального характера и народного самосознания в той или иной стране оказывали влияние работы Гердера. В других случаях подобные или схожие идеи, аналогичные поиски возникали самостоятельно, независимо от Гердера. Данное обстоятельство — еще одно свидетельство общеевропейской разработки актуальных вопросов истории во второй половине XVIII в. Догадки, основанные на диалектическом подходе к прошлому, прорывы к историзму были свойственны ученым, философам, писателям разных стран, и в частности Франции, Германии и России.

Вот почему интерес к фольклору, его пропаганду мы наблюдаем в России уже в первые десятилетия XVIII в., а в 1760-е годы этот интерес приобретает принципиально новое качество. И связано это с деятельностью просветителей. Долгое время в фольклористике господствовало антиисторическое представление о враждебности просветителей к фольклору. Вот как мотивировалась и объяснялась эта враждебность: в представлении просветителей произведения народного творчества «неразрывно связаны с народным суеверием, народными предрассудками; борьба с последними включала поэтому в свою орбиту народное творчество целиком. Борьба за прогресс и культуру кажется несовместимой с пристрастием к тому, что так или иначе органически связано с некультурными массами. Народные песни, сказки, обряды в глазах просветителей являлись проявлениями народного бескультурья и невежества, а потому вызывали отрицательное или, во всяком случае, холодное отношение».³²

Несомненно, представление об отрицательном отношении просветителей к фольклору является легендой — факты ей решительно противоречат. Она родилась на почве отвлеченного абстрактного изучения идеологии Просвещения, тенденциозного и одностороннего подчеркивания ее рационализма, канонизации и

³² *Авадовский М. К.* История русской фольклористики. М., 1958, с. 80—81.

распространения точки зрения того или иного просветителя на идеологию Просвещения в целом. На это обратил внимание современный исследователь: «Известно также, что некоторые из просветителей заодно с критикой народных суеверий отрицали и народную поэзию, предпочитали ей искусство „дивилизованного“ общества (Вольтер, Тюрго, Гельвеций). Однако если критическое отношение некоторых просветителей к фольклору постоянно подчеркивается исследователями, то горячая симпатия целого ряда деятелей Просвещения к творчеству народных масс в сущности замалчивается, что приводит сплошь и рядом к односторонним характеристикам просветительского фольклоризма».³³

Условием плодотворного изучения проблемы фольклоризма русских просветителей является конкретно-историческое рассмотрение реального их отношения к народному творчеству, их стремление понять и разгадать национальный русский характер.

Легенда об отрицательном и презрительном отношении просветителей к фольклору, естественно, закрывала путь к осознанию величайшего открытия, сделанного европейским Просвещением, — обоснования исторического и национального своеобразия «времен и народов», которое и создавало принципиально новое понимание фольклора.

Национальные особенности русского Просвещения, сформировавшегося во вторую половину XVIII в. в условиях крайне обострившейся социальной борьбы крестьянства со своими угнетателями и прямого выражения народом своих требований — сначала в наказах и речах демократических депутатов, затем в манифестах Пугачева, во многом определили фольклоризм русских просветителей. Особое внимание к фольклору обуславливалось еще и тем интересом к проблемам национального развития России, к национальной сущности культуры, который так характерен для русского Просвещения.

В борьбе за самобытную литературу, по убеждению просветителей, особую роль должен был сыграть фольклор. Отсюда нараставший из десятилетия в десятилетие интерес просветителей к народному творчеству, их практическая деятельность по сборанию и пропаганде песен и пословиц, использование ими поэтического творчества народа в своей работе по обновлению литературы.

Интерес к пословицам закрепился в литературе, начиная с Кантемира. Пословица станет играть важную роль в литературной работе просветителей — Новикова и Фонвизина, а также писателей-демократов — Чулкова и Попова. Особую роль в пропаганде русской пословицы и песни сыграл Николай Курганов. В 1769 г. он издал примечательную книгу — своеобразную краткую Энциклопедию, образец просветительской литературы: «Книга писмовник, а в ней наука российского языка с семью присово-

³³ Гусев В. Е. Проблемы фольклора в истории эстетики. М.; Л., 1963, с. 75.

куплениями». ³⁴ «Письмовник» был сделан увлекательной, полезной, нужной читателю книгой — она многократно переиздавалась (в 1818 г. она вышла девятым изданием!).

Два «присовокупления» (первое — «Сбор разных русских пословиц» и пятое — «Сбор разных стиходейств») явились важным событием литературной жизни 1760-х годов. Устную поэзию народа Курганов считает явлением литературы. Он убежден, что песни, пословицы, как и другие жанры народного творчества, создаются по тем же законам, что и письменная литература. Они не порождение народных суеверий и предрассудков неграмотного крестьянина, но особая форма проявления народного самосознания.

Поэзия рождается «от воображения» — поэзия вообще, в том числе и народная. ³⁵ Поэзия, или «словесная живопись», представляет жизнь и дела народа. Вот почему пятый отдел составлен Кургановым из произведений современных поэтов — Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова и др. (напечатаны все без подписи) и народных песен. Как уже говорилось, известный сборник немецкого просветителя Гердера «Народные песни» вышел из печати в 1778 г. (подготавливался с 1773 г.). Курганов уже в 1769 г. выработал такой тип сборника, куда на равных правах входили поэзия народа и произведения лучших русских поэтов. Именно этот принцип будет положен в основу и всех последующих песенников — Чулкова, Новикова, Попова, Дмитриева и др.

Песня и пословица для Курганова — явление искусства, которое помогает узнать жизнь народа, открывает его душу. Пока литература письменная обходит народную тему, народ рассказывает сам о себе. Устная поэзия, заняв место рядом с произведениями письменной литературы, дополняет ее, обогащает новыми темами, эстетическими законами, своеобразием художественного отражения жизни, дум и чувств трудящегося человека. В яркой, эмоциональной и выразительной форме тысяча пословиц, расположенных в алфавитном порядке, рассказывала о народе, передавала отношение человека труда к религии, властям, богатым, характеризовала нравственные устои, обычаи, быт деревни. Но главное — из всех этих пословиц вырастал национальный характер русского человека, полный достоинства, ясного, мудрого ума, немного лукавого и насмешливого, уверенного в себе, исполненного здоровой нравственной силы.

Интерес русских просветителей и, главное, восприятие фольклора как выражения национального самосознания возникали на почве нового понимания каждого народа как исторически фор-

³⁴ См. сб.: Русская литература и фольклор XI—XVIII вв. Л., 1970.

³⁵ В данном случае Курганов развивает философскую концепцию Ф. Бэкона, утверждавшего, что история относится к памяти, поэзия к воображению и философия к рассудку.

мирующей и во времени развивающейся индивидуальности. Но поскольку каждый народ живет в особых обстоятельствах и условиях (климат, природа, общественный строй), то и время, в которое происходит его развитие, индивидуально. Оттого судьбы народов различны и не схожи между собой по культуре, творчеству, поэзии.

Время у Гердера становится исторической категорией. Преодолевая механистическое представление об историческом прогрессе, он показывает движение времени не линейное, а по восходящей, когда настоящее не отменяет прошлого, но обобщает его, вбирает его опыт. На этой основе были сформулированы понятия «дух времени» и «дух народа». Представление об историческом развитии, обстоятельно разрабатывавшееся, в частности, на материале фольклора, решительно порывало с механистическим взглядом на историю.

Изучение трудов Гердера и его понимания фольклора поучительно и методологически. Оно не только позволяет ставить вопрос о характере и интенсивности влияния трудов немецкого философа на русских писателей (а его читали очень прилежно и Радищев, и Муравьев, и Карамзин, и Державин, и Жуковский, и многие другие), но и открывает путь к типологическому рассмотрению сходных явлений в русской литературе, дает ключ к пониманию диалектического отношения к просветительской исторической науке.

Исторические взгляды Гердера формировались с учетом достижений просветительской философии истории, и в то же время многое в этой философии истории — то, что было открытым и однозначным выражением механистической методологии — отвергалось, преодолевалось. Проявлялось это в самых различных областях, например в понимании типов культур, самобытности национальных литератур, «духа времени» и «духа народа», в трактовке античности и средневековья и т. д.

6

Обращение к русской литературе последней трети XVIII в. позволяет познакомиться с многими фактами, свидетельствующими об аналогичном процессе, проходившем в России. Зарождение исторического мышления в работах Гердера оказывается частью и моментом действовавшей общей закономерности, которая определяла направление умов, объясняла начавшийся штурм механистического понимания истории. Именно потому с понятием «духа времени» и «духа народа» мы сталкиваемся в творчестве Державина, Карамзина и Радищева.

Неизученность процесса формирования просветительского историзма в европейских странах (в том числе и в России) в последние десятилетия XVIII в. не позволяет конкретно представить и осознать интенсивность этого процесса, оценить уже достигнутый уровень нового понимания истории и степень влияния рож-

дающихся подлинно исторических представлений на умы современников.

В этом плане заслуживают внимания факты, характеризующие формирование воззрений молодого Карамзина — его творчество 1780-х и 1790-х годов. Прежде всего стоит отметить интерес начинающего писателя к Шекспиру. В 19 лет он задумывает создать «русского Шекспира» — серию переводов его трагедий и комедий на русский язык. Замысел не был выполнен (но он примечателен!), Карамзин перевел только одну трагедию — «Юлий Цезарь», которую со своим предисловием и издал в 1787 г.

Известно, что вопрос о Шекспире в XVIII в. был связан с критикой классицизма, с борьбой за новое искусство. Увлечение Шекспиром вызвало протест классицистов, Вольтера прежде всего, который объявил английского драматурга «варваром и дикарем». Шекспировский вопрос широко обсуждался в европейской литературе. В 1773 г. со статьей о Шекспире выступил Гердер. Он не только пропагандировал великого драматурга, доказывая возможность его перевода на немецкий язык (создание «немецкого Шекспира»), но и со своих исторических позиций объяснял отличие его трагедий от трагедий античных авторов. С изменением условий — политических и национальных, нравов, языка и культуры нельзя более подражать античным образцам. Величие Шекспира в его верности действительности, отсюда его гениальное новаторство, создание новых законов искусства. Статья Гердера имела успех, она оказала влияние не только в Германии (на Гете, Ленца, Шлегеля), но и за ее пределами.

У нас нет данных, подтверждающих, что интерес Карамзина к Шекспиру сложился под влиянием Гердера. Но совершенно очевидно, что стремление создать «русского Шекспира», написание предисловия, в котором давалось объяснение Шекспира в духе времени (с критикой взглядов Вольтера), соотносятся с начавшимся в Западной Европе процессом исторического объяснения Шекспира.

Важную роль в духовном развитии Карамзина сыграло его путешествие по европейским странам в 1789 г. Своеобразный отчет об этом — «Письма русского путешественника» — свидетельствует, что выехавший из России молодой писатель обладал более или менее сложившимся новым пониманием истории, отлично разбирался в современной научной и художественной литературе. Во время путешествия он заезжает в Веймар с целью познакомиться с Гердером, поговорить с автором известных ему трудов. Гердер знакомит его с лирическими стихотворениями Гете и, в частности, читает ему «маленькую пьесу под именем „Meine Göttin“ («Моя богиня»)». Эта богиня — Фантазия, которая понимается поэтом, по словам Гердера, «совершенно по-гречески». Карамзин от себя добавляет: «Гердер, Гете и подобные им, присвоившие себе дух древних греков, умели и язык свой сблизить с греческим и сделать его самым богатым и для поэзии удобней-

шим языком; и потому ни французы, ни англичане не имеют таких хороших переводов с греческого, каким обогатили ныне немцы свою литературу. Гомер у них Гомер; та же неискusstвенная, благородная простота в языке, которая была душою древних времен, когда царевны ходили по воду, а цари знали счет своим баранам».³⁶

Мысль о необходимости при изучении древних авторов, при переводах с греческого учитывать индивидуальные качества и особенности греческой поэзии, порожденные климатом, образом жизни, общественным строем, религией и т. д., принадлежит Гердеру. Знакомство с Гердером позволяло Карамзину говорить о «духе древних греков», который понимали Гердер и Гете.

В письме из Парижа (май 1790) Карамзин рассказывает о русской истории, о русском национальном характере и в этой связи дает критическую оценку книге французского историка Левека «История России» (1782—1783). Левек «унижает Петра Великого», осуждает его за то, что, желая образовать свой народ, подражал другим народам. Карамзин и Левек стояли на разных уровнях понимания истории. Потому, критикуя французского историка, Карамзин высказывает принципиально иной взгляд на характер взаимоотношений культур различных народов: «Путь образования или просвещения *один* для народов; все они идут им вслед друг за другом. Иностранцы были умнее русских: итак, надлежало от них заимствовать, учиться, пользоваться их опытами. Благоразумно ли искать, что сыскано? Лучше ли б было русским не строить кораблей, не образовать регулярного войска, не заводить академий, фабрик, для того что все это не русскими выдуманно? Какой народ не перенимал у другого? И не должно ли *сравняться*, чтобы *превзойти*?» Петр I, «рожденный в Европе, где цвели уже искусства и науки во всех землях, кроме русской, [...], должен был только разорвать завесу, которая скрывала от нас успехи разума человеческого, и сказать нам: „Смотрите; сравняйтесь с ними и потом, если можете, превзойдите их!“ Немцы, французы, англичане были впереди русских по крайней мере шестью веками; Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет почти догнали их. Все жалкие *церемиады* об изменении русского характера, о потере русской нравственной физиогномии или не что иное, как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении».³⁷

Это программное рассуждение — образец исторического взгляда на прогресс в истории, на развитие национальной культуры. И оно не случайно для молодого писателя — он знаком с концепцией Гердера о преемственности в развитии культур, с его учением, что каждый народ усваивает достижения прошлых цивилизаций и развивает, обогащает их. Впервые свою кон-

³⁶ Карамзин Н. М. Избр. соч. М.; Л., 1964, т. 1, с. 174—175.

³⁷ Там же, с. 416—417.

цепцию Гердер высказал в статье «О возрастах языка» (вошла в книгу «Фрагменты о новейшей немецкой литературе», 1766—1768). Она же получила развитие и в капитальном сочинении Гердера «Идеи к философии истории человечества».

Идея развития, прогресса, совершенствования человечества пронизывают многие статьи Карамзина, написанные в 1790-е годы («Нечто о науках, искусствах и просвещении», «Филалет к Мелодору», «Мелодор к Филалету» и др.). Последнее произведение особо примечательно. Мелодор, впавший в скепсис после утвердившейся во Франции якобинской диктатуры, начинает склоняться к пессимистической теории круговорота Вико. «Ужели род человеческий доходил в наше время до крайней степени возможного просвещения и должен, действием какого-нибудь чудного и тайного закона, ниспадать с сей высоты, чтобы снова погрузиться в варварство и снова мало-помалу выходить из оногo, подобно Сизифову камню, который, будучи взнесен на верх горы, собственно своею тяжестью скатывается вниз и опять рукою вечного труженика на гору возносится? Горестная мысль! Печальный образ». Ему отвечал Филалет, вооруженный оптимистической философией истории Гердера: «Мысли твои о вечном возвышении и падении разума человеческого кажутся мне — извини искренность дружбы — воздушным замком; я не вижу их основания. Положим, что в древней Азии были многочисленные народы, но где же следы их просвещения? История застала людей во младенчестве, в начальной простоте, которая не совместна с великими успехами наук. Даже и в Египте видим мы только первые действия ума, первые магазины знаний, в которых истины были перемешаны с бесчисленными заблуждениями. Самые греки — я люблю их, мой друг; но они были не что иное, как милые дети! Мы удивляемся их разуму, их чувству, их талантам, но так, как взрослый человек удивляется иногда разуму, чувствам и талантам юного отрока. Читай вместе Платона и Боннета, Аристотеля и Локка — я не говорю о Канте — и потом скажи мне, что была греческая философия в сравнении с нашею?»

Опровергая концепцию Вико, Карамзин утверждает, что и сейчас, после грозных событий французской революции, действует объективный закон развития, совершенствования разума, культуры, государства: «...веки служат разуму лестницею, по которой возвышается он к своему совершенству, иногда быстро, иногда медленно».³⁸

Идея развития, прогресса положена Карамзиным в основание оценки величайшего события современности — французской революции, очевидцем которой он стал во время путешествия. В этой оценке, пожалуй, наиболее отчетливо проявляется самостоятельность подлинно исторической мысли Карамзина.

³⁸ Там же, т. 2, с. 249, 257.

В статье «Несколько слов о русской литературе», напечатанной в 1797 г. во французском журнале, издававшемся в Гамбурге «Spectateur du Nord», Карамзин конспективно излагает впечатления Путешественника о Франции. Сегодняшние события есть результат исторического развития французского народа. Революция является закономерным событием, начинавшим новую эпоху. «Итак, французская нация прошла все стадии цивилизации, чтобы достигнуть нынешнего состояния». «Французская революция относится к таким явлениям, которые определяют судьбы человечества на долгий ряд веков». «Я слышу пышные речи за и против; но я не собираюсь подражать этим крикунам. Признаюсь, мои взгляды на сей предмет недостаточно зрелы. Одно событие сменяется другим, как волны в бурном море; а люди уже хотят рассматривать революцию как завершённую. Нет. Нет. Мы еще увидим множество поразительных явлений. . .»³⁹

Подобное понимание французской революции, объяснение ее историей, утверждение, что она является закономерным звеном в цепи развития Франции и потому начинает новую эпоху, которая окажет влияние не только на судьбы французского народа, но и на судьбы человечества, наглядно и убедительно демонстрируют формировавшийся в эти годы просветительский историзм — его характер, уровень, своеобразие.

Я назвал не все факты, обратил внимание не на все произведения Карамзина 1790-х годов, в которых отчетливо видны следы нового, нарождающегося исторического понимания прошлого. Так, заслуживает внимания статья в «Московском журнале» (1791, февраль) «О сравнении древней, а особливо греческой, с немецкою и новейшею литературою». Она является моментом давнего спора «древних» и «новых». В конце XVIII в. этот спор вспыхнул вновь, но приобрел иной — конкретно-исторический характер. По-прежнему сторонники нового искусства опровергали тезис о необходимости подражания древнегреческим образцам как совершенным явлениям искусства, по теперь делалось это с исторических позиций, с учетом работ Гердера. А он требовал сравнительного изучения поэзии, как древней, так и современной, у разных народов, утверждая, что у древних надо учиться, но не подражать им, что поэзия каждого народа самобытна, что ее истоки и национальное своеобразие должно искать в народном творчестве. Спор «древних» и «новых», продолжавшийся в конце XVIII в., и в XIX в. необходимо изучать именно в этом ракурсе, ибо и на этом материале выработывались принципы подлинно исторического мышления.

Все произведения, написанные Карамзиным до 1804 г., свидетельствуют не просто о знании им трудов Гердера и Рейналя, но об усвоении уже утвердившихся в различных работах новых

³⁹ Там же, с. 151, 152—153.

принципов понимания истории, прогресса, идеи развития по пути неуклонного совершенствования, представления о самобытности национальных культур, о преемственности в развитии цивилизаций и просвещения, о связи прошлого с настоящим и настоящего с будущим. Усвоение это не было пассивным. Карамзин свое новое понимание истории выражал в статьях, в публицистике, в художественных произведениях, оно определило в конце концов его занятия историей России.

Главный урок, преподанный французской революцией человечеству, состоял в требовании исторического объяснения причин и характера общественного развития. Революция учила, что не «философские мечтания», не «законы разума» определяют прогресс человеческого общества, но внутренние причины исторического развития. Так, нужную людям истину должно искать не в книгах, но в истории.

Карамзин одним из первых извлек этот урок. Оттого он уже в 1790-е годы начинает с особым вниманием относиться к истории — европейской и русской. Знаменательным шагом вперед в этом направлении явилась статья «Рассуждение философа, историка и гражданина». Убеждения Карамзина высказывает «историк»: «Гордые мудрецы! Вы хотите в самих себе найти путь к истине? Нет, нет! не там его искать должно. Поднимите смелою рукою завесу времен прошедших: там, среди гибельных заблуждений человечества, там, среди развалин и запустения увидите мало известную стезю, ведущую к великолепному храму истинной мудрости и счастливых успехов. Опыт есть привратник его...»⁴⁰

Интерес Карамзина к истории означал и начало процесса преодоления обнаружившихся во время французской революции противоречий просветительской идеологии. Он убедился, что только история и исторический опыт каждой страны позволяет обнаружить «малоизвестную стезю», которая и приведет к «храму истинной мудрости». От всеобщих, поистине глобальных этических проблем судеб человечества и трагизма жизни человека в 1790-е годы естественным оказался переход к громадным проблемам исторического бытия нации, переход от «Писем русского путешественника» и повестей к «Истории государства Российского».

7

Место и роль русских деятелей в общеевропейском процессе преодоления механистического подхода к истории не сводится к усвоению уже достигнутых успехов (Рейналь, Дидро, Гердер) и пропаганде новых исторических идей. Они активно участвовали и в проходившем пересмотре механистических концепций

⁴⁰ Московские ведомости. 1795, 5 декабря. № 97.

и оказывались способными самостоятельно разрабатывать важнейшие теоретические проблемы новой философии истории. С особой отчетливостью эта самостоятельность проявлялась в практическом освоении исторического опыта для насущных задач современности (Новиков, Карамзин, Державин), в формулировании закономерностей будущей русской революции (Радищев).

Естественно, что главное внимание русских деятелей, занимавшихся проблемами истории, привлекала история России. На этом поприще русские историки и писатели выступали самостоятельно. Более того, поскольку русской историей занимались французские просветители и историки, русским деятелям приходилось вступать в спор с предвзятыми умозрительными концепциями истории России. Особенно плодотворной оказалась полемика по вопросу понимания русского национального характера и русского средневековья.

В известной книге Руссо «Общественный договор» были изложены взгляды философа и писателя на русский народ и на деятельность Петра-преобразователя. Руссо писал: «Русские никогда не станут истинно цивилизованными, так как они подверглись цивилизации чересчур рано. Петр обладал талантами подражательными, у него не было подлинного гения, того, что творит и создает все из ничего. Кое-что из сделанного им было хорошо, большая часть была не к месту. Он понимал, что его народ был диким, но совершенно не понял, что он еще не созрел для уставов гражданского общества. Он хотел сразу просветить и благоустроить свой народ, в то время как его надо было еще приучать к трудностям этого».⁴¹

Пафос этого утверждения Руссо — в полемике с Вольтером. В 1759 г. в Женеве вышел первый том «Истории России при Петре Великом» Вольтера. В соответствии с просветительскими взглядами на историю Вольтер повествует о русской истории и роли Петра. Смысл его деятельности, по Вольтеру, — преобразование «дикой», «варварской» России в современную цивилизованную страну. Преобразование оказалось возможным, потому что Петр I был первым русским просвещенным монархом. Прогресс и цивилизация были обусловлены деятельностью мудрого монарха. Оттого Петр I идеализируется Вольтером, его деятельность получает восторженную оценку. Сочинение Вольтера о Петре I было одним из программных документов французского Просвещения. В нем ярко, талантливо и темпераментно проявлялись принципы просветительского изучения истории; в угоду готовой философской концепции истолковывалось прошлое России; отдельные факты и примеры служили иллюстрацией выдвинутых положений.

⁴¹ Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969, с. 183.

Руссо, не приняв идеализации Петра I, дает ему по существу отрицательную оценку. Но, полемизируя с Вольтером, Руссо, так же как и историк Петра I, находится во власти просветительского понимания истории. В духе Вольтера он утверждает, что прошлое России — это эпоха «варварства», что народ русский «дикий», что ему чуждо гражданское устройство. Не соглашаясь с идеализацией Петра I, Руссо, как и Вольтер, не обращается к реальной истории России, не мотивирует свою позицию опытом истории данной страны и народа, но одной умозрительной концепцией противопоставляет другую. Потому он и утверждал, что «подражательный талант» Петра I определил его желание просветить свой народ по европейскому образцу, заставляя перенимать все, что ему чуждо. Петр I, по Руссо, «хотел сначала создать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создавать русских».⁴²

Все эти философско-исторические построения Руссо Радищев принять не мог. Прошлое России не было для него эпохой варварства. Он уже хорошо понимал, что характер народа создают не монархи, но история. Русский народ в своей многовековой истории, в своих сложных и разносторонних отношениях с князьями, а потом царями, в борьбе за свое отечество вырабатывал основы своего национального характера. И Петр I действительно не идеальный монарх, но и не «подражательный талант», деятельность которого была бессмысленной.

Радищеву, внимательно изучавшему русскую историю, русское государство в его эволюции за несколько столетий, русский народ в его социально активной деятельности, была очевидной умозрительность суждений Руссо о Петре и русском народе. Потому он решительно выступил против его концепции. В «Письме другу, жительствовавшему в Тобольске» (1782) им давалась исторически конкретная оценка деятельности Петра I. Петр I справедливо «по общему признанию наречен великим»; как государь он сделал много нужного и важного для развития и процветания России. Главная его заслуга — не в военных победах над Карлом XII, но в том, «что дал первый стремление столь обширной громаде (России, — Г. М.), которая, яко первенственное вещество, была без действия». Вот почему «вопреки женеvскому гражданину познаем в Петре мужа необыкновенного, название великого заслужившего правильно».

Но признав Петра I великим государем, Радищев не идеализирует его. Опираясь на факты, на анализ социальной политики Петра, Радищев утверждает, что русский император «не отличился различными учреждениями, к народной пользе относящимися». Более того, он был «властным самодержцем», «который истребил последние признаки дикой вольности своего отечества».⁴³

⁴² Там же.

⁴³ Радищев А. Н. Избр. соч., с. 11, 12.

Последнее суждение особенно важно — оно результат изучения русской истории — факты летописей свидетельствовали, что с ростом власти князей, с укреплением силой авторитета государей шел процесс «истребления» вольности народа. Петр истребил последние остатки этой исконной воли народа. Так история выявляла закономерность антагонизма народа и монарха, помогала понять умозрительность концепции просвещенного абсолютизма. Петр I был мудрым императором и замечательной личностью, но ничего не сделал для благоденствия народа, и не сделал именно потому, что был царем.

«И я скажу, что мог бы Петр славнее быть, возносясь сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную; но если имеем примеры, что цари оставляли сан свой, дабы жить в покое, что происходило не от великодушия, но от сытости своего сана, то нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своего власти, седей на престоле».⁴⁴

Делая это заключение, Радищев уже спорил не с Руссо, но с Вольтером, с его идеализацией Петра I как просвещенного монарха. В этой связи необходимо сказать, что в данном случае Радищев опирался на определенную русскую традицию. Эта традиция — отстаивание идеи самобытности истории России, опровержение ложных концепций, которые развивались в ряде сочинений французских авторов. В 1760—1780-е годы вышло несколько французских книг по русской истории. Вслед за «Историей» Вольтера в 1768 г. аббат Шапп издал «Путешествие в Сибирь», затем вышли книги Левека («История России» — 1782—1783) и Леклерка («Естественная, нравственная, гражданская и политическая, древняя и новая история России», написанная на основании «Истории России» Левека).

В основе этих сочинений лежали вульгаризированные общепросветительские концепции истории; реальные факты или не изучались, или игнорировались, или использовались для иллюстраций готовых теорий и прежде всего для доказательства, что до Петра I Россия пребывала в дикости и варварстве. Каждая из этих книг вызвала ответ в России: Карамзин в 1790-е годы писал о сочинении Левека; И. Н. Болтин издал «Примечания на историю древняя и нынешняя России господина Леклерка». Книга Шаппа, повторявшая многие положения «Истории» Вольтера, вызвала возражение Новикова.

В 1772 г. Новиков напечатал свой «Опыт исторического словаря о российских писателях». Его цель — не только дать критическую характеристику русской литературы XVIII в. и сообщить биографические сведения о писателях-современниках, но и опубликовать разысканные и собранные им сведения и материалы о писателях допетровской эпохи: в словарь было внесено

⁴⁴ Там же, с. 12.

50 таких имен, в том числе имя первого русского летописца Нестора. Уже в этой работе сказались историческая позиция Новикова: прошлое России изучено плохо, русские деятели XVIII в. мало сделали для создания правдивой, основанной на фактах, а не домыслах истории России. Подступом к таким трудам должно стать собрание исторических материалов политического, экономического и культурного характера.

С 1767 г. в России начали издавать летописи. Через шесть лет — в 1773 г. Новиков сам приступил к печатанию ежемесячного издания «Древняя российская Вивлиофика, содержащая в себе собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российских касающихся» (название даю по 2-му изд.). Изданию было предпослано предисловие, в котором Новиков формулировал свое понимание задач изучения русской истории.

Прежде всего Новиков считает необходимым воспитывать у соотечественников интерес к истории родины, ибо знание прошлого помогает нравственному воспитанию юношества. Мысль эта замечательна — подлинная, основанная на документах история, славное прошлое отечества позволят на конкретных примерах воспитывать те добродетели, которые лежат в основании национального русского характера. Такое воспитание тем более необходимо, что среди дворянства широко распространилась галломания с ее рабским подражанием французским модам и презрением ко всему русскому, национальному. Но, восклицает Новиков: «Не все у нас еще, слава богу! заражены Франциею; но есть много и таких, которые с великим любопытством читать будут описания некоторых обрядов, в сожитии предков наших употреблявшихся; с меньшим удовольствием увидят некое начертание нравов их и обычаев и с восхищением познают великость духа их, украшенного простотою».⁴⁵

В этом заявлении, программном для русского Просвещения, отчетливо сформулирована мысль: прошлое России не есть эпоха варварства, в средних веках были обычаи и нравы «предков наших», которые формировали «великость духа» русских людей. Так еще раз была подчеркнута проблема национального характера. Понимание, что национальный характер формировался на протяжении многих веков, что решающую роль в этом процессе играли не монархи, не правительства, а нравы и обычаи, способствовало преодолению антиисторической концепции о варварстве средних веков.

В этой связи Новиков и упоминает о книге аббата Шаппа, отвергая его суждения о дикости русских, о торжестве «суеверий», «глупости», «невежества» в прошлой русской истории. Стоит помнить, что в книге Шаппа тенденциозно коллекционировались факты и делались выводы откровенно клеветнического характера; указывалось, что вся эта дикость и суеверия харак-

⁴⁵ Новиков Н. И. Избр. соч., с 373.

терны именно и только для прошлого России в отличие от Франции, например, где всегда господствовали просвещение и цивилизация.

Новиков писал, что «русские французы» — галломаны станут, может быть, вслед за «клеветой А.** де Ш.** пересмеять суеверие и простоту, или по их глупость, наших праотцев: но одни ли россияне подвержены были сему пороку? Пусть припомнят господа наши полуфранцузы день святого Варфоломея: тогда не должно будет удивляться, что у нас некоторые частные люди от суеверия пострадали».

Занимая откровенно патриотические позиции, Новиков чужд шовинизма: «Полезно знать нравы, обычаи и обряды древних чужеземских народов; но гораздо полезнее иметь сведения о своих прародителях; похвально любить и отдавать справедливость достоинствам иностранных; но стыдно презирать своих соотечественников, а еще паче и гнушаться оными».⁴⁶

В следующем 1774 г. Новиков выступил с пространными возражениями исторической концепции Шаппа и других французских историков России. В журнале «Кошелек» созданный им сатирический персонаж «французского защитника» подробно развивает точку зрения французских историков на Россию как на страну варварства, дикости и торжества суеверий. Этот поклонник и защитник французов издевается над попыткой Новикова продемонстрировать древние «российские добродетели», определявшие «великость духа» русских людей прошлого, изданием исторических документов. Отвергая новиковские взгляды на русскую историю, он откровенно ссылается на мнения и авторитет французских историков. Он пишет, что эти так называемые добродетели «от просвещенных людей именуются ныне варварством». При этом он делает ссылку на этих «просвещенных людей»: «О сем, если вы любопытства имеете побольше наших прародителей, которые от великих своих добродетелей никаких книг не имели и не читали, то можете сие видеть в сочинении Абеде Ш... и других подобных ему беспристрастных писателях о России: но я всех их не могу упомянуть».⁴⁷

Нет сомнения, что в числе этих «беспристрастных писателей о России» имеется в виду и Вольтер со своей «Историей России при Петре Великом». Отвечать на эти сочинения французских авторов и призывал Новиков. Его ответом и являлось издание «Древней российской вивлиофики»: подлинные исторические документы должны были опровергать измышления и «клеветы» этих историков.

В «Кошельке» наиболее развернуто был поставлен вопрос о русском национальном характере. Прежде всего Новиков возражает тем французским историкам, которые считали, что «рос-

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Там же, с. 87.

сияне» не имели своего характера и что его еще должно формировать, как это делал, например, Петр I, копируя «немецкий, английский характер». «Я никогда не следовал, — пишет Новиков, — правилам тех людей, кои безо всякого исследования внутренних, обольщены будучи некоторыми снаружи блестящими дарованиями иноземцев, не только что чужие земли предпочитают своему отечеству, но еще, ко стыду целой России, и гнушаются своими соотечественниками и думают, что россиянин должен заимствовать у иностранных все, даже и до характера».⁴⁸

Далее Новиков, развивая идею Монтескье о влиянии климата и географических факторов на нравы народов в духе будущих концепций Гердера о самобытном характере национальных культур, писал: «... как будто бы природа, устроившая все вещи с такою премудростию и наделившая все области свойственными климатам их дарованиями и обычаями, столько была несправедлива, что одной России, не дав свойственного народу ее характера, определила ей скитаться по всем областям и занимать клочками разных народов разные обычаи, чтобы из сей смеси составить новый, никакому народу не свойственный характер, а еще наипаче россиянину».⁴⁹

Вопрос о национальном характере является центральным в понимании истории русскими просветителями. Его решение диктовалось насущными потребностями борьбы с крепостным правом и деспотизмом самодержавного правления Екатерины II. После крестьянской войны под руководством Пугачева, когда со всей очевидностью проявился раскол нации и обнаружилась непримиримая враждебность народа к рабству и своим угнетателям, вопрос о национальном характере приобрел остро политический смысл. Вот почему в 1783 г. писатель-просветитель Д. Фонвизин поставил этот вопрос на общественное обсуждение, задав Екатерине II, автору сатирических фельетонов «Были и небылицы», печатавшихся в «Собеседнике любителей российского слова», вопрос: «В чем состоит наш национальный характер?» Возмущенная императрица ответила: «В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании».⁵⁰ Ответ выдавал желаемое за действительное. Это понимали не только просветители. Даже дворянский идеолог князь М. Щербатов, прочтя этот ответ, сидя в своем поместье, записал: «Лестно и для нас, деревенских пентюхов, такое объяснение, желательно, чтоб оно было правильно».

Екатерина II, определяя национальный характер, подчеркивала угодные самодержавию его черты — образцовое послушание, смирение. Просветители, опираясь на историю, выдвигали иное понимание национального характера — вольнолюбие, твердость, мятежность. С наибольшей отчетливостью такое толкова-

⁴⁸ Там же, с. 75.

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ Собеседник любителей российского слова, 1783, ч. III, с. 116.

ние было дано Радищевым. В «Слове о Ермаке» он писал: «Но здесь имеем случай отдать справедливость народному характеру. Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении — суть качества, отличающие народ российский. И если бы место было здесь на рассуждение, то бы показать можно было, что предпримчивость и ненарушимость в последовании предприятия есть и была первою причиною к успехам россиян: ибо при самой тяготе ига чужестранного сии качества в них не воздремали. О народ, к величию и славе рожденный, если они обращены в тебе будут на снисkanie всего того, что соделать может блаженство общественное!»⁵¹

«Блаженство общественное» — свобода. Сейчас народ в рабстве. Но пробьет час, и черты характера, выработывавшиеся в ходе истории, проявятся на новом поприще. И только тогда окончательно определит себя народный характер, когда в сокрушении мира насилия и угнетения обретет народ «славу и величие», очистится от тех посрамлений, которые наслоили на него века рабства и унижения.

Мысль о вольнолюбии ныне крепостного народа не была умозрительной. Она исходила из опыта истории. Это особенно наглядно можно видеть по тому характеру выписок из летописей, которые делал Радищев в 1780-е годы. Они свидетельствуют, что его пристальное внимание привлекли факты, связанные с расказом летописцев о свободном правлении Новгорода, о его независимости от княжеской власти. Факты свидетельствовали, что власть в Новгороде принадлежала народному собранию. «Веча или народное собрание, на кое созывали особливим колоколом, называемым вечным, и на оных сборищах основалась наипаче вольность народа».

Уже Рюрик повел войну с вольным Новгородом: «Рюрик, усмирив взбунтовавшихся новгородцев и наказав их заводчика Вадима Храброго, вступил в неограниченное правление и стал зваться великим князем...» Но вольнолюбивые новгородцы не смирились и продолжали борьбу с князьями. «Князя Всеволода новгородцы, лиша правления, держали 2 месяца в заточении».

Но народное правление было свойственно и Киеву: «И в Киеве были народные собрания, называемые вече, кои созывал тысяцкий». История свидетельствовала — исконная вольность народа постоянно на протяжении веков истреблялась князьями и царями. Так, царь Иван Васильевич, покоритель Казани, «истребил остатки вольности новгородской».

О вольном Новгороде Радищев подробно писал в «Путешествии из Петербурга в Москву». Вот одно из программных заявлений писателя: «Известно по летописям, что Новгород имел народное правление. Хотя у их были князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалась в посадниках и тысяц-

⁵¹ Радищев А. Н. Избр. соч., с. 484.

ких. Народ в собрании своем на вече был истинный государь».

В наиболее обобщенной форме мысль о том, что в прошлом русский народ был свободным, что его вольность постоянно «истребляли» князья и цари, сформулирована в «Слове о Ермаке»: «Вечевою колокол, палладиум вольности новгородской, и собрание народа, об общих нуждах судящего, кажется быть нечто в России древнее и роду славянскому сосущественно, с того, может быть, даже времени... как славяне начали жить в городах». ⁵²

Идея об имманентности русскому народу свободы и «народных правлений» в первую очередь опиралась на опыт новгородской республики, как об этом было записано в летописях. Тем самым определялось отношение к прошлому России, к ее средним векам. Вольный Новгород оказывался символом процветания русского народа. Прошлое — не эпоха варварства, но время формирования важнейших национальных традиций, которые монархами и самодержцами настойчиво искоренялись и ликвидировались на протяжении многих веков. Политической задачей становилась борьба за восстановление утраченной вольности, которая русскому народу «сосущественна».

Тема Новгорода была развита и другими деятелями. Стремление найти в прошлом своего отечества подлинно национальные устои не только в сфере нравственности, но и в сфере социальной и государственной жизни нации привело просветителей к широкой разработке проблемы новгородской республики. В этой атмосфере появилась трагедия Я. Княжнина «Вадим Новгородский», в которой он убеждал своих будущих читателей и зрителей, что Россия — исконно свободная страна, что народ в ней всегда был волен, что самодержавие, навязанное русским людям силой, отняло у них эту вольность. Отсюда вывод, поддержанный опытом истории: «Самодержавие повсюду бед содетель», имевший огромное политическое значение не только для современников, но и для будущих поколений.

«Открытый» в русском средневековье республиканский Новгород, проблема формирования русского национального характера и оказались тем «плацдармом», с которого наиболее активно осуществлялось преодоление метафизической исторической концепции просветителей.

Несомненно, трактовка темы республиканского Новгорода носила идеализированный характер и была далека от подлинной правды истории. Но в реальных условиях того времени интерес к Новгороду, к проблеме национального характера вел русскую историческую и политическую мысль к подлинному постижению прошлого России, к изучению летописей, к собиранию исторических документов. Вот почему эта идеализация не должна мешать

⁵² Там же, с. 470, 473, 475, 91, 482.

пониманию того громадного влияния идей республиканского Новгорода и исконной, «сосущественной» русскому народу вольности на русскую литературу — они были восприняты декабристами, получили свою интерпретацию у Пушкина и Лермонтова.

Все это позволяет сделать заключение, что в общеевропейском движении просветителей по преодолению механистического взгляда на историю, пожалуй, русские писатели наиболее решительно пересматривали просветительскую концепцию о варварстве средних веков. Именно на этой основе наиболее полно прослеживалась идея развития истории, обосновывался тезис о самобытности истории русского народа. В результате изучения русского средневековья многое из прошлого (особенно в плане общественно-политическом) оказывалось важным в настоящем, устанавливалась связь времен, успешно разрабатывались проблемы преемственности.

8

Наиболее значительную роль в становлении просветительского историзма сыграл Радищев. Его историзм, и это стоит подчеркнуть, обладает особыми качествами, обусловленными революционными убеждениями писателя. Отсюда его глубина и зрелость. В то же время необходимо учитывать, что именно начавшееся преодоление механистического взгляда на историю, сопровождавшееся формированием новой философии истории, способствовало теоретическому обоснованию неизбежности революции как способа разрешения социальных противоречий феодального общества и обретения свободы угнетенным народом.

Впервые еще в 1930-е годы вопрос об историзме убеждений Радищева был поставлен и исследован Г. А. Гуковским в «Очерках русской литературы XVIII века». Принципиально важно, что он рассматривал Радищева как участника общеевропейского процесса обновления исторической науки и формирования нового понимания истории. Стремление Радищева преодолеть механистичность теории «естественного права» Г. А. Гуковский соотносит с теми явлениями в просветительской мысли Запада, в которых отчетливо проявлялся подлинно исторический подход к прошлому. Поэтому радищевские «элементы историзма» изучались ученым в связи с историческими воззрениями Гердера.

На знакомство Радищева с сочинением Гердера «Идеи к философии истории человечества» указал еще в 1907 г. И. И. Лапшин.⁵³ Изучая философский трактат Радищева «О человеке, о его смертности и бессмертии», написанный в Сибири, И. И. Лапшин на многочисленных примерах показал, как использовались отдельные положения Гердера в пересказах и цитатах.

⁵³ См.: *Лапшин И. И.* Философские воззрения Радищева. Предисловие. Полное собр. соч. А. Н. Радищева/ Под ред. проф. А. К. Бороздина, И. И. Лапшина и П. Е. Щеголева в 2-х т. СПб., 1907.

Г. А. Гуковский, анализируя использованные Радищевым фрагменты сочинения Гердера, раскрывает понимание истории обоими мыслителями, устанавливая их связи и расхождения. Многие у Гердера было близко Радищеву: и глубокое понимание национальной самобытности культуры каждого народа, и мысль о народном искусстве как выразителе национального характера, и осуждение деспотизма, и гуманизм философа, и по-своему истолкованная идея Монтескье о роли климата, географических условий в формировании национальных культур.

В то же время многое было неприемлемо для Радищева у Гердера: его религиозные взгляды, игнорирование им социальных факторов и др. И наконец, главное расхождение — Гердер видит цель исторического прогресса в осуществлении идей гуманизма, а Радищев — в достижении свободы революционным путем.

Пользуясь материалами Гердера, Радищев, по Гуковскому, на первый план выдвигал то, что у Гердера было в тени, а частично подчеркивал роль социального фактора в устройстве общества. «Для Радищева вопросы исторического понимания действительности — это прежде всего вопросы обоснования исторической неизбежности революции. Он пытается строить научный прогноз будущего. Материалами для такого прогноза в его сознании являются, во-первых, общая концепция законов истории, предрешающих судьбу России, и, во-вторых, конкретное изучение национального характера русского народа и экономико-политического положения его. Все это построение Радищева следует признать оригинальным плодом его гения, пошедшего дальше его учителей, как французских, так и английских и немецких».⁵⁴

Общий ход рассуждений Г. А. Гуковского о соотношении исторических воззрений Гердера и Радищева справедлив. Но в этот вопрос необходимо внести некоторые существенные дополнения.

Первое: знакомство Радищева со знаменитым трудом Гердера «Идеи к философии истории человечества» произошло в начале 1790-х или в самом конце 1780-х годов. Оно и было широко использовано в философском трактате, написанном в сибирской ссылке. Вот почему тема «Радищев и Гердер» закономерна при изучении произведений русского писателя, написанных в годы ссылки. Впервые же Радищев читал Гердера в 1785 г. — дату эту он сам назвал в показаниях следователю. Но прочел он не «Идеи к философии истории человечества» (первый том издан в 1784 г., второй — в 1786, третий — в 1787 г.), а книгу, изданную в 1780 г., «Vom Einfluss der Regierung auf die Wissenschaften und der Wissenschaften auf die Regierung». («О влиянии правительства на науки и наук на правительство»). Материалы ее были использованы при написании главы «Торжок» в «Путешествии из Петербурга в Москву». Никакой стройной исторической концепции в этой книге еще не было.

⁵⁴ Гуковский Г. А. Очерки русской литературы XVIII века, с. 169.

Второе, и главное: «элементы историзма» мы находим у Радищева в ряде его произведений, написанных до 1785 г., т. е. до знакомства с Гердером вообще. Это обстоятельство важно методологически — оно обязывает исследовать проблему зарождения исторического мышления в век Просвещения на широком общеевропейском, с одной стороны, а с другой — на конкретно-национальном материале.

Г. А. Гуковский выдвинул именно этот путь изучения «элементов историзма» Радищева. Он указал, что теория географического и климатического воздействия на образ жизни и нравы человека, общества и государства, развитая Монтескье, некоторые исторические работы Вольтера, Тюрго, Мабли и особенно Рейналя «уже подготовляли до известной степени почву для построений исторического характера».⁵⁵ Антиисторизм просветительского мышления в известной мере преодолевался английскими философами и историками — Юмом и Адамом Смитом. Юм, в частности, отступал от позиций французских просветителей в понимании происхождения религии, утверждавших, что религию придумали и навязали народам обманщики — жрецы и тираны. Радищев был знаком с этими сочинениями.

Обратил внимание ученых и на необходимость изучения русских предшественников Радищева. «Развитие мысли Радищева от механического „естественного права“ к конкретно-историческому пониманию человека было предопределено тенденциями русской демократической мысли до него». В этой связи он называет труды московских профессоров — Д. Аничкова («Рассуждение из натуральной богословии о начале и происшествии натурального богопочитания» — 1769), С. Десницкого («Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции» — 1768), в которых, в частности, в духе Юма и Адама Смита русские ученые доказывали земное происхождение религии — богов создал страх человека, утверждали они, власть в государстве не от бога, она родилась историческим путем.

Исследуя взгляды Радищева на историю, раскрывая его глубокие связи с европейской просветительской литературой, ученый приходит к выводу: «Строго говоря, он ниоткуда не взял эти особенности своего мышления, но создал их сам на почве русской действительности».⁵⁶ Тем самым была поставлена задача исследования путей создания Радищевым своей исторической концепции с учетом движения новой европейской мысли, потребностей русской жизни, особенностей развития нового понимания русскими просветителями истории своего отечества.

К сожалению, выдвинутая Г. А. Гуковским проблема не получила должной фундаментальной разработки. Появившиеся отдельные, как правило, частные замечания об исторических взгля-

⁵⁵ Там же, с. 160.

⁵⁶ Там же.

дах Радищева прибавили мало нового к уже достигнутому. Вопрос о связях Радищева с предшественниками в разработке проблемы остался без внимания. Специально написанная глава — «Исторические взгляды Радищева» в коллективном труде «Очерки истории исторической науки в СССР» (М., т. 1, 1955) написана не на должном уровне. Ее авторы (М. А. Алпатов и Б. Б. Кафенгауз) почему-то не использовали новые и очень важные материалы (впервые опубликованные в 1952 г.), характеризующие радищевское изучение русской истории. К тому же центральные положения исторической концепции Радищева, как это ни парадоксально, выводятся авторами главы из студенческих сочинений Федора Ушакова, опубликованных Радищевым в качестве приложения к своему сочинению «Житие Ф. В. Ушакова». В серьезном труде взгляды Ушакова приписаны Радищеву! В довершение всего Радищев рассматривается имманентно, без связей с западноевропейским и русским Просвещением.

Как же формировались убеждения Радищева до знакомства с трудами Гердера? Отвечая на этот вопрос, должно подчеркнуть главное — формировались они на основе глубокого изучения истории Европы и Америки и наиболее подробно и скрупулезно — истории России: учитывались не только уже написанные исторические труды, но исследовались летописи, различные документы.

В одном из томов архивного собрания Воронцовых хранится ряд рукописных сочинений Радищева (статьи «Опыт о законодательстве» и «О добродетелях и награждениях», несколько заметок на темы истории и выписки из разных книг — из «Истории Российской...» В. Н. Татищева и печатных публикаций древнерусских летописей), засвидетельствовавших его пристальный интерес к русской истории. Начало этих занятий русской историей относится к 1782 г. Продолжались они на протяжении всего десятилетия. Впервые эти рукописи были опубликованы в 1952 г.⁵⁷

В основе статей и заметок лежат выписки из летописей и «Истории Российской...» В. Н. Татищева. В русской истории Радищев особое внимание обращает на средние века. Он выписывает интересующие его события главным образом гражданско-правового характера, анализирует политические акции и социальное законодательство князей и государей русских, стремясь «извлечь по разумению нашему смысл доселе изданных в России законов».

Изучение истории России по летописям (вслед за Ломоносовым и другими историками) как вернейшим и беспристрастным источникам знаменательно. Оно практически противостоит просветительской традиции. Радищев стремится опираться на факты и документы, на реальный исторический процесс, на опыт народа и государства, и потому выводы его документированы. Он не

⁵⁷ Радищев А. Н. Избр. соч. (Подготовка неопубликованных текстов осуществлена Д. С. Бабкиным).

привносит в историю России готовую концепцию, но извлекает ее из тщательно изученных событий, фактов, законов, обычаев. Оттого он решительно отказывается от просветительского тезиса, что русские средние века — это эпоха варварства, что социальный строй зависит от личности монарха (просвещенного или непросвещенного), что законы определяются географическими, а не социальными обстоятельствами. Все это должно учитывать при рассмотрении «элементов историзма» в произведениях 1780-х годов («Письмо другу, жительствовавшему в Тобольске», «Вольность», «Путешествие из Петербурга в Москву»). Важнейшие положения политического, социального и исторического характера, сформулированные в них, обосновывались опытом истории, закономерностями ее развития.

Вот почему среди этих бумаг Радищева рядом с выписками из летописей мы находим критические высказывания о философии истории просветителей: «Монтескью и Руссо с умствованием много вреда сделали. Один мнимое нашел разделение правлений, имея в виду древние республики, ассирийские правления и Францию. Забыл о соседях своих».⁵⁸

Монтескье — создатель новой социологии, вдохновитель политической доктрины энциклопедистов. Его «Дух законов» был источником воззрений на государство не только для Гольбаха, Гельвеция и Вольтера. Для Екатерины II «Дух законов» даже был «молитвенником». Монтескье рассматривал три типа государственного устройства: республику, деспотию и монархию. Республиканско-демократический строй, которому Монтескье больше сочувствовал, объявлялся идеальным, но утопичным, он мог быть осуществлен лишь в далеком будущем. Деспотия как правление, противное природе человека, подлежит уничтожению. Монархия же, смягченная просвещением и вдохновляемая философами, признавалась лучшей формой современного устройства бытия народов. Теория Монтескье послужила основанием для политической концепции энциклопедистов (просвещенный абсолютизм), которая не могла вооружать освободительное движение, а наоборот, оказалась использованной самодержцами — Фридрихом II и Екатериной II. Радищев не соглашается с теорией Монтескье, потому что он «забыл о соседях своих», потому что не учитывал опыт истории, называет его теорию «умствованием».

Демократические радикальные воззрения Руссо, его идея народоправства уже в лейпцигский период горячо поддерживалась Радищевым. Следы влияния самой радикальной книги французского мыслителя — «Общественный договор» — отчетливо видны в примечании к слову «самодержавство» в переведенной Радищевым книге Мабли «Размышление о греческой истории».

Но занятия историей позволили Радищеву увидеть и противоречивость учения Руссо о государстве. В отличие от Монтескье

⁵⁸ Там же, с. 480.

Руссо, как известно, выдвигал в качестве идеала не монархию, а республику. Но в то же время Руссо оговаривался, что республиканский строй пригоден лишь для малых стран и народов. Большие же государства и народы должны довольствоваться монархией. Радищев, живущий в России, напряженно размышляющий о будущем своего отечества, убедившись, что самодержавие, монархия — это всегда режим насилия, деспотизма (вот почему в своей заметке он употребляет вместо термина «монархия» — «насилие»), не мог не опротестовать этот тезис Руссо. И в своем возражении он историчен: Руссо, «не взяв на помощь историю, вздумал, что доброе правление может быть в малой земле, а в больших должно быть насилие».

Обращаясь к истории, Радищев с особым вниманием исследовал социально-экономические связи дворян и крестьян. История приходила на помощь Радищеву в понимании причин развития — они рождались на почве социальных противоречий. Крепостное право незаконно. Оно насильственно введено землевладельцами и санкционировано высшей властью. Более того, крепостное право в XVIII столетии превратилось в жесточайшее рабство. Режим рабства незаконен и преступен. Стихийный и беспрестанно возникавший протест «мертвого в законе» крепостного раба оправдан. Оправдан и нравственно, ибо он справедлив.

Собственность порождает неравенство — об этом уже писал Руссо. Радищев, опираясь на историю социальных отношений землевладельцев с земледельцами, увидел антагонистический характер этих отношений. Помещики никогда добровольно не откажутся от дарового труда крепостных. Надежды на добродетельных просвещенных благотворителей потому утопичны и наивны. Радищев, понимая это, делает важный шаг в направлении раскрытия подлинных, социальных причин развития общества: «Свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения». Екатерина II, прочтя эти слова, точно передала их социальный смысл: «То есть надежду полагает на бунт от мужиков».⁵⁹

Тем самым Радищев вскрывал неизбежность протеста, восстания, революции как единственного пути к свободе. Та же закономерность обусловила и политику монархов: поддерживая силу своего могущества угнетение народа, они ничего добровольно не уступят из своей власти («Письмо другу, жителюствующему в Тобольске»). Оттого Радищев отвергал доктрину «просвещенного абсолютизма». И в данном случае Радищев опирался на опыт истории и, в частности, на деятельность Петра I. Изучение революций в прошлом (английская революция XVII в.) и в современности (американская революция 1776—1783 гг.) убеждало

⁵⁹ Радищев А. Н. Избр. соч., 1949, с. 199, 671.

Радищева, что торжество свободы есть результат насильственного революционного акта, а главной движущей силой революции является народ. Обуславливает поведение угнетенного народа «тяжесть порабощения».

Просветители, будучи сторонниками мирных путей к свободе, верили в просвещенных монархов. Они, естественно, недооценивали народ — эту массу непросвещенных, неспособных к разумным действиям угнетенных работников. Они учили, что народ надо сначала (сверху) просветить, а потом уж освобождать. Они недооценивали творческие потенции народа, не могли видеть в нем силу, способствующую историческому развитию. Только американская революция заставила задуматься некоторых просветителей над исторической ролью народа.

Для Радищева же народ — великая сила истории, ибо именно «тяжесть порабощения» в свой урочный час подвигнет его на вооруженную борьбу за свободу. Народ для Радищева — это и творец новой государственности, новых идей, новой культуры, которую он будет создавать после победы. Только революция, учил Радищев, просвещает угнетенных и поднимает к новой, творческой жизни. Золотыми буквами на скрижалях рождавшегося просветительского историзма должно записать эти великие слова Радищева: «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровию нашу обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулись великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены».⁶⁰

Радищев, воспитанный на идеях Просвещения, участвовал в общеевропейском движении по выработке новой философии истории, но занимал в нем особое место. Потому новое в радищевских воззрениях — не теория прогресса, а теория революции; новое в том, что история для него перестала быть сборником иллюстраций и примеров, какой она была для просветителей. В своих исследованиях он пытается установить связь между историческими событиями, найти причины их возникновения и развития в условиях и обстоятельствах материальной жизни людей.

Следует отметить и еще одну особенность исторических воззрений Радищева — их практический характер. Они формулировали и определяли направление деятельности людей, вооружали нужным в борьбе за свободу народа и родины знанием, в то время как многие положения Гердера и других западных философов носили чисто теоретический характер. Стремление Радищева найти опору в истории, в познании закономерностей ее развития создавало возможность научного предвидения, «угадывания», предсказания будущей русской революции.

⁶⁰ Радищев А. Н. Избр. соч., 1952, с. 179.

В «Путешествии из Петербурга в Москву» после определения закона разрешения социальных противоречий путем революции («тяжесть порабощения» поднимет угнетенных на борьбу) Радищев писал: «Не мечта сие, но взор проникает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие». ⁶¹ Это действительно не мечта, не пророчество, а предвидение, возможность которого обусловлена пониманием социально-экономических причин развития общества. Подобное предвидение — ярчайший образец действенности новой философии истории, свидетельство того высокого уровня, которого достиг в своем развитии просветительский историзм.

Важно подчеркнуть, что вышеприведенная фраза, не обмолвка мыслителя: та же идея, но в более полном виде развернута в оде «Вольность». Радищев не просто «прорицает о будущем жребии отечества», не только утверждает неизбежность победоносной русской революции, но и дает «описание царства свободы и действия ее, то есть сохранность, спокойствие, благоденствие, величие...» жизни свободных людей в свободном государстве. Больше того, историзм позволяет реалистически мыслить о будущем: революция будет, но она должна быть подготовлена всем ходом экономического и социального развития общества, ростом противоречий, созданием определенных условий. Радищев знает, что в настоящее время революция невозможна: «время еще не пришло»:

Но не приспе еще година,
Не совершился судьбы;
Вдали, вдали еще кончина,
Когда иссякнут все беды! ⁶²

Историзм создавал возможность предвидения, а это способствовало решению другой проблемы (связанной в какой-то мере с условиями успешной революции) — роли личности в истории и тех обстоятельствах, которые «делают великого мужа». Радищев писал: «История свидетельствует, что обстоятельства бывают случаем на развержение великих дарований; но на произведение оных природа никогда не коснеет, ибо Чингис и Стенька Разин в других положениях, нежели в коих были, были бы не то, что были; и не царь во Греции Александр был бы, может быть, Картуш. Кромвель, дошедши до протекторства, явил великие дарования политические, как то: на войне великие качества военного человека, но, заключенный в тесную округу монашеския жизни, он прослыл бы беспокойным затейником и часто бы бит был шлепами. Повторим: обстоятельства делают великого мужа». ⁶³

Развивая свою мысль, Радищев с поразительной прозорливостью видит и обобщает условия жизни исторических деятелей,

⁶¹ Там же.

⁶² Там же. с. 173, 235.

⁶³ Там же, с. 428.

обосновывает на историческом опыте зависимость человека от совокупности факторов общественной и личной жизни, которые обуславливают все его поведение и могут при счастливом стечении обстоятельств способствовать «развержению великих дарований», самореализации потенциальных способностей и талантов личности.

«Малейшая искра, падшая на горячее вещество, произведет пожар великий; сила электрическая протекает везде непрерывно и мгновенно, где найдет только вожагого. Таково же есть свойство разума человеческого. Едва один возмог, осмелился, дерзнул изытаться из толпы, как вся окрестность согревается его огнем и, яко железные пылинки, летят прилепитися к мощному магниту. Но нужны обстоятельства, нужно их поборствие, а без того Иоган Гус издыхает во пламени, Галилей влечется в темницу, друг ваш в Илимск заточается. Но время, уготвление, отъемлет все препоны. Лутер стал преобразователь, Декарт преобразователь, и яко вследствие законов движения удар, даный единому шару, сообщается всем, на пути его стоящим...»⁶⁴

9

Новое понимание истории вырабатывалось в теоретических сочинениях и быстро становилось достоянием самых различных деятелей — философов, историков, писателей. Именно в литературе — прозе и поэзии — раньше всего сказались результаты овладения историческим мышлением. Особенно наглядно это проявилось в переводах античных авторов, в частности Анакреона.

Интерес к Анакреону, возникший в XVI в., не угас и в XVIII столетии. Но время накладывало свою печать на понимание поэзии древнегреческого поэта, на место анакреонтики в поэзии разных стран, на характер точности перевода. Исторический смысл обращения и новой русской и западноевропейской литературы к греческой поэзии объяснил Белинский: «Русская поэзия не знала еще Греции... как всемирной мастерской, через которую должна пройти всякая поэзия в мире, чтобы научиться быть изящною поэзиею».⁶⁵

Первым в России это понял Кантемир, принявшийся в конце 1730-х годов переводить с греческого оды Анакреона. К сожалению, переведенные им 55 од, посланные в Петербург, опубликованы не были и не стали живым явлением литературного процесса XVIII в. С Анакреоном русского читателя познакомил Ломоносов, который перевел одно стихотворение «Ночною темнотою...» (вошло в «Риторику», изданную в 1748 г.) и несколько од, включенных поэтом в свой «Разговор с Анакреоном» (при жизни Ломоносова он не печатался, но с 1760-х годов распрост-

⁶⁴ Там же, с. 429.

⁶⁵ Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1955, т. 7, с. 224.

ранялся в списках). В 1750-х годах Сумароков ввел в русскую поэзию новый жанр — анакреонтическую оду. Анакреона Сумароков знал по французским и немецким переводам. Главной особенностью нового жанра для Сумарокова был размер: он создал так называемый анакреонтический стих — четырехстопный хорей или трехстопный ямб с женским окончанием без рифм. Опыт Сумарокова получил признание, и «анакреонтическим стихом» стали писать Херасков, Ржевский, Богданович и другие его последователи. Следуя за французской и немецкой анакреонтикой, эти поэты, и особенно Ржевский и Богданович, превратили оду в легкое эротическое стихотворение, очень отдаленно связанное с так называемыми одами (песнями) древнегреческого поэта.

Подобная анакреонтика была собственно вариацией на темы поэзии Анакреона. У поэтов и переводчиков в эту пору даже не возникала мысль об их обязанности передать историческое и национальное своеобразие поэта Древней Греции. То же мы наблюдаем и у сентименталистов, которые стали осваивать анакреонтическую оду для нужд нового направления. Анакреонтическая ода у классицистов безлична, это изысканно-шаловливое рассуждение на любовную тему. Анакреонтическое стихотворение у сентименталистов — субъективно, в известной мере автобиографично, в нем они пытались запечатлеть реальное живое чувство.

В 1770—1780-е гг. отношение к Анакреону изменилось, рождалось новое понимание его поэзии. Связано это было с общеевропейским обостренным интересом к античности. Важным моментом этого нового обращения к искусству и литературе Греции и Рима был спор о характере использования художественного опыта древности. Повод к спорам подала книга немецкого искусствоведа Винкельмана «История искусства древности» (1764). Вслед за многими просветителями Винкельман в античности искал образцы героического. Но он не только пропагандировал греческое искусство, он объявлял его образцом для подражания. Тем самым было предопределено двоякое отношение к книге. Сторонники нового искусства — враги классицизма — не могли принять концепцию Винкельмана. Классицисты же получили неожиданную мощную поддержку своим требованиям следовать образцам античности.

С возражением Винкельману выступил Дидро. Стоя на позиции прогресса, он развивал идею преемственного развития искусства. Вне использования опыта прошлого, утверждал он, не может плодотворно развиваться новое искусство. Мастера античности велики именно потому, что были верны природе. Осваивать их опыт — значит не подражать им, но учиться их искусству следования законам природы, искусству постижения ее тайн. «Мне кажется, — писал он, — что следовало бы изучать античность, дабы научиться видеть природу».⁶⁶

⁶⁶ Дидро Д. Собр. соч. в 10-ти т. М., 1946, т. 6, с. 190.

Вслед за Дидро выступил Лессинг. Не принимая идеи подражания, он доказывал, что она родилась из недоверия к современности, к реальным условиям жизни, к живому, терзаемому различными страстями современнику, который и должен быть главным героем нового искусства.

Европейский интерес к античности был в это время в еще большей мере обусловлен тем преодолением метафизического взгляда на историю и выработкой исторического мышления, которые, как мы знаем, происходили в последнюю треть XVIII в. Именно тогда широкое распространение получила концепция Гердера о национальном своеобразии культур, об их исторической обусловленности и индивидуальных путях их формирования. Печать такого своеобразия лежит и на греческой литературе, на анакреонтике, которая, как утверждал философ, органически связана с народной поэзией. Тем самым вставала совершенно новая задача: переводы Анакреона должны передавать дух времени и дух древнего народа.

В этой атмосфере и родился замысел Николая Львова дать русской поэзии подлинного Анакреона: он занялся переводом его од и в 1794 г. выпустил их отдельной книгой. Н. Львов оказался непосредственным предшественником Державина в исторически назревшем персмотре европейской традиции истолкования Анакреона. В предисловии к своему сборнику он утверждал, что слава Анакреона не в том, что он писал «любовные и пьянственные песни», как думал вслед за европейскими авторитетами Сумароков. Анакреон — поэт-философ, учитель жизни, в его стихах рассеяна «приятная философия, каждого человека состояния улаждающая». Он не только участвовал в забавах двора Поликрата, но и «смел советовать» ему в делах государственных.

Но самое главное в предисловии — это определение исторически понятого своеобразия поэзии Анакреона. Львов решительно заявляет: Анакреон — оригинальный поэт. Нарисованные им в стихотворениях «картины» есть «самое живое и нежное впечатление природы, кроме которой не имел он другого примера и кроме сердца, своего другого наставника». ⁶⁷ Два «наставника» — природа и сердце — обусловили оригинальность Анакреона. Вот почему нельзя ему подражать, но у него должно учиться быть оригинальным, быть верным в изображении русской природы и в раскрытии жизни сердца русского поэта, учиться точности изображения нравов, быта, верований своего народа, как это делал Анакреон в своих стихотворениях.

Предисловие было своеобразным манифестом, в котором отчетливо запечатлелся исторический подход к прошлому, к пониманию античной поэзии, в решении вопроса преемственного развития литературы. Развивая выдвинутые немецким философом, историком

⁶⁷ Стихотворение Анакреона Тийского. Перевел *** [Н. А. Львов, — Г. М.]. СПб., 1794, кн. 1, с. V и VI.

литературы Гердером (с трудами которого Львов был отлично знаком) представления о греческой поэзии как о поэзии, тесно связанной с жизнью народа, как искусстве, запечатлевшем конкретно-исторический этап жизни человечества, Львов подчеркивал не только объективность картин Анакреона, но и близость его стихотворений к народным песням. «Русский Анакреон», учась оригинальности у греческого поэта, должен был учитывать художественный опыт русской народной песни. Фольклорные искания Львова и других поэтов конца века сблизились с работой по освоению эстетического опыта античности. Анакреонтическая ода обретала новую жизнь на русской почве, учитывая эстетический опыт народной песни.

Несомненно, пониманию Анакреона способствовало выработанное Львовым представление о народности литературы, которую он понимал как национальную обусловленность. В кружке поэтов (Державин, Хемницер, Капнист) Львов выступал пропагандистом национальных форм поэзии, требовал создания произведений на сюжеты русских былин и сказок. Сам он всю жизнь собирал русские народные песни. В 1790 г. он издал подготовленное им «Собрание народных русских песен с их голосами, положенными на музыку Прачем». Это издание помогало борьбе писателей за самобытность русской поэзии.

Выход «Стихотворений Анакреона Тийского» с предисловием и обстоятельными примечаниями переводчика — важнейшая веха в становлении русской анакреонтики. Он способствовал расцвету могучего таланта Державина, ставшего с 1786—1787 гг. писать глубоко оригинальные анакреонтические стихотворения, названные им «песнями».

Свои «Анакреонтические песни» Державин издал отдельным сборником в 1804 г. и переиздал в составе собрания сочинений в третьем томе (1808). Это были первые образцы русского антологического стихотворения. Вслед за Державиным выступят Батюшков и Пушкин; их усилиям мы обязаны бурному развитию русской антологии. «Державину первому принадлежит честь ознакомить русских с антологическою поэзиею, и его анакреонтические пьесы, недостаточные в целом, блещут неподражаемыми красотами в частностях»; его стихи проникнуты «духом эллинским».⁶⁸

Державинскую антологию внутренне объединяют две тенденции: переводы и переделки стихов Анакреона, Сафо и других греческих поэтов и освоение опыта греческой поэзии для изображения русской жизни. Державин внимательно читал Гердера, учитывал в своей поэтической практике его учение о духе времени и духе народа. Занятия анакреонтикой, переводы и переработки стихов античных поэтов, создание произведений в духе Гомера или Анакреона, Сафо или Горация отражали его стремление

⁶⁸ *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1954, т. 5, с. 253.

проникнуться духом далекой эпохи, чтобы создавать объективный образ переводимого поэта и передавать стиль избранного образца.

Говоря об антологической поэзии, развивавшейся в XIX в., Белинский писал: «У эллинской поэзии заимствует она и краски, и тени, и звуки, и образы, и формы, даже иногда самое содержание. Впрочем, ее отнюдь не должно почитать подражанием... Когда поэт проникается духом какого-нибудь чуждого ему народа, чуждой страны, чуждого века, он без всякого усилия, легко и свободно творит в духе того народа, той страны или того века».⁶⁹

Державинские антологические стихи, проникнутые «эллинским духом», в известной мере способствовали в русских условиях формированию исторического мышления, были моментом в процессе выработки историзма русскими писателями, непосредственно предшествовали опытам Батюшкова, Карамзина (как автора «Истории государства Российского»), Пушкина.

Как образцы «живого сочувствия к древнему миру» и проникновения в художественный мир древней Греции Белинский приводил две анакреонтические пьесы — «Победа красоты» и «Рождение красоты». В обеих «песнях» была развернута Анакреонова мысль о могуществе красоты, выражавшей важную особенность античного мирозерцания. Но стихи эти глубоко оригинальны, Державин, по мысли Белинского, самостоятелен в художественном воплощении античных сюжетов.

Большая часть антологических стихотворений Державина посвящена изображению русской жизни, русских обычаев, раскрытию поэзии жизни обыкновенной. Обобщая опыт русской антологии, Белинский писал: «Содержание антологических стихотворений может браться из всех сфер жизни, а не из одной греческой: только тон и форма их должны быть запечатлены эллинским духом».⁷⁰

«Эллинский дух» анакреонтических песен на русские темы проявлялся в близости их к сюжетам од Анакреона, к вариациям анакреонтических любовных мотивов, в ироническом описании «похождений» мифологических богов на русской земле, в изяществе, лаконизме и артистизме формы, в общем шутливом тоне рассказа. Так написан, например, «Фальконетов Купидон».

Державин сознательно в описаниях русской жизни использует античные и фольклорные мотивы, греческую и русскую мифологию (Амур, Лель). Это сочетание античного и русского получает свое теоретическое объяснение и в авторских комментариях к анакреонтическим песням: поэт стремится подобным сближением подчеркнуть общее народное фольклорное начало каждой национальной поэзии. Шуточная манера рассказа также часто восходила к сказкам и песням, откуда поэт черпал и образы, и поэтическую лексику, и лукавую манеру изъяснять свою мысль («Охотник», «Шуточное желание», «Русские девушки» и др.).

⁶⁹ Там же, с. 231.

⁷⁰ Там же, с. 258.

Автобиографизм определяет содержание многих анакреонтических песен. Державин рассказывает не только о своем понимании долга поэта и его месте в обществе («Венец бессмертия», «К лире», «Дар», «К самому себе» и др.), но и о своих друзьях, о своей жене, о своих повседневных делах и заботах. В песне «Приношение красавицам», которой открывался сборник «Анакреонтические песни», поэт провозглашал:

Вам, красавицы молодые,
И супруге в дар моей
Песни Леля золотые
Подношу я в книжке сей.⁷¹

Державин настойчиво утверждал право поэта писать о самом обыкновенном, находить поэтическое в повседневной жизни, в обыкновенных людях, в бытовом укладе русского человека. Подобная поэзия прокладывала дорогу будущим поэтам. На опыт Державина опирался Пушкин.

Художественное новаторство Державина в изображении реального человека в окружении подлинных обстоятельств и событий его жизни, быта, природы, вещей создало условия для открытия «тайны национальности» человека, сделало способным поэта раскрыть национальную обусловленность характера прежде всего своего лирического героя. Уже Белинский подчеркивал и народность поэзии Державина, и его умение раскрыть «русский ум». «Ум Державина был ум русский, положительный, чуждый мистицизма и таинственности... его стихиею и торжеством была природа внешняя, а господствующим чувством — патриотизм». В его стихах «видна практическая философия ума русского; посему главное отличительное их свойство есть *народность*, народность, состоящая не в подборе мужицких слов или насильственной подделке под лад песен и сказок, но в сгибе ума русского, в русском образе взгляда на вещи».⁷²

Просветительский историзм помогал Державину раскрыть в анакреонтике дух времени и дух народа древней Греции. Но обретенный опыт открывал ему путь к постижению духа русского народа. Так Державин раскрывал «тайну национальности», он уже не только задавался вопросом — в чем наш национальный характер, но поэтически его воплощал в своих стихах. Выработывавшееся новое историческое мышление способствовало оригинальности, народности и национальной обусловленности будущей русской поэзии.

10

Новый XIX в. органически воспринял идею обновления исторической науки и развивал ее в новых условиях. Он принял эста-

⁷¹ Державин Г. Р. Соч. Л., 1957, с. 287.

⁷² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1957, т. 1, с. 49.

фету от ушедшего столетия. Процесс разработки просветительского историзма не просто продолжался — он убыстрял темп своего развития и подготавливал его качественное изменение. Диалектика этого процесса состояла в том, что углубление философской основы просветительского историзма создавало условия для перехода его на новый уровень — романтического историзма (главным образом в странах Западной Европы) и реалистического историзма (в России — Пушкин).

Осуществлению преемственности способствовала практическая деятельность в новом столетии Державина, Карамзина (его громадный труд «История государства Российского») и Радищева. Его сочинения, написанные в ссылке, пожалуй, с наибольшей полнотой запечатлели все особенности просветительского историзма в его индивидуальном преломлении писателем-революционером. Они-то и были изданы сыновьями писателя в шести томах (без «Путешествия из Петербурга в Москву» и оды «Вольность») в Петербурге в 1806—1811 гг. Несомненно, издание сочинений гонимого самодержавием писателя было явлением незаурядным. Оно не могло не привлечь внимание литературной общественности. Читал эти небольшие томики и Пушкин, впервые еще в лицее.

Какова роль этих сочинений в литературном процессе начала XIX в.? Как усваивались и какие именно идеи привлекали писателей? Вопросы эти остаются без ответа, ими не занималось литературоведение. Изучение радищевского историзма в условиях нарастающего интереса к проблемам истории в 1800—1810 гг. поможет ответить на эти вопросы.

Должно учитывать и то обстоятельство, что интерес к истории, стремление разгадывать тайны ее развития в первые десятилетия XIX в. проходили в новых исторических обстоятельствах и на ином уровне. Крушение французской республики и приход к власти Наполеона, объявившего себя императором, нарастающее разочарование в просветительской философии в связи с тем, что французская революция не обеспечила обещанного торжества царства разума, с одной стороны, а с другой — Отечественная война с ее патриотическим подъемом, нарастающее в среде передового дворянства недовольство режимом рабства и деспотизма русского самодержавия, которое привело в 1825 г. к восстанию, — все это настойчиво заставляло обращаться к опыту истории, чтобы там искать ответы на жгучие вопросы современности.

Вот почему и в странах Западной Европы, и в России мы наблюдаем дальнейшее развитие принципов исторического мышления. Русские писатели не только осваивали достижения и открытия своих соотечественников, не только продолжали, правда, уже новыми глазами, читать Гердера, но внимательно следили за новыми работами западных мыслителей и писателей: Сисмонди, де Сталь, а с середины 1810-х гг. — В. Скотта.

Вопросы истории, ее понимания, споры об оригинальности и подражаниях в литературе, о своеобразии национальных культур постоянно освещались на страницах русских журналов. Все эти вопросы волновали и таких поэтов, как Жуковский и Батюшков. К сожалению, исторические воззрения этих двух поэтов не были предметом специального исследования. Известно, что Жуковский интересовался историей, читал Гердера. Сейчас получен богатейший первоклассный материал, характеризующий исторические занятия поэта.⁷³ Обнародовано множество замечательных фактов и документов, свидетельствующих о напряженном и постоянном внимании поэта к русской и западноевропейской истории, интересе к вопросам оригинальности литературы и ее самобытности, о роли подражания в историческом аспекте. Документировано внимательное чтение сочинений Гердера, Сисмонди, де Сталь, а позже — Гизо, де Баранта, т. е. тех мыслителей, в трудах которых запечатлелись разные этапы становления историзма. Тема «Исторические воззрения Жуковского» ждет своего исследователя.

После завершения Отечественной войны под влиянием впечатлений о послереволюционной Франции Батюшков оказался захваченным идеями «всеобщего разочарования». Начавшийся под влиянием опыта буржуазной Европы пересмотр просветительской философии отдалил Батюшкова после возвращения на родину от той среды его современников, в которой зарождалась мысль о революционном обновлении России. Батюшков попал в тиски трагически не разрешимых личностью, но исторически закономерных противоречий социального развития человечества на его пути к истинной свободе.

Обращение к истории помогло Батюшкову преодолеть тяжелый идейный кризис. Он читает и Винкельмана, и Гердера, де Сталь и Сисмонди, Радищева и Карамзина, Муравьева и Державина. Его внимание привлекают и древние эпохи — Греция и Рим, Италия Возрождения и культура севера — история скандинавских стран и Франции, но прежде и больше всего Россия. Начиная с лета 1814 г. (статья «Прогулка в Академию художеств») Батюшков постоянно обращается к истории России, останавливает свое внимание главным образом на эпохе Петра. Хотя и смутно, но уже открывались ему закономерности развития родины. История — не цепь заблуждений и катастроф. Современность — это не пора умирания, крушения и гибели того, что когда-то было достигнуто. «Время, — пишет Батюшков, — все разрушает и создает, портит и совершенствует».⁷⁴ Нет нужды скорбеть о прошлом и оплакивать настоящее. Поэт вырабатывает светлый и бодрый взгляд на будущее. «Петр Великий пробудил

⁷³ Библиотека В. А. Жуковского в Томске/ Под ред. проф. Ф. З. Кануновой. Томск, 1978.

⁷⁴ Батюшков К. П. Опыты в стихах и прозе. М., 1977, с. 44, 45.

народ, усыпленный в оковах невежества; он создал для него законы, силу военную и славу». История отечества наполняла сознание Батюшкова гордостью. Всего сто лет назад «Россия пробудилась от глубокого сна, подобно баснословному Эпимениду. Заря, осветившая нашу землю, предвещает прекрасное утро, великолепный полдень и ясный вечер: вот мое пророчество!»

Отечественная война, пробудившая титанические силы народа, оказывалась моментом его истории. Сейчас, когда Россия находилась накануне нового этапа развития, должны быть решены кардинальные проблемы политического бытия народа — свобода и просвещение. Для Батюшкова эти два понятия неразрывны. Он верит, что итогом развития России «будет полное торжество свободы». Пройдет, говорит он, «два или три столетия, может быть и ранее», у народа появится новый вождь, «который достигнет вполне великую мысль Петра, и обширнейшая земля в мире, по творческому гласу его, учинится хранилищем законов, свободы, на них основанной, прав, дающих постоянство законам, одним словом, — хранилищем просвещения».

В статье «Вечер у Кантемира», написанной в 1816 г., Батюшков говорит о «деятельном духе Петра», который «не покидает страны». Под деятельным духом Петра Батюшков понимает историческую деятельность народа, его творческую активность, разбуженную Петром. Победа народа в войне — яркое проявление деятельного духа Петра. Именно этот дух «всему дает душу, и новую жизнь, и новую силу; он, кажется мне, беспрестанно вещает России — иди вперед! не останавливайся на поприще, мною отверзтом, и достигнешь великой цели, мною назначенной!» В этом восторженном отношении к Петру нельзя не видеть идеализации великого преобразователя, той идеализации, которая будет свойственна и Пушкину в пору написания им «Стансов» и «Полтавы». Но в данном случае важно понять, что обращение к истории России и, в частности, к истории Петра помогло Батюшкову преодолеть кризис, обрести веру в будущее, открыть обязанности человека в настоящем.

В философских и литературно-исторических сочинениях, написанных в 1814—1816 гг., Батюшков изложил основу своего нового миропонимания. Органическим было его обращение к событиям Отечественной войны (цикл стихотворений: «Переход... через Неман», «Переход через Рейн», «К Никите», «Пленный»), к историческим сюжетам («Умиравший Тасс»), к переводам античных поэтов и, наконец, к собственным опытам в духе древних поэтов (цикл «Подражание древним»). Поэзия Батюшкова 1817—1821 гг. — это ярчайший пример позитивного воздействия быстро прогрессирующего в своем развитии историзма на творчество поэта, на литературу в период допушкинский.

Новаторство Батюшкова в изображении Отечественной войны (историческая оценка событий) обуславливалось прежде всего тем, что он подошел к пониманию ее народного характера.

Стремление воссоздать исторический колорит изображаемых событий привело к выработке новой стилистики — поэтическая лексика должна была передавать «дух времени».

«Переход через Рейн» как бы в конденсированной форме раскрывает все богатые возможности создаваемой поэтом новой системы. Начинается стихотворение обзором тех исторических событий, свидетелем которых был Рейн. Это необходимо, чтобы вписать в историю величайшее событие современности — переход русской армии, изгоняющей армию Наполеона из России, осуществляющей справедливый акт возмездия захватчикам. Глубокая древность. Пора кровавых битв между древнегерманскими племенами и римлянами передается словами: «О Рейн, ты поил несчетны легионы, мечом писавшие законы». Здесь все подчинено задаче точного изображения событий. Отсюда — «легионы» (именно так назывались воинские соединения древних римлян). Слова «мечом писавшие законы» исторически точно передают жестокую правду времени, когда насилие определяло гражданские права поверженного народа. Наступила эпоха средних веков, торжество христианства — изменился «дух времени». Поэт стремится его передать: «Мир крестом преобразен». Закономерно появляются «турниры» и «трубадуры».

При сопоставлении описаний событий прошлых и современных с особой наглядностью проступает историческая конкретность используемого слова, точность эпитета, точность не случайная, а вытекающая из новых принципов стиля. И в средние века, и в новое время люди отстаивали честь. В эпоху рыцарства «витязи вооружались копьем», вступаясь «за честь прелестных жен». Сейчас Рейн оказался свидетелем новой битвы, когда русские войска «стеклись, нагрянули за честь твоих граждан, за честь твердынь, и сел, и нив опустошенных».

Через пять лет, в 1822 г., Пушкин напишет «Песнь о вещем Олеге». Перед ним встанет задача — точно передать дух древней Руси, психику людей того времени, их взгляд на жизнь, их быт. Он решает эту задачу, опираясь на опыт Державина, на опыт Батюшкова. Фраза: «Их села и пивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам», передающая жестокость нравов эпохи, стоит в одном ряду с фразой Батюшкова «мечом писавшие законы», как в том же ряду стоят слова: у одного «дружина», у другого — «легионы». Эпитет «цареградская броня» (Пушкин) с такой же исторической точностью передает особенности жизни людей Киевской Руси, когда нужное военное снаряжение и оружие для защиты своего земледельческого хозяйства от набегов половцев и хазар приходилось покупать в Царьграде, как эпитет «медный крест» (Батюшков) характеризует рядового ратника русской армии, простого солдата (крестьянина или казака), православного человека, того конкретно-исторического солдата, который мужественно исполнил свой долг защиты и освобождения родины.

Элегия «Умирающий Тасс» — новый, уверенный шаг в развитии историзма Батюшкова. Ставшая перед ним трудная, но заманчивая поэтическая задача точного воссоздания облика другой культуры, раскрытия типа и характера мышления людей, живших давно и в непохожей на Россию стране, и, наконец, раскрытия конкретного, исторически точного быта — не могла не волновать. Через семь лет в боре с подобными трудностями вступит Пушкин в «Борисе Годунове» и выйдет победителем. Батюшков не одержал такой победы, но его опыт предвещал пушкинский и способствовал победе Пушкина.

Батюшков много читал исторических сочинений, в частности Гердера. Он решительно выступал против исторического анахронизма, бытовавшего в литературе и искусстве. Так, критически оценивая картину «Истязание Христа в темнице», Батюшков писал: «К чему, спрашиваю вас, на римском воине шлем с змеем и почему в темнице Христовой лежит железная рукавица? Их начали употреблять десять веков или более после рожества Христова». Через десять лет за подобные отступления Пушкин будет упрекать Рыльева, который в думе «Олег вещей» напишет: «Прибил свой щит с гербом России». В письме поэту Пушкин указывал: «Древний герб, святой Георгий, не мог находиться на щите язычника Олега; новейший, двуглавый ореол есть герб византийский и принят у нас во время Иоанна III, не прежде. Летописец просто говорит: „Таже повеси щит свой на вратех на показание победы“». ⁷⁵

Требование Батюшкова к художникам выражало его собственную позицию, с какой он писал стихи на исторические темы: «Если художники наши будут более читать и рассматривать прилежнее книги, в которых представлены обряды, одежды и вооружение древних, то подобных анахронизмов делать не будут».

Несомненно в первую четверть XIX столетия самым крупным и программным документом формировавшегося в России историзма явилась «История государства Российского» Карамзина.

Работа над «Историей» длилась более двух десятилетий — с 1804 по 1826 г. Усвоенные и выработанные в 1790-е годы принципы просветительского историзма получили при написании «Истории» дальнейшее развитие. В 1818 г. русский читатель получил первые восемь томов «Истории». К тому же времени вышли из печати шесть романов В. Скотта. В этом в сущности случайном совпадении проявлялась некая закономерность. Оба писателя обратились к истории, уже опираясь на выработанные их предшественниками идеи новой философии истории, и сами в процессе художественного исследования прошлого своей страны сумели двинуть вперед науку истории. Отсюда огромное влияние В. Скотта и Н. Карамзина на современную им литературу и науку: их сочинения отвечали требованиям времени. В частности, на опыт

⁷⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т., Л., 1949, т. 10, с. 144.

В. Скотта опирались французские историки, выступившие со своими трудами в конце 1820-х годов; на опыт Н. Карамзина — Пушкин, уже в период южной ссылки, а особенно при написании трагедии «Борис Годунов».

Характер и особенности историзма карамзинской «Истории государства Российского» должны быть определены в процессе тщательного самостоятельного исследования. Хотя следует отметить, что так или иначе этот вопрос уже освещался в научной литературе.⁷⁶ В настоящей статье не представляется возможным подробно характеризовать историзм Карамзина — автора «Истории». Укажу лишь на некоторые моменты исторического освещения событий в «Истории», на метод изображения прошлого, раскрытия «духа времени», нравов, обычаев, культуры древней России, на изображение национального характера, наконец.⁷⁷

«История» построена на огромном фактическом материале, собиравшемся писателем в течение многих лет. Среди многочисленных первоклассных по своей значимости документов на первое место должно поставить летописи. В тексте «Истории» использованы не только ценнейшие сведения и факты летописей, но Карамзин включил в свое сочинение обширные цитаты или пересказы входивших в летописи повестей, преданий, легенд. Для Карамзина летопись ценна прежде всего тем, что она открывала отношение к фактам, событиям и легендам современника их — летописца. Потому важнейшим принципом «Истории» и стало стремление ее автора «смотреть в тусклое зеркало древней летописи», следуя за ней в изложении и оценке событий, не украшая вымыслом или произвольной догадкой свой рассказ. Постигшие точки зрения летописца, его «простодушие» и суда над современниками, в которых запечатлелся «дух времени», было задачей Карамзина-художника. Карамзин-историк выступал с комментарием этой летописной версии событий.

Монархическая концепция «Истории» (хотя писатель опирался при этом на точку зрения Руссо, согласно которой монархическое правление «наиболее пригодно» для больших государств, а республиканское — «для малых») закономерно вызвала возращение декабристов. В годы, когда дворянские революционеры разрывали борьбу с самодержавием, всякая его защита, хотя бы и на материале истории, объективно укрепляла дело реакции. В то же время видеть в «Истории» только защиту самодержавия и осуждать ее на этом основании было бы неисторично. В сочи-

⁷⁶ См., например: Логман Ю. М. Поэзия Карамзина. — В кн.: Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.: JL, 1966; Макогоненко Г. П. Вступит. ст. к изд.: Карамзин Н. М. Избр. соч. в 2-х т. М.; JL, 1964, т. 1.

⁷⁷ Подробнее об историзме «Истории государства Российского» см. в главе: «Карамзин и Просвещение, формирование исторического мышления». «История государства Российского». — В кн.: Куприянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. JL, 1976, с. 169—195.

нении Карамзина заложено глубокое противоречие: умозрительной концепции писателя оказались противопоставленными многочисленные факты, которые опровергали идею благодетельности самодержавия для России и народа. И Карамзин не скрывал этих фактов, но честно приводил их, объективно оценивал их. Заданный тезис, привнесенная в сочинение идея не подтверждались материалом истории.

Противоречие это обернулось трагедией Карамзина, политическая идея заводила в тупик. И несмотря на это, Карамзин не изменил своему методу выяснения истины, открывавшейся в процессе художественного исследования прошлого, оставался верен ей, даже если она противоречила его политическому идеалу. Это было победой Карамзина-художника, верного историзму в понимании истории. Именно потому Пушкин и назвал «Историю» подвигом честного человека.

Противоречивость сочинения Карамзина отлично понимал Пушкин. Отвечая декабристам на их критику «Истории», он писал: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения».⁷⁸ Слова Пушкина следует понимать еще и в том смысле, что суждения Карамзина о самодержавии не покрывают всего огромного содержания «Истории», что многотомный труд нельзя сводить к доказательству тощего политического тезиса, что было в этом труде что-то такое, за что можно было ее автора назвать великим писателем, за что следовало ему сказать спасибо.

Историзм карамзинского сочинения проявлялся прежде всего в ярко запечатленном сознании непрерывности исторического бытия Русской земли, в рассмотрении ее истории как непрерывного, хотя и осложненного тягчайшими длительными испытаниями и бедствиями, становления единого мощного государства, занявшего свое особое место в ряду других государств мира. Эта идея красной нитью проходит через все летописи, и ее воспринял Карамзин, она пронизывает все его повествование. Но летописи открыли ему еще одну тайну истории — меняющийся из века в век тип сознания русских людей, то, что было названо в «Истории» «духом времени». Каждая эпоха была охарактеризована Карамзиным в соответствии с летописями определенной совокупностью черт сознания, типом мышления — своими религиозными убеждениями, своими идеалами, нравственными критериями, пониманием долга, воинского мужества, проявлением вольнолюбия, системой общественных, политических, имущественных отношений, своим уровнем культуры, просвещения, бытового уклада и т. д.

Историзм проявил себя и в раскрытии сознания летописцев. И хотя у Карамзина нет ни одного характера летописца, все же Пушкин, создавший в трагедии «Борис Годунов» исторически

⁷⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. 8, с. 67—68.

обусловленный характер летописца Пимена, счел нужным указать, что этим он обязан Карамзину. «Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать набожное, к власти царя, данной ему богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия»; «Мне казалось, что сей характер всё вместе нов и знаком для русского сердца; что трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании, украсит простоту моих стихов».⁷⁹

Трудно переоценить это признание Пушкина. Оно драгоценно тем, что писатель категорически, с поразительной четкостью подчеркивает преемственность в развитии историзма в России, устанавливает непосредственную связь между открытиями Карамзина — автора «Истории государства Российского» и своей трагедией «Борис Годунов».

Художественное начало «Истории» позволило раскрыть процесс выработки психического склада русской нации. Главная тема летописи — судьба Русской земли и непрерывная борьба за единство — сосредоточила внимание летописца на роли национального фактора. Отсюда подчеркивание таких самобытных черт русского самосознания, как патриотическая гражданственность, понимание героического как выполнение особой, жизненно необходимой работы по исполнению своего долга перед родиной, как выявление личной заботы о благе родной земли, как способности выходить «из домашней неизвестности», из сферы частных, семейных интересов «на театр народный».

Усилия по раскрытию тайны психического склада нации подвели Карамзина к постижению национального характера. Опираясь на летописи, писатель оказался способным и самостоятельно обобщать опыт истории, и делать из нее извлечения. Должно при этом отметить, что в соответствии с уровнем исторических знаний эпохи в сочинении Карамзина оказался обойденным социальный фактор вообще и его влияние на выработку национального самосознания в частности. В этом отношении он как бы сознательно шел за летописью, которая по своим причинам прошла мимо социального фактора. Проблема социальности и социальности обусловленности человека и его сознания станет злободневной позже — в 1830-е годы. Но, не сосредоточиваясь на выяснении социальных отношений Древней Руси, не понимая их роли, Карамзин все же счел необходимым проследить влияние на национальную жизнь политических режимов прошлого, как они определились в формы княжеского и царского государственного правления. Проблема взаимоотношений народа и власти, вставшая перед Карамзиным в связи с его монархической концепцией,

⁷⁹ Там же, т. 7, с. 74.

оборачивалась новым аспектом: что отличает русский народ — любовь к установленному князем или царем порядку или склонность к мятежам?

Еще до написания «Истории» Карамзин эту проблему решал с позиции не истины, но «вымысла», догадки, которые оказывались подчиненными идее «благодетельности самодержавия» для России и ее народа. И, опираясь на вымысел, Карамзин писал: «Кровопротитие, мятежи и бедствия составляют главную и, к несчастью, любопытнейшую часть всемирных летописей; но история нашего отечества, подобно другим, описывая жестокие войны и гибельные раздоры, редко упоминает о бунтах против властителей законных, что служит к великой чести народа русского. Он, кажется, всегда чувствовал необходимость повиновения и ту истину, что своевольная управа граждан есть во всяком случае великое бедствие для государства».⁸⁰

Изучение истории по документам, по летописям опрокинуло этот «вымысел». Истина оказалась иной: не «чувствовал всегда» народ русский необходимость повиновения, мятежи народные оказались важным фактором русской национальной жизни на протяжении веков.

Столкнувшись с мятежами как реальным фактом, Карамзин принужден был выяснить их причину. Знаменателен принципиальный вывод, сделанный Карамзиным: русский бунт не есть проявление дикости «непросвещенного» народа или результат происков плутов и мошенников, как то постоянно утверждала дворянская историография. Мятежи, по Карамзину, были следствием антинародной политики князей, народ всегда был вынуждаем на бунт несправедливыми действиями властей.

Анализируя многочисленные факты начального периода русской истории, Карамзин приходит к пониманию огромной роли народа в политической жизни страны. Любовь или ненависть народа к князю — вот что определяло судьбу самого князя и порядок в княжестве. Если князь не понимает этого, если он не проявляет заботы о народе и хочет добиться его повиновения только силой, то он сам является причиной бунта. Вот характерная для Карамзина констатация фактов: «Народ стонал»; «Сильные утесняли слабых, наместники и тиуны грабили Россию как половцы». Опираясь на мнение летописца, Карамзин писал: «Народ за хищность судей и чиновников ненавидит и царя самого добродушного и милосерднейшего».⁸¹

Факты истории более чем красноречиво свидетельствовали о мятежности народа, выступавшего против князей и самодержцев. И тогда, спасая свою любимую идею, отступая от истины, Карамзин объясняет, что в возникновении мятежей виновато не самодержавие, а те монархи, которые отступали от принципов

⁸⁰ Карамзин Н. Соч. М., 1820, т. 8, с. 229.

⁸¹ История государства Российского. СПб., 1818, т. 2, с. 101; т. 3, с. 29—30.

самодержавия («Предмет самодержавия есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы действия их направить к величайшему благу»⁸²). Вина с плеч самодержавия перекладывалась на плечи отдельных личностей — тиранов, оказавшихся на царском престоле.

Такие монархи, как Грозный, Годунов, — тираны и преступники — подлежат суду историка, но не народа. Карамзин лишает народ права на бунт. Как же тогда объяснить действительно бывшие бунты против самодержцев? Карамзин предлагает свое толкование фактов истории. Народный бунт, мятеж в подобных ситуациях объявляется Карамзиным проявлением суда небесного — это кара божественная за совершенные царями-тиранами преступления, за отступничество от принципов самодержавия. Тем самым с народа снимается «вина» за мятеж — он оказывается всего лишь орудием провидения. В других случаях, когда народ не восстает против самодержца, но терпит бедствия, чинимые властью, Карамзин заставляет его «безмолвствовать». Эти грозные и многозначительные слова, исполненные не только укоризны, но и немой угрозы, довольно часто появляются на страницах последних томов «Истории».

По Карамзину, добродетель народа вовсе не противоречит народной «любви к мятежам». Художественное исследование истории открывало Карамзину эту истину. Он понимал, что не любовь к «установкам» самодержцев, но «любовь к мятежам», направленным против самодержцев, не исполнявших своего долга — заботиться о благе своих подданных, отличает народ русский. Он мог «безмолвствовать» во время правления тиранов, он мог поднять восстание и «ниспровергнуть» государя, а в минуту испытаний спасти отечество. Свой вывод Карамзин формулировал довольно откровенно: «Сей народ, безмолвный в грозах самодержавия наследственного, уже играл царями, узнав, что они могут быть избираемы и низвергаемы его властью».⁸³ Так Карамзин оказывался способным художественно показать, что коренные черты народного характера раскрываются даже в «неистовстве бунта», отвергая тем самым концепцию русского национального характера, выдвинутую Екатериной II («образцовое послушание»).

Потому и оказалось возможным Пушкину при работе над «Борисом Годуновым» использовать открытия Карамзина. Еще не зная трудов французских историков, Пушкин, опираясь на национальную традицию, вырабатывает историзм как метод познания и объяснения прошлого и настоящего. Следуя за Карамзиным в раскрытии русского национального характера, он создает образ Пимена. Еще более примечательно отношение Пушкина

⁸² Карамзин Н. Соч., т. 8, с. 51.

⁸³ История государства Российского. СПб., 1829, т. 2, с. 101; т. 3, с. 29—30; т. 12, с. 94.

к открытой Карамзиным «истине» о характере отношений народа к самодержавию. Отбросив монархическую концепцию автора «Истории», отвергнув его апофегмы в пользу самодержавия, Пушкин увидел и понял как закономерность эмпирически установленный факт постоянных мятежей народа против князей и царей. Историзм помог Пушкину открыть другую, более важную истину — ненависть народа к самодержавию, враждебность народу этой формы правления, непримиримость их антагонизма. Оттого Пушкин и подчеркивал, что Карамзину он обязан «мыслию» своей трагедии, что ему он следовал «в светлом развитии происшествий».

События французской революции и последующая реакция на них в известной мере обусловливали преемственную связь между первым этапом истории историзма, когда началось его формирование в эпоху Просвещения, и его последующим развитием в 1820-е годы. Энгельс указывал, что именно в первые десятилетия XIX в. шел бурный процесс выработки новой философии истории: «... история человечества уже перестала казаться диким хаосом бессмысленных насилий... она, напротив, предстала как процесс развития самого человечества, и задача мышления свелась теперь к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей».⁸⁴ «История государства Российского» — частный случай общего процесса, один из примеров того, как это практически осуществлялось на материале истории России.

⁸⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 23.

Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

ИСТОРИЯ И ИСТОРИЗМ В ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ

Мы привыкли считать антиисторизм характерной чертой мышления просветителей XVIII века, рассматривая соответственно историзм как одно из величайших завоеваний философской и общественной мысли XIX века. И в самом общем теоретическом виде такое представление отвечает истинному, реальному положению вещей. Но диалектика учит, что истина всегда конкретна. Ни одним научным положением нельзя безнаказанно пользоваться только в общем, абстрактном виде, рассматривая его как догму. Даже наиболее глубокое и верное обобщение, если пользоваться им недостаточно гибко и осторожно, рассматривая его как неподвижную, «вечную» истину, превращается зачастую в свою противоположность. Это относится и к вопросу об исторических идеях просветителей.

Антиисторизм мышления просветителей XVIII века на Западе (как и антиисторизм Фейербаха и русских просветителей 1840—1860-х годов) состоял в том, что все они считали наиболее глубоким ядром личности человека его «естественную природу», данную от века и не подверженную качественным изменениям. Представления об «естественном разуме» и «естественной природе» человека, неумение применить к природе человека учение о развитии (в противовес современной науке, получившей возможность рассматривать физические свойства и психику человека в процессе непрерывного их движения, развития и обновления) составляют объективную границу просветительского историзма, его предел, обусловленный общим уровнем знаний тогдашней эпохи. Но если мы раз навсегда ясно и отчетливо будем сознавать этот предел, нам станет ясно, что *в ряде других и притом очень важных моментов* мышление просветителей отнюдь не было антиисторичным. Ибо в «вечную», «естественную» природу человека верили не только философы и писатели-просветители, но и многие их предшественники — в первую очередь метафизики и рационалисты XVII в., а в искусстве и литературе — эстетики

и художники классицизма. И если сопоставлять мышление просветителей не с мышлением последующих, а с культурой предшествовавшей им эпохи, то мы получаем полное право говорить не об антиисторизме, но и об историзме просветителей, об их великих завоеваниях в области развития исторических знаний и исторического мышления в самом широком смысле слова.¹

Стоит напомнить, что XVIII век был ознаменован появлением целого ряда выдающихся исторических и историко-философских сочинений, привлечших к себе широчайшее внимание во всем мире и оказавших огромное, невиданное до этого влияние на умы. Таковы историко-философские или историко-социологические трактаты Г. Болингброка и Фергюсона, Монтескье, Вольтера, Гюрго, Кондорсе, Лессинга, Канта, Гердера, историографические труды того же Вольтера, Д. Юма, У. Робертсона, Э. Гиббона, Г. С. Реймаруса, Шлёцера и других историков-просветителей на Западе, исторические работы Ломоносова, Татищева, Щербатова, Радищева в России. Особую линию историко-философской мысли XVIII в. составляет та своеобразная внутренняя самокритика, которая, как тень, постоянно сопутствовала развитию просветительской мысли на всех ее этапах (Ж.-Ж. Руссо, Мабли, Рейналь, Шиллер и т. д.). Наконец, за пределами просветительства в XVIII в. развивалось и еще одно важное течение историко-философской мысли — в одних отношениях «отсталое» по сравнению с идеями просветителей, а в других опережавшее их, перебрасывавшее мост от XVII и XVIII веков к XIX (Д. Вико).

Классическим образцом историзма XVII в. можно считать взгляды Боссюэ, в ожесточенной полемике с которым складывались идеи Вольтера и других французских историков-просветителей. В своем «Рассуждении о всеобщей истории» (1681) Боссюэ учил, что история человечества со времен Адама и до установления империи Карла Великого двигалась по единому, универсальному, хорошо продуманному плану, начертанному божественным провидением. В истории, согласно учению Боссюэ, нет ничего случайного, противоречащего целям провидения (или не предусмотренного им). Случайными, неразумными исторические события могут представляться только человеку, не знающему

¹ Критике представления о принципиальном «антиисторизме» философии и общественной мысли эпохи Просвещения посвящены следующие известные работы: *Dilthey W. Das achtzehnte Jahrhundert und die geschichtliche Welt* (1901). — In: *Dilthey W. Gesammelte Schriften*. Berlin, 1927, Bd III, S. 209 ff; *Cassirer E. Die Philosophie der Aufklärung*. Tübingen, 1973, S. 263—312; *Лукач Г. Исторический роман*. — Литературный критик, 1937, № 7, с. 48—51. *Люблинская А. Д. Историческая мысль в Энциклопедии*. — В кн.: *История в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера*. Л., 1978, с. 233—255. См. также: *Плеханов Г. В. Избр. философские произв.* М., 1956, т. II, с. 634—668. Об исторической мысли английского Просвещения см.: *Барг М. А. Историческая мысль английского Просвещения*: Болингброк. — В кн.: *Болингброк. Письма об изучении и пользе истории*. М., 1978, с. 274—315.

в силу своей ограниченности того плана, по которому бог ведет вселенную и человечество к совершенству. В действительности, в соответствии с ее провиденциальной целью в истории все служит совершенству, ведет к нему.

Если подойти к оценке богословско-исторической концепции Боссюэ с чисто внешней точки зрения, не вникая в ее существо, она легко может показаться нам в каком-то смысле более «историчной», чем идеи многих из просветителей XVIII в., например Вольтера. Действительно, Боссюэ считал, что история человечества представляет собой единство, где все совершается закономерно и где господствует движение по восходящей линии, — представление, которое многие привыкли считать завоеванием историзма XIX в. В наше время историки общественной мысли часто связывают его с именем Гегеля, полагая, что до XIX в., а тем более до эпохи Просвещения, идеи исторической закономерности вообще не существовало. Между тем идея закономерного хода исторического процесса возникла уже в средние века. Все дело в том, в чем предшественники просветителей видели его истоки и смысл. Начиная с Августина, они полагали, как и Боссюэ, что миром управляет бог, воля которого определила истории человечества строгие и неизменные законы, неподвластные человеку. Именно против этой «провиденциальной» формы историзма, восходящей в своих истоках к средневековому, теологическому мировоззрению, и боролись историки-просветители. Их задачей было освободить историю от влияния теологии, секуляризовать ее, доказать, что ее субъектом является не бог, а человек. Соответственно законы истории должны были быть осмыслены отныне как природные и человеческие, а не божественные законы. В этом величайшая заслуга просветителей, положивших начало новой форме уже не «провиденциального», а гуманистического, «антропологического» историзма.

Одним из направлений, которое способствовало в XVIII в. секуляризации истории, стала историческая критика, начало которой во Франции положил П. Бейль своим грандиозным «Историческим и критическим словарем» (1695—1697). Бейль возвел здесь сомнение в достоверности любого исторического предания, необходимость скрупулезной, строгой проверки каждого сообщаемого им факта в верховные методологические принципы исторического знания. Историк, по Бейлю, не может начинать с «готовых» фактов; он должен их сначала добыть путем критики источников, тщательно очищая в последних всякий раз крупинцы истины от легендарных наслоений. Прежде чем пытаться нарисовать историческую картину, соответствующую реальности, необходимо тщательно подготовить для нее почву. Выдвинутые Бейлем принципы исторической критики способствовали отделению науки от библейско-теологических концепций, реальных фактов от чудес и вымышленных, легендарных примесей. Продолжая традицию гуманистов эпохи Возрождения и передовых,

независимых мыслителей-вольнодумцев XVII в., просветители резко разграничили и противопоставили область «баснословия», религиозного предания и область фактов. Унаследованный Бейлем, Вольтером и их последователями от мыслителей Возрождения и развитый ими в их трудах метод критики источников благотворно повлиял на исторические труды Ломоносова, Татищева и вообще на русскую историческую науку XVIII в. вплоть до Шлецера и Карамзина.

Другое важное направление исторической мысли XVIII в., имевшее громадное значение для будущего, — стремление отыскать в истории не «божественные», а естественные законы. Первым выдающимся опытом на этом пути был «Дух законов» Монтескье (1748) — книга, идеи которой не случайно получили мировой резонанс. Впервые со времен античности Монтескье поставил здесь своей задачей создание общей, универсальной типологии общественных и государственных форм, имевшей, в его понимании, силу для всех форм общества и государства и для всех народов, как бы их история и нравы ни отличались внешне друг от друга. Сводя все существовавшие в прошлом и настоящем государственные формы к четырем демократии (республика), аристократии, монархии и деспотизму, Монтескье сделал попытку объяснить эволюцию и все стороны жизни общества в каждой из них из единого принципа. Тем самым он открыл путь для других опытов типологического изучения общества и государства, в том числе тех, которые создавались в прямой полемике с государственными идеями и философией истории самого Монтескье. Монтескье принято считать также родоначальником географической школы в историографии и социологии. Тем более следует особенно отметить, что в отличие от многих последующих представителей этой школы он признавал не только обусловленность общественных «нравов» влиянием климата и естественной среды, но и способность общества и государства использовать особенности естественной среды в своих целях, а также парализовать ее вредное воздействие.

Центральной фигурой в развитии философско-исторической мысли и историографии эпохи Просвещения во Франции был Вольтер, на сущности исторических идей которого следует остановиться специально, ибо именно с недостаточно глубоким и вдумчивым отношением к анализу философско-исторической концепции и исторических трудов Вольтера связано ходячее представление об «антиисторизме» XVIII в.

В своих трудах Вольтер продолжил борьбу Бейля против различного рода мифов, «басней» и церковно-религиозного предания, затемняющего историческую правду. В трактате «Пирронизм в истории» (1768) он объявил, следуя Бейлю, верховным методологическим принципом для историка сомнение в «готовой» истине, а в статьях «Философского словаря» (1764) и сочинениях, посвященных критике Священного писания, дал многочис-

ленные, блестящие образцы критического анализа библейских преданий. «Высоко ценя поэтическую ценность библейских текстов, их мощное и смелое воображение, содержащиеся в них картины нравов древних времен истории иудейского племени и т. д., Вольтер категорически отрицает за данными библейского предания какую-либо историческую достоверность», — справедливо пишет по этому поводу К. Н. Державин.²

К критике Библии Вольтер подходил нередко, по собственному признанию, с точки зрения «здорового смысла».³ Однако рационалистический характер, свойственный этой критике, не лишал его точности, меткости и исторической пронизательности. Причем следует добавить, что, язвительно и безжалостно критикуя достоверность библейских преданий, Вольтер не отвергал громадного значения Библии как поэтического и исторического памятника, который «во сто раз лучше Гомера позволяет узнать нравы Древней Азии» (письмо к м-м дю Деффан от 13 окт. 1759 г.).

«В своем стремлении уничтожить авторитет библейского предания как исторического источника, — верно замечает К. Н. Державин, — Вольтер становится вслед за английскими деистами на путь сравнительно-исторического исследования ряда библейских эпизодов и образов. Он привлекает к критике библейского текста широкий материал древневосточной, египетской и античной мифологии. Он пользуется греческими сказаниями, вавилонскими преданиями, египетской теогонией, преданиями браминов, легендами финикийян, арабов и т. д. . .»⁴ Тем самым Вольтер-историк в немалой степени способствовал расширению всемирного горизонта позднейшей исторической науки, ее выходу за пределы наивного «европоцентризма», подготовил рождение в ней сравнительного метода исследования.

Вольтера нередко упрекали за «антиисторическое» преувеличение роли случайности. Действительно, в полемике с Боссюэ и церковной историографией Вольтер, как и другие философы XVIII в., доказывал, что характер королевской фаворитки, насморк короля или его министра часто оказывали и могут оказывать существенное влияние на политику страны и ее военные судьбы. Но, во-первых, необходимо учитывать тот сатирический и полемический подтекст, который подобные утверждения имели в устах просветителей: указание на роль случайности в истории было важнейшим орудием просветителей в борьбе с церковно-теологическим учением, согласно которому миром правит бог и ни один волос не может упасть с головы человека без его воли. А во-вторых, хотя это и может показаться нам парадоксальным, утверждение роли случайности в истории в конкретных условиях развития тогдашней науки содействовало, как пра-

² Державин К. Н. Вольтер. М., 1946, с. 175.

³ См.: там же, с. 174.

⁴ Там же, с. 177—178.

вило, не ослаблению, а углублению ее историзма: признание Вольтером и другими просветителями роли случая не только способствовало освобождению исторической науки от фаталистических представлений, но и усиливало интерес историка к характерам действующих на исторической сцене людей, особенностям природно-географической среды, состоянию прав, роли реальной случайности и т. д.

Существенным недостатком исторических трудов Вольтера и вообще просветительской историографии мы вполне обоснованно склонны считать свойственное просветителям убеждение в том, что «идеи правят миром». Но и к оценке этого тезиса просветителей следует подходить диалектически, соотнося идеи просветителей с уровнем не только последующей, но и предшествующей им исторической мысли.

В основу своего «Опыта о нравах» (1769) Вольтер в противовес Боссюэ положил идею эволюции мира и человечества, имеющую, по представлению великого французского просветителя, свои внутренние законы, независимые от воли божества. История человечества развивается, согласно взгляду Вольтера, по восходящей линии. Но движет ею не бог, а сами люди. Смысл исторического прогресса состоит не в осуществлении ведомых божественному разуму и церкви провиденциальных целей божества, как полагали блаженный Августин и Боссюэ, а в достижении самостоятельности человеческого разума, завоевании человеком власти над природой, развитии науки, промышленности, создающих предпосылки для достижения разумной и свободной организации общественной и государственной жизни. При всех противоречиях, свойственных идеям просветителей, это был своего рода «коперниканский переворот» в истории общества, значение которого не следует недооценивать.

Подобно другим просветителям, Вольтер некритически исходил из понятия «естественного разума» и представления о «вечной», в принципе всегда равной себе, стихийно «разумной» природы человека. Но при этом Вольтер не считал, что «нормальные», «здоровые» потребности и разум человека в равной степени проявляются во все эпохи. Человеческий разум существовал, по Вольтеру, всегда. Но далеко не всегда человек умел разумно пользоваться им. Лишь постепенно, в ходе своей долгой истории, люди развивают свои потенциальные способности и узнают свои истинные потребности. Простодушный гурон по своему здравому смыслу, высоте своей морали, чистоте внутренних побуждений может превосходить (как Вольтер показал в философской повести «Простак») самого изысканного европейца. Но отсюда никак не следует, что цивилизованные люди могут, как полагал Руссо, вернуться к патриархальной простоте нравов (или встать на четвереньки). Уже в первобытные времена человек встречается с немалым количеством суеверий и заблуждений, которые колоссально возрастают в эпоху цивилизации. Лишь па-

учившись разумно применять свои силы, познав возможности и законы своего разума и истинные свои потребности, человек может привести общественную и государственную жизнь в соответствие со своей природой.

Итак, Вольтер (как и другие просветители) вопреки широко распространенному ошибочному представлению не был чужд в принципе представления о развитии как законе исторической жизни. Но развитие человечества он понимал не как процесс, в ходе которого самим человеком только и вырабатываются впервые основные свойства его природы, а как переход человечества от бессознательной к сознательной жизни. Поэтому-то историческое развитие и отождествлялось Вольтером с прогрессом человеческого разума. В этом слабость не одного Вольтера, но и большей части других просветителей по сравнению с позднейшей историографией. И в этом же, однако, их своеобразная сила по сравнению со средневековой исторической мыслью (как и исторической мыслью XVII века, полагавшей обычно, что немеханическое движение и развитие составляют всего лишь обман чувств, иллюзию, которая исчезает перед лицом «чистого» разума). Взгляд Вольтера на историю как процесс развития самосознания был унаследован Кантом и Гегелем.

Заслугой Вольтера было и то, что в силу полемического характера, свойственного его философско-историческим идеям, он как философ и историк уделял особенно пристальное внимание не внешним, а внутренним процессам исторической жизни. Монтескье был прежде всего *политическим* историком и мыслителем; дух истории определялся для него «духом законов». Вольтер же был, напротив, одним из первых выдающихся мыслителей XVIII в., призывавших историка, не сосредоточиваясь всецело на картине политической жизни, обратиться к изучению истории духа и правот. Он доказывал, что личность королей и смены династий, чисто военные победы и поражения имеют для истории наций меньшее значение, чем изменение обычаев, правот, общественных институтов, успехи науки, промышленности и торговли. При всех полемических издержках и преувеличениях, свойственных нередко Вольтеру при развертывании этого тезиса, он, как и другие стороны наследия просветителей, имел огромное значение для будущего. Толчок, данный Монтескье, Вольтером, Тюрго, Дидро, Руссо, Гиббоном, Герлером и другими умами XVIII в. изучению истории учреждений, обычаев, правот, истории науки и техники, способствовал росту внимания уже в XVIII в. и позднее к распределению собственности и отношениям между классами. Отсюда тесная связь с историческим наследием Просвещения идей Сен-Симона и других социалистов-утопистов начала XIX в.

Особо следует подчеркнуть, что свойственное просветителям преувеличение роли разума, идей, разумного законодательства (и даже идея «просвещенного» монарха) нередко также имели для

XVIII в. не только свою слабую, иллюзорную, но и свою сильную сторону. Предшественники и противники просветителей утверждали, что вся власть на земле принадлежит богу и что человек бессилён в борьбе с его предназначениями. Просветители же стремились в борьбе с абсолютизмом и церковью утвердить идею активности человека и человеческого разума, их право самим «делать» историю и влиять на ее результаты. При этом просветители преувеличивали роль идей в истории. Но они же подняли на небывалую до этого высоту авторитет исторического действия и исторической инициативы. Если преувеличение роли разума, государственных учреждений и идей мешало им понять зависимость самих идей от учреждений и хода вещей, то, с другой стороны, оно способствовало росту внимания историков к изучению личности и деятельности исторических реформаторов и революционеров, к сущности проводившихся ими исторических реформ и преобразований.

Борясь со средневековыми идеями и учреждениями, просветители стремились проследить отдаленные истоки этой борьбы. Они подорвали веру в «вечность» религии и церкви, «вечность» средневековых сословных представлений и государственных учреждений, средневековой философии и морали. Историю прошлого просветители стремились представить как борьбу разума и неразумия, свободомыслия и церкви, свободы и деспотизма. Правда, просветители некритически отождествляли, как мы теперь знаем, разумное общество и государство с буржуазным. Но это не помешало им проследить историю постепенного роста и развития под корой феодально-сословного общества зачатков буржуазных («разумных» в их представлении) идей и учреждений. Тем самым они подготовили почву для О. Тьерри и позднейших историков «третьего сословия» (которые, как показали Маркс и Энгельс, унаследовали от просветителей также и либерально-буржуазный взгляд на торжество «третьего сословия» как на венец общественно-исторического развития — взгляд, который на протяжении XIX в. постепенно становился все более ошибочным и реакционным).

«Исторические сочинения эпохи Просвещения, — верно замечает Г. Лукач, — были в своей главной линии исторической подготовкой революции 1789 года. Историческая концепция просветителей, во многих отношениях чрезвычайно глубокая и позволившая извлечь из забвения много новых фактов, в том числе и общественных отношений прошлого, служит... прежде всего для того, чтобы доказать „неразумность“ феодально-абсолютистского строя, необходимость его свержения и вывести из опыта предшествующей истории те принципы, с помощью которых можно создать новое „разумное“ общество и новое „разумное“ государство. Это объясняет, в частности, почему средоточием исторической теории и практики Просвещения (во Франции, — Г. Ф.) является античное общественное устройство: поиски причин, ко-

торые привели античное государство к величию и падению, были одним из важнейших теоретических подготовлений к грядущему преобразованию современного общества».⁵

Не только Вольтер, но и последующие умы XVIII в. исходили из того, что историю делают сами люди (а не божественный промысел). Отсюда важность, с их точки зрения, изучения разных стадий истории культуры, отличных друг от друга форм общественного и государственного устройства и соответствующих им учреждений, географической основы всемирной истории, исследования многообразия общественных нравов и человеческих страстей, изучения биографии, личных особенностей крупных исторических деятелей. Это направление просветительской мысли характеризует наряду с трудами Монтескье и Вольтера ряд исторических статей в «Энциклопедии». В Англии оно представлено «Историей гражданского общества» А. Фергюсона, историческими трудами Юма, Робертсона и т. д.

Несмотря на переоценку роли разума, историки-просветители были внимательны к роли труда для развития ремесел, промышленности, цивилизации вообще. Они широко обосновали мысль о плодотворности союза человеческого ума и рук, теоретического знания и практической деятельности. Этот круг вопросов вслед за Вольтером был в XVIII в. широко освещен другими энциклопедистами, а в более общей, теоретической форме — экономистами-физиократами и А. Смитом.

Существенной заслугой просветителей была широкая разработка ими вопроса о политическом и общественном гнете как причине падения цивилизации. Уже Монтескье в своем известном сочинении на эту тему (1734) показал, что падение древнего Рима было следствием роста политического, а вместе с тем и социального угнетения. Ту же тему Гиббон разработал применительно к судьбам Западной Римской империи. А Винкельман в своей «Истории искусства древности» (1763) показал, что не только государства, но и искусство классической древности имело свой период совершенствования, расцвета и упадка, причем возможности и направление развития искусства в каждую из этих эпох были тесно связаны теми возможностями, которые государство и общество в этот период открывали для свободного физического и духовного развития личности.

Хотя просветители, придавая решающее значение прогрессу «разума», скептически относились зачастую к перспективам открытой, прямой политической борьбы, они, как уже отмечалось выше, много сделали для пропаганды идеи исторического действия. В дальнейшем своем развитии это должно было закономерно вести и действительно привело в эпоху Великой французской революции к обоснованию идеи глубокой закономерности социальной и политической борьбы в истории человечества во-

⁵ Лукач Г. Исторический роман. — Литературный критик, 1937, № 7, с. 48.

обще, утверждению ее значения в современную эпоху, в частности. Точно так же, несмотря на веру их в неизменность человеческой природы и преимущественное внимание к вопросам политического (а не социального) устройства, в сочинениях философов, экономистов, историков XVIII в. содержится немало зачатков учения о классах и классовой борьбе.

Исследование вопроса о причинах расцвета и падения как древних цивилизаций, так и общественно-государственных организмов нового времени привело ряд передовых умов XVIII в. к сомнению в идее прямолинейного, равномерного исторического прогресса, характерного для основной линии в развитии просветительского историзма. Отсюда острый и едкий, исполненный полемической горечи исторический скептицизм Вольтера. На следующем этапе развития — у Дидро и Руссо — то же сомнение рождает зачатки исторической диалектики. Уже в первом своем сочинении — о науках и искусствах (1750) — Руссо стремится опровергнуть представление о том, что науки и искусства совершенствовались вместе с каждым шагом победоносного развития цивилизации. Он утверждает, что развитие цивилизации имело всегда, начиная с истории Древнего мира, свою теневую, обратную сторону. В трактате «О происхождении неравенства среди людей» (1755) Руссо доказывает, что рождение собственности, социального и политического неравенства было не только шагом вперед в истории человечества, но одновременно и шагом назад, если судить о его последствиях с точки зрения не одних лишь непосредственных, но и более широких и общих, прежде всего нравственных, результатов. Дидро в «Опровержении книги Гельвеция „Человек“» (1773—1774) выдвигает в качестве идеала развития и общества, и отдельного человека утонченное «среднее состояние», одинаково удаленное как от грубой первоначальной дикости, так и от всякой чрезмерности, болезненной утонченности и перзрелости.

«Если бы Руссо вместо проповедей о возвращении в леса занялся составлением плана общества полудивилизованного и полудикого, то, я думаю, было бы гораздо труднее возражать ему... Гельвеций находит счастье общественного человека в среднем состоянии. Я думаю аналогичным образом, что существует какая-то ступень цивилизации, более соответствующая счастью человека вообще и не настолько далекая от дикого состояния, как это обыкновенно воображают; но как вернуться к ней, когда удалились от нее, а когда находишься на ней, то как остаться там? Я этого не знаю... Древние законодатели знали только дикое состояние. Современный законодатель, более просвещенный, чем они, основывая колонию где-либо в неизвестном уголке земли, может быть, нашел бы какой-нибудь промежуточный между диким состоянием и нашей современной цивилизацией строй, который задержал бы быстрый прогресс потомка Прометея, защитил бы его от коршуна и дал бы цивилизован-

ному человеку место между детством дикаря и нашим старческим увяданием». ⁶

Идею исторической неравномерности развития культуры Дидро стремился развить применительно к истории поэзии: «Когда неистовства гражданской войны или фанатизма вооружают людей кинжалами и кровь широкими волнами льется по земле, лавр Аполлона трепещет и зеленеет. Он хочет, чтобы кровь оросила его. Он увядает во времена покоя и бездействия. Золотой век создал, быть может, песню или элегию. Эпическая и драматическая поэзия требуют других нравов. . . . Гений живет во все времена; но люди, которые являются его носителями, немые, пока необычайные события не воспламят массы и не призовут их. Тогда чувства теснятся в груди, волнуют ее. И те, у кого есть голос, поднимают его в стремлении высказаться и облегчить себя». ⁷ «. . . чем народ культурнее, вежливее, тем менее поэтичны его нравы; смягчаясь, все слабеет. . . . Поэзия требует чего-то огромного, варварского, дикого. . . .» «Что нужно поэту? Грубая природа или возделанная, спокойная или бурная? . . . Предпочтет ли он зрелище тихого моря зрелищу бушующих волн? Немой и холодный облик дворца прогулке среди развалин? Здание и сад, засаженный рукой человека, — чаща древнего леса и неведомой расселине в пустынной скале? Водную гладь, бассейны, каскады — мощному водопаду, который разлетается, разбиваясь о скалы, чей шум пугает пастуха, пасущего в дальних горах свое стадо. . . .»

Особую линию в развитии исторической мысли XVIII в. составляет философия истории Д. Вико. В отличие от историков-просветителей Вико считает главной своей задачей не раскрытие возможных путей переустройства мира, но «вечных» и «неизменных», в его понимании, путей исторического развития, раз навсегда данных и не подлежащих изменению. Разделяя допросветительское, теологическое представление о том, что судьбы мира управляются промыслом и не зависят от человеческой воли, Вико, однако, в противоположность Боссюэ не стремится дать доказательство отвлеченной извечной «разумности» исторического хода вещей. Его цель — исследовать объективные законы сложного, спиралевидного исторического движения, совершающегося зигзагообразно и не зависящего от знания и воли человека. Попытка решения этой задачи приводит Вико вплотную к глубокому пониманию реальной живой противоречивости каждого шага исторического развития культуры, где осязаемая телесная образность и абстрактный, отвлеченный рассудок, политическая устойчивость и анархия, рост свободы и усиление государственности, деспотизм «одного» и «многих» постоянно боролись между собой и нередко сменяли друг друга. Но трагическое неумение

⁶ Дидро Д. Собр. соч. М.; Л., 1935, т. II, с. 305—306.

⁷ Дидро Д. Избр. произв. М.; Л., 1951, с. 216, 217.

найти общее решение обнаруженных им исторических загадок, сочетать сложное ощущение диалектики исторического процесса с идеей прогресса приводит Вико к отрицанию общего поступательного хода исторического движения и к утверждению идеи постоянных «возвращений» и «круговоротов» как конечного, определяющего принципа движения истории.⁸

Основная идея Вико (которую он последовательно проводит также и в своем анализе явлений духовной культуры) — что ни одна «вещь», относящаяся к сфере исторической жизни, не может рассматриваться как «готовая», раз навсегда данная от века; все формы общественной жизни и все явления культуры исторически возникли и несут на себе неизгладимый отпечаток породившей их стадии всеобщей, «идеальной» истории наций, законы которой имеют объективный характер, то есть не зависят от воли людей.

Порядок вещей был таков, пишет Вико, излагая в характерной для него образной форме свое понимание основных стадий истории и культуры, «сначала были леса, потом хижины, затем деревни, после города, наконец академии». Прежде чем возникли начатки цивилизации, люди жили в лесах, и лишь много позднее они научились строить хижины и возделывать поля, что сделало возможным все дальнейшие успехи общества и культуры. Соответственно этому в латинском и других древних языках «вся масса слов имеет лесное или деревенское происхождение». Ибо и в искусстве и в языке «порядок идей» должен следовать и действительно следует «за порядком вещей».⁹

«Природа вещей, — пишет Вико, формулируя ту же мысль в форме общесторического закона, — не что иное, как их возникновение в определенные времена и при определенных условиях; всегда, когда последние таковы, именно таковыми, а не другими возникают вещи.

Свойства, неотделимые от предметов, должны быть продуктом модификаций или условий, при которых возникли вещи; поэтому такие свойства могут нам удостоверить, что именно таковую, а не иную была природа, т. е. возникновение данных вещей».¹⁰

В соответствии с этим язык и поэзию Вико также рассматривает как явления, не данные раз навсегда в неподвижном, застывшем виде, но изменчивые, исторически возникшие, а затем проходящие в ходе общего процесса развития «наций», их социальной жизни и культуры через несколько качественно различных, несходных стадий.

Изучение «Новой науки» Вико свидетельствует о том, что ни у одного из великих умов XVIII в. идеи исторической необхо-

⁸ См. блестящий анализ философско-исторических идей Вико в статье: *Лифшиц М. А.* Джамбаттиста Вико. — В кн.: *Вико Д.* Основания новой науки об общей природе наций. Л., 1940. с. III—XXVI.

⁹ *Вико Д.* Основания новой науки, с. 91.

¹⁰ Там же, с. 77.

димости и закономерности, как и мысль об обусловленности развития литературы и искусства исторически сложившимся складом общественных отношений, не были проведены так последовательно и не приобретали столь конкретного выражения, как у Вико. В этом отношении рядом с Вико может быть поставлен лишь один из его младших современников в Германии XVIII в. — Гердер.

Гердер не был первым немецким мыслителем, обратившимся к проблеме «искусство и общество» и высказавшим догадки об обусловленности структуры искусства определенного народа и эпохи свойственным ей складом общественно-политических отношений и уровнем культуры. Мысль о том, что различие между искусством древнегреческого и восточного типа и между лежащими в их основе эстетическими концепциями и идеалами связано с различным историческим характером древнегреческого и восточного общества — одно из исходных положений «Истории искусства древности» и других сочинений Винкельмана. Опираясь на идеи Монтескье о влиянии географической среды («климата») и политического строя на нравы, Винкельман провел разграничительную линию между искусством древнегреческих демократических городов-государств и искусством азиатских деспотий, широко обосновав тезис, согласно которому гуманистический характер древнегреческого искусства в пору его расцвета, присущий ему в его лучших созданиях идеал «благородной красоты и спокойного величия» явились историческими плодами освобождения древнегреческих общественных организмов от стихийной власти природы, обретения ими политической независимости и развития в греческих городах свободной демократической публичной жизни. С другой стороны, не на основе анализа различных исторических типов и общих путей эволюции искусства в древности, а на основе анализа узловых вопросов борьбы в литературе и театре XVIII в. проблему «искусство и общество» в Германии одновременно с Гердером рассматривал другой его старший современник — Лессинг, обрисовавший и противопоставивший в своих сочинениях два различных типа художественной культуры, — искусство, складывающееся в условиях придворного общества и опутанное сетью различного рода зависимостей (примером такого искусства Лессинг считал литературу и театр классицизма), и искусство свободное, верное идеалу художественной правды и ориентированное на потребности широкого демократического зрителя (образцом его Лессинг считал, как известно, в равной мере античный театр и драматургию Шекспира).

Однако и Винкельман, и Лессинг, подобно большинству других просветителей XVIII в., во-первых, фактически сводили проблему «искусство и общество» к разграничению двух типов общественного развития и художественной культуры — свободного и несвободного (что соответствовало основному общему пафосу просветительской мысли XVIII в. — борьбе с феодализмом и защите

демократических, буржуазных свобод), а во-вторых, не усматривали при анализе вопросов общества и государства сколько-нибудь отчетливого различия между политической и социальной структурой общества, полагая, что склад социальной жизни общества определяется, в конечном счете (через посредство «нравов»), его политической организацией. Взгляды Гердера, как и воззрения Вико, явились в этом отношении значительным отклонением от основной линии тогдашней просветительной мысли, вследствие чего постановка им проблемы «литература и общество» приобрела значительно более масштабный и универсальный характер.

В течение почти двухсот лет немецкая буржуазная историография интерпретировала эстетические и историко-философские работы Гердера, как правило, крайне односторонне, сводя их пафос либо только к обоснованию и защите национального своеобразия развития культуры и литературы, либо к пропаганде отвлеченного гуманизма, основанного на вере в общечеловеческий прогресс как основное содержание истории мировой культуры. Между тем, как справедливо показали в последнее время ученые ГДР, а в СССР В. М. Жирмунский, Гердер был не только одним из величайших в XVIII в. поборников идей национальной самобытности (в их передовом понимании) и закономерного развития человеческой культуры, но и одним из наиболее чутких к социальным вопросам писателей и мыслителей своей эпохи.

Одна из основных, любимых идей Гердера, развитая им впервые еще на заре его деятельности, — идея исторических *возрастов* человечества, которую он противопоставил в равной мере как сторонникам учения о простом, прямолинейном прогрессе человечества по одной восходящей линии, так и скептически настроенным умам от Монтеня до Руссо, склонным из-за верно сознававшейся ими противоречивости общественного развития вообще усомниться в движении человечества вперед.

В противоположность как сторонникам идеи безостановочного, равномерного прямолинейного прогресса, так и скептикам, готовым не видеть в истории человечества восходящего движения, молодой Гердер выдвинул представление, что в истории нельзя не видеть «явного *поступательного движения и развития*, но в более возвышенном смысле, чем это представляли себе до сих пор».¹¹ Ни одна сколько-нибудь важная ступень истории человечества не может рассматриваться как простое преходящее средство для достижения следующей. Каждый момент исторического движения не только *средство*, но и *цель*, имеет свое идеальное средоточие в самом себе и должен измеряться историком адекватной ему внутренней мерой. Ибо человечество, как и отдельный человек, должно пройти через «разные возрасты», каждый из которых имеет свои неповторимые черты, свою индивидуаль-

¹¹ Гердер И. Г. Избр. соч. М.; Л., 1959, с. 279.

ную, только ему присущую внутреннюю меру. Миновав его, человечество было бы беднее, ибо не достигло бы необходимой полноты своего развития.

Итак, человечество, как и отдельный человек, исторически закономерно переживает в ходе своего развития ряд последовательных состояний, каждое из которых качественно отлично от предыдущего. Каждое из таких состояний — особая ступень развития цивилизации, невозможная ни на более раннем, ни на более позднем этапе общественного и культурного развития, а потому ее нельзя ни искусственно создать, ни возродить после того, как исчезли ее предпосылки, на основе которых она только и могла исторически возникнуть.

«Пастух смотрит на природу иными глазами, чем рыболов или охотник, и в каждом поясе земли эти промыслы тоже различаются, как и национальные характеры».¹²

Рассматривая историю человечества как смену ряда качественно специфических его «возрастов», Гердер полагал, что каждый из таких возрастов — это определенная, не сходная с другими, неповторимая система социальных, политических и культурных отношений. Это накладывает свою печать на всю создаваемую в данный период систему духовных ценностей. Не только поэзия одной эпохи глубоко отлична от другой, а потому ее ценность нельзя измерять абстрактным, чуждым ей мерилом, — то же самое относится к общему, господствующему складу мышления и даже к языку каждой эпохи. Все они имеют свои «возрасты», проходят в своем развитии через ряд качественно отличных друг от друга конкретно-исторических стадий. Задача историка культуры — понять своеобразие каждой из таких стадий и, исходя из этого, оценить своеобразный стиль, достоинства и недостатки строя жизни, искусства и поэзии данной эпохи.

По характеру своего научно-философского мышления Гердер не был аналитиком. Размышляя над складом общественных отношений, характером языка, культуры, литературы и искусства различных эпох, он опирался скорее на мощную философскую и художественную интуицию, чем на сколько-нибудь разработанный и продуманный аппарат аналитического исследования. Тем не менее, как и в «Новой науке» Вико, нарисованные Гердером поэтические картины жизни и мировоззрения различных эпох и цивилизаций и сегодня часто поражают своей глубокой исторической конкретностью и богатством диалектических прозрений. С этой точки зрения ни один из позднейших представителей буржуазной историко-философской и социологической мысли XIX и XX вв. не может быть сопоставлен с Вико и Гердером. Лишь Гегель, а позднее Маркс, Энгельс и Ленин превзошли по глубине и богатству подхода к проблемам истории человеческого общества,

¹² Там же, с. 233.

как и проблемам истории культуры в частности, этих величайших представителей прогрессивной философско-социологической мысли XVIII в.¹³

Стихийный рост историзма в литературе XVIII в. получил свое выражение, как справедливо отметил Г. Лукач, во многих жанрах литературы эпохи Просвещения. Так, «уже английский общественный роман XVIII в. показывает, что внимание писателя направлено на конкретный (т. е. исторический) смысл места, времени, социальных условий и т. д., что вырабатываются литературные средства для реалистического изображения пространственно-временного (т. е. исторического) своеобразия людей и человеческих отношений».¹⁴ Правда, до поры до времени это происходит «в силу скорее „реалистического инстинкта“, чем сознательной творческой установки».¹⁵ Углубление историзма и исторического чувства в литературе XVIII в. получило выражение также в английском готическом романе, в пробуждении интереса к народной поэзии, в особенности в Германии, в «Натане Мудром» Лессинга, «Геце фон Берлихингене» Гете, как и в других позднейших произведениях Гете и Шиллера. Но это уже особый, специальный вопрос, подлежащий особому, углубленному исследованию и выходящий по содержанию за рамки настоящей статьи.

¹³ Историко-философской концепции Гердера в настоящей книге посвящена отдельная статья Н. А. Жирмунской.

¹⁴ Лукач Г. Исторический роман, с. 49.

¹⁵ Там же.

Ю. М. ЛОТМАН

ИДЕЯ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ КОНЦА XVIII—НАЧАЛА XIX СТОЛЕТИЯ

Интерес к истории не был специфической чертой какого-либо одного из направлений в русской культуре XVIII в. Значимым было другое — природа этого интереса, специфика самого содержания понятия «история». Здесь наблюдалось значительное разнообразие, и мы допускаем ошибку, полагая, что всякий раз, когда в том или ином тексте нам встречаются слова «история» или «исторический», речь идет об одном и том же объекте. Еще большую ошибку допускаем мы, когда считаем, что этот объект идентичен тому, который мы обозначаем этим же словом. Между тем каждый тип культуры не только отбирает те факты и тексты, которые он считает «историческими»,¹ но и вырабатывает свое понятие истории.

Понятие истории органически связано со всем комплексом основных структурных принципов той или иной культуры. Одним из наиболее существенных при этом будет концепция времени.

Историческое время XVIII в. линейно. Идея циклического времени Джамбаттиста Вико, хотя и оказала частичное воздействие — через Вольнея — на Карамзина и, видимо, через Гердера — на Радищева, все же заметной роли в историческом сознании русского XVIII в. не сыграла, и мы ее оставляем в стороне. Однако в пределах линейного времени следует различать две концепции развития человечества. Первая рассматривает идеальное состояние человечества как исходную точку развития,

¹ Так, например, историческая память неспециалиста связывает с восстанием 14 декабря 1825 г. пять жертв, казненных на рассвете 13 июля 1826 г. То, что на площади погибло 1271 человек (в том числе 262 солдата мятежных полков, 903 человека «черни» и 19 «малолетних»), как это следует из донесения С. Н. Корсакова, обычно не запоминается как факт «неисторический».

а всю дальнейшую историю — как рассказ об ошибках и заблуждениях. С этой точки зрения история рисовалась как цепь трагических происшествий, все более удаляющих людей от исходного совершенства. Будущее могло в этом случае рисоваться как конечная гибель или как *возвращение* к истокам. Путь человечества как бы распадался на две половины траектории: первая — ложная — уводила от основ природы Человека и Общества, вторая — возвращала к ним. Будущее и прошедшее в этом случае сливались, а линейная траектория времени замыкалась в круг и останапливалась.

Такая концепция с той или иной степенью последовательности разделялась большинством просветителей. Исходя в своих рассуждениях из представления о врожденно доброй (или ни доброй, ни злой, но готовой под влиянием общественного воспитания к тому и другому) природе человека, они заключали, что ответственность за зло несет общество. Спасение мыслилось как возвращение к обществу, построенному на основах Природы и Философии. Нельзя не отметить, что основная историсофическая схема в данном случае совпадала во многих чертах со средневеково-христианской концепцией. Там тоже предполагалось исходное прекрасное состояние человека, затмившееся в дальнейшем в результате первородного греха и повлекшее длинную цепь преступлений, именуемых историей. Искупление первородного греха открывало, с точки зрения ряда мистико-утопических учений средних веков (а в XVIII в. убеждений масонов), возможность не только индивидуального спасения, но и установления «царства божия на земле» — утопии повторения исходного блаженства в прекрасном конечном состоянии человечества, отменяющем и движение времени, и историю как таковую. Схема эта подвергалась последовательной секуляризации, благая творящая сила передавалась Природе, а момент падения связывался с цивилизацией, нарушением «общественного договора» или появлением собственности (Мабли, «О происхождении неравенства» Руссо). Соответственно вера заменялась разумом: именно слабость Разума, невежество и простодушие человека Природы привели его к грехопадению рабства. Спасение же должен был принести тот же Разум.

Очевидный «сюжетный» параллелизм не сближал, однако, а резко противопоставлял христианскую и просветительскую концепции истории, превращая их в сознательных антагонистов. Именно на этой основе строилась в XVIII в. попытка полностью «человечески» мотивированной концепции истории.

Просветительская концепция допускала два варианта: «порча» исходно справедливого общества могла мыслиться и как мгновенный и однократный акт, и как результат многократных ошибок, вызванных «невежеством», исцеление социального зла рисовалось одним в облике столь же мгновенного возрождения природных прав человека — революции, другим — как следствие по-

степенного прозрения человечества под влиянием Разума и просвещения.

Из сказанного вытекает, что просветительская концепция истории допускала и радикальное, и умеренное политические толкования. Это общеизвестно. Нескольким более неожиданно то, что в конце XVIII в. она оказалась — особенно в руссоистском варианте — совместимой с весьма правыми политическими идеями. В 1793 г. Карамзин в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении» вынужден был выступить против «невежд», которые «под эгиду славного Женевского Гражданина злословят просвещение».²

Идеи, которые Карамзин в 1793 г. имел в виду, в ту пору еще только складывались, оформление они получили в начале XIX столетия. На крайнем правом фланге общественной мысли сложилась концепция, согласно которой история России представлялась как последовательная смена исходного благополучия и последующей «порчи». Гибельная цивилизация при этом отождествлялась с западным влиянием, а момент «падения» — с петровской реформой. «Какое несчастье, что Петр Первый нас обрил, а Шувалов заставил говорить этим нечестивым французским языком», — писал Растопчин Цицианову.³

Однако Петр I находился вне критики как один из наиболее значительных государей царствовавшей династии. Поэтому «архаисты» конца XVIII—начала XIX в. в отличие от славянофилов предпочитали отсчитывать время «порчи» не от петровской реформы, а от момента «французской заразы» — с середины XVIII столетия — и осуждать не европеизацию политического строя, не Петербург и «немецкую бюрократию» (как это делали славянофилы), а моды, щеголей и «Кузнецкий мост». При этом перенесение акцента на моды, а не на бюрократию, приводило, в частности, к тому, что в центре обличения оказывалась Москва, а не Петербург.⁴

В очевидном соответствии с основной концепцией истории находились и языковые идеи Шишкова.⁵ Здесь также главенствует идея исходного совершенства (языкового), а затем

² Карамзин Н. М. Соч. СПб., 1848, т. III, с. 374.

³ Тихонравов Н. С. Гр. Ф. В. Растопчин и литература 1812 г. — В кн.: Тихонравов Н. С. Соч. М., 1898, т. III, ч. 1, с. 366.

⁴ Ср. в «Мыслях вслух на Красном крыльце» Растопчина одновременно отрицательный отзыв о московских щеголях («отечество их на Кузнецком мосту, а царство небесное Париж») и обращение к «дубине Петра Великого» для того, чтобы «выбить дурь из дураков и дур» (Растопчин Ф. В. Соч. СПб., 1853, с. 10—11).

⁵ См.: Лотман Ю., Успенский Б. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва). Статья, публикация и комментарий Ю. Лотмана и Б. Успенского. — Труды по русской и славянской филологии, XXIV. Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1975, вып. 358, с. 168—254.

«порчи» под влиянием искажающих воздействий извне.⁶ Параллелизм между леворадикальной руссоистской концепцией и сознательно антипросветительскими, «антифилософскими» идеями «архаистов» настолько очевиден, что возникает существенный вопрос: как могла просветительская концепция, отчетливо ориентированная на философские идеи XVIII в., совместиться с условно православным и ортодоксальным характером воззрений «архаистов» типа Шишкова? В рамках последних и «падение человека, и искупление его кровью Спасителя» имело вполне определенный и не поддающийся метафорическому истолкованию смысл. Как же он совмещался с изложенной выше культурологической концепцией?

Противоречие это было бы неразрешимо в пределах классических философских построений XVIII в., исходивших в своих рассуждениях из отдельной человеческой личности как рациональной модели человечества. Однако «архаисты» сделали значительный шаг вперед в сторону идей романтического века, положив в основу своих рассуждений народ, нацию как некоторую автономную и замкнутую в себе субстанцию, не разложимую механически на отдельных индивидов, а являющуюся как бы индивидом высшего порядка. Такое представление имело корни в идеях эпохи предромантизма. Истоки его можно усмотреть у Руссо в его учении об обществе (народе) как целостном Организме, составляющем единую Личность («Об общественном договоре») и в ряде высказываний Гердера, выдвинувшего понятие «национального склада каждого народа», которое он связал с традицией, «культурой» (обработкой земли) и просвещением и назвал «вторым рождением человека».⁷

Таким образом, согласно представлению «архаистов», начальным состоянием нации было могущество, блеск, опирающиеся на чистоту нравов и верность традициям, а затем наступило время «порчи», падения, связанное с искажением основ народного характера. Решающее значение здесь придавалось языку как воплощению национального начала (эта идея также имела предромантический характер). Порча языка непосредственно связывалась с утратой веры и разложением нравов. Характерна игра слов, с помощью которой Растопчин выразил представление о связи французского языка в русском быту с утратой веры и *возвратом к язычеству*. В автобиографии «Жизнь Растоп-

⁶ Влияние идей Руссо на развитие консервативных и реакционных доктрин в России не изучалось, однако оно представляет весьма интересную тему. Так, например, можно было бы показать связь между идеей военных поселений и «Проектом конституции для Корсики» Руссо, в котором утверждалось: «Настоящее воспитание солдата — обработка земли» (Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1960, с. 261). Нет сомнений в том, что Александр I в пору своих республиканских мечтаний внимательно читал этот трактат.

⁷ См.: Гердер И. Г. Избр. соч. М.; Л., 1959, с. 233, 244.

чина, описанная с натуры в десять минут» (характерен карамзинизм «натура»!) он писал: «Меня обучали всякой мудрости и всем возможным языкам. Я стал язычником».⁸ Показательно, что в основном тексте, писанном по-французски (Расстопчин всегда думал по-французски, что точно и зло подметил в «Воине и мире» Толстой, безошибочно уловивший в его сочинениях следы французских конструкций), последняя фраза отсутствует.

Особенно полно представления о языке как носителе национального начала были развиты Шишковым. Последнее определило в условиях резкого повышения внимания к этой проблеме, характерного для начала XIX столетия, сложность отношения современников к идеям Шишкова. Даже после того как лингвистическая несостоятельность их была доказана, они вызывали сочувствие не только у «архаистов» типа Грибоедова или Кюхельбекера, но и у Пестеля и Н. Тургенева,⁹ а такой убежденный карамзинист, как Батюшков, записал о Шишкове: «Он прав, он виноват».¹⁰

Третий тип исторической концепции, представленный в текстах конца XVIII—начала XIX в., отличался устремленностью в будущее: путь человечества представлялся как непрерывное восхождение от начального несовершенства к будущему благу.

В основе здесь лежала идея усовершенствования человека, также уходящая корнями в определенные философские течения XVIII в. Однако в данном случае речь шла о концепции, противоположной просветительской: говорилось об исконном несовершенстве (иногда даже эгоизме и порочности) природы человека и о последующем улучшении ее под влиянием различных культурно-этических или религиозных воздействий, а также дисциплинирующего влияния государства.

Представления эти характеризовали и картезианскую мораль, и этику Юма. Глубокое воздействие они оказали и на этику русских масонов. Хотя официальная масонская мифология (отчасти в целях самозащиты, отчасти добросовестно заблуждаясь) стремилась примирить свою концепцию с догмами православия, между ними имелись два существенных расхождения во взглядах на судьбы человечества. Во-первых, в воззрениях на природу человека масоны скорее были манихеями. «Ветхий Адам» олицетворял в их представлениях исконную порочность человеческой природы. Если для просветителя обращение человека к совершенству мыслится как возвращение к истоку, то для масона оно приобретает черты трудного и мучительного пути от истоков (метафоры «узкого пути», восхождения на высокую гору, прохождения сквозь врата, т. е. смерти в старом качестве и воз-

⁸ *Расстопчин Ф. В.* Соч., с. 305; французский вариант — с. 315.

⁹ Подробнее см.: *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке, с. 177, 246—247.

¹⁰ *Батюшков К. Н.* Соч. СПб., 1885, т. II, с. 338.

рождения в новом, распространенные в масонской среде, имели глубоко архаическую основу и повсеместно распространены в самых различных мифологических циклах). Для просветителя возрождение — момент освобождения от внешней коры социальных уродств, наслоившихся на благородную природу человека, для масона — процесс перерождения сущности человека под благотворным влиянием самовоспитания и под мудрым воздействием внешних руководителей, победа одной части души над другой.

Естественно, что просветительское преобразование человека мыслилось по преимуществу как мгновенное, поскольку оно было «естественным». Момент такого преобразования, в частности, запечатлел А. Иванов в картине «Явление Мессии». Он собрал на своем полотне рабов и богачей, апостолов и грешников, иудеев и эллинов в момент, когда им предстоит преобразиться в *людей как таковых*. Не случайно процесс работы художника был таков, что в облики каждого из изуродованных и обезображенных рабов он скрыл прообраз античного бога, а эскизы Христа делал с Аполлона Бельведерского.¹¹

Однако, как мы видели, и просветительская модель обновления человечества могла допускать постепенное освобождение плодотворного ядра от извращенной коры. Хотя масонская идея преобразования была ориентирована на длительный и трудный путь, в определенных разновидностях она допускала чудо мгновенного изменения порочной натуры человека. Однако это должно было быть именно чудо, поскольку оно совершалось *вопреки* натуре человека (Христос Иванова был глубоко рационалистичен, поскольку он лишь будил тот образ бога, который был скрыт художником в глубинах персонажей картины; в этом смысле он совершал не большее чудо, чем то, на которое, например, надеялся Сен-Симон, обращаясь к своим современникам с проповедью «нового христианства»). Подобно тому как чудом алхимии московские розенкрейцеры 1780-х гг. надеялись отменить гибельные законы экономики и уничтожить самое проблему бедности и богатства, с помощью тайнств гомункулуса они рассчитывали искусственно создать лучшую породу человечества, смыкаясь с широким кругом утопических идей XVIII—начала XIX в. Путь этот был в русском масонстве побочным, привлекающим лишь единицы. Основная же масса русских масонов работала на поприще постепенного просвещения и усовершенствования себя и рода человеческого.

¹¹ См.: Лотман Ю. М. Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов. — Труды по русской и славянской филологии. Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1962, вып. 119. Ср.: «В парном этюде работ Иванов пытается одеть в плоть живого человека эти античные головы; в одной из голов раба он даже сохраняет раздвоенный подбородок кентавра» (Алпатов М. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество. М., 1956, т. 1, с. 253).

Второе догматическое расхождение масонов с ортодоксальным православием, расхождение, тщательно ими скрываемое, состояло в том, что как мыслители-утописты они чаяли наступления грядущего совершенства в посюстороннем, земном мире. Именно это и было целью их «работы». Смыкаясь с учениями плебейских мистиков-утопистов XVII в. типа Якова Бёме или Ангела Силезского (весьма ими почитаемых), они жаждали царства божия на земле. Это и было для них и конечной целью, и моментом окончания истории.

Карамзин был многим обязан историософической концепции масонов. Именно в этой школе он усвоил веру в прогресс и представление о культуре как о средстве улучшения людей. Однако к тому моменту, когда Карамзин осознал себя профессиональным историком, в его мыслях идея усовершенствования пережила значительную трансформацию. Он, как и Шишков, заменил «философскую» идею XVIII в., согласно которой народ — сумма отдельных людей, количественно умножающая свойства отдельного человека, представлением о народе как «национальной личности», не расторгимой на единицы. Это повлекло за собой мысль о том, что история — длительный путь восхождения народа по пути нравственного усовершенствования и «медленного одухотворения» (пользуясь более поздним выражением И. С. Тургенева). Утопические настроения раннего Карамзина к этому времени уже перегорели в огне скептицизма. Свирепые рыцарские утопии Павла I и философские утопии якобинцев (Карамзин сближал реакционный и революционный утопизм: «Что сделали якобинцы в отношении к республике, то Павел сделал в отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оногo»; в выражении о Павле I: «Он начал господствовать всеобщим ужасом» слово «ужас», как и в карамзинских описаниях парижских событий, калька французского «террор») ¹² заставили Карамзина навсегда усомниться в блистательных картинах конца исторического движения. История рисуется ему бесконечным процессом, таинственные цели которого скрыты от человека. Совсем в духе Л. Толстого периода «Войны и мира» Карамзин записал однажды: «Мы все как муха на возу: важничаем и в своей невинности считаем себя виновниками великих происшествий! — Велик тот, кто чувствует свое ничтожество — перед Богом!» ¹³ Таким образом, история предстала перед Карамзиным как открытый и, с точки зрения отдельной личности, иррациональный процесс. Отдельная личность переставала быть мерилom истории — им становился народ.

Выделив человека как решающую единицу социо-исторических построений, XVIII век обратил закономерное внимание к во-

¹² Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914, с. 42.

¹³ Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862, ч. 1, с. 197.

просу психологического механизма этой личности — родилось учение о страстях, столь занимавшее публицистов «философского столетия». Обращение к народу как единице истории столь же неизбежно поставило вопрос о принципах национальной психологии. В этом случае «страсти» были заменены той «тёмой» «обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу», которые, по словам Пушкина, дают ему «особенную физиономию». ¹⁴ Обычаи, которые в XVIII в. бывали относимы к порождениям невежества, исчезающим при свете Разума, сделались предметом сочувственного внимания. С позиции «архаистов» вопрос этот решался просто: обычаи, противостоя гибельной «философии», являются носителями национальной традиции. С этим был связан призыв: от *моды к обычаю!*

Более сложным было положение Карамзина, убежденного в неотвратимости постоянного поступательного движения во всех сферах жизни: в быту и языке, культуре и нравственности (прошлое для него — все же «история веков варварства», как он писал Каподистрия). ¹⁵ В 1818 г., выступая с торжественной речью в цитадели шишковизма — Российской Академии, Карамзин всю ее посвятил идее непрерывности поступательного движения истории. В сфере языка он отметил закономерность «перемен, необходимых по естественному, беспрестанному движению живого слова к дальнейшему совершенству, движению, которое пресекается только в языке мертвом», в обществе — непрерывность изменений лица культуры («вкус изменяется в людях и в народах»), сведя все к процессу нравственного усовершенствования людей и народов: «И жизнь наша, и жизнь империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой: здесь все для души, все для ума и чувства». ¹⁶

Сочетание идеи прогресса с представлением о ценности традиции и обычая составляло трудность, окончательного решения которой Карамзин так и не нашел. Одной из попыток было противопоставление в человеке личного (человек как целое) национальному (человек как часть). В первом отношении — к этой сфере Карамзин относил область сознательного и рационального — человек более свободен от влияния «обычаев, поверий, привычек», власть которых над ним проявляется бессознательно и независимо от его индивидуальности (мысль, также близкая к толстовской!). «Сходствуя с другими европейскими народами, мы развествуем с ними в некоторых способностях, обычаях, навыках, так, что хотя и не можно иногда отличить россиянина от британца, но всегда отличим россиянина от британцев: во *множестве* открывается *народное*», — говорил он в том же 1818 г. ¹⁷

¹⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., 1949, т. XI, с. 40.

¹⁵ Карамзин Н. М. Незданные сочинения и переписка, с. 134.

¹⁶ Карамзин Н. М. Соч., т. III, с. 644, 646, 654.

¹⁷ Там же, с. 650. Курсив Карамзина.

Интересной в этом отношении была попытка перенести обычаи из сферы прошлого и неподвижного в область постоянно меняющегося и будущего. Утверждая в обращении к Александру I, что не конституция, а уклад жизни гарантирует народам свободу, он призывал к утверждению правды в повседневном строе жизни: «Тогда рождаются обычаи спасительные; правила, мысли народные, которые лучше всех бранных форм удержат будущих государей в пределах законной власти».¹⁸ Соединение понятия «обычай» с представлением о чем-то, чему еще предстоит родиться, показалось бы абсурдным не только Шишкову.

Вопросы о соотношении личного и надличностного в историческом движении, о силах, которые стоят за кулисами исторического процесса, и многие другие не обсуждались в эту пору с такой полнотой и страстностью, как в уже приближавшуюся эпоху романтизма. Однако, упрощая наши представления о решении вопросов исторического развития в сознании людей конца XVIII—начала XIX в., мы невольно обедняем и самое понятие историзма.

¹⁸ Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России, с. 48.

Н. А. ЖИРМУНСКАЯ

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ И. Г. ГЕРДЕРА И ИСТОРИЗМ ПРОСВЕЩЕНИЯ

В развитии исторического мышления XVIII в. Гердеру принадлежит особое место. Не порывая окончательно с пониманием истории, выработанным философской мыслью Просвещения, в первую очередь французского и английского, Гердер строит свою собственную концепцию, во многом критическую по отношению к своим предшественникам и во всяком случае качественно новую.

Эта принципиальная качественная новизна исторических взглядов Гердера, которая заставляет считать его бесспорным предшественником великих мыслителей следующего поколения — Гегеля и В. Гумбольдта, в свое время послужила основой для решительного противопоставления его позиций философии Просвещения. На протяжении многих десятилетий Гердера толковали именно в духе полного разрыва с этой философией, в частности и в понимании исторического процесса.

Действительно, в историческом мышлении Гердера со всей очевидностью выступает преодоление существенных сторон просветительской философии истории, преодоление ее ограниченности и механистичности, прежде всего прямолинейного истолкования идеи прогресса. Но при всем том Гердер сохраняет ряд важных моментов, характерных именно для просветительского подхода к истории. В новейшей литературе о Гердере подчеркивается эта связь его с Просвещением.¹

Как известно, эволюция взглядов Гердера вообще и исторических в частности отмечена следующими вехами: юношеский период исканий и фрагментарных набросков еще в бытность студентом Кенигсбергского университета и затем в Риге, который завершается «Дневником моего путешествия в 1769 г.» (*Journal*

¹ См.: *Жирмунский В. М.* Жизнь и творчество Гердера. — В кн.: *Гердер И. Г.* Избр. соч. М.; Л., 1959, с. VII.

meiner Reise im Jahr 1769). Затем ряд работ, задуманных во время короткого пребывания в Страсбурге и завершенных в Бюкебурге (1771—1774 гг.). Здесь наряду с известными статьями по литературе, фольклору и языку, в большой степени отражающих уже выработанное Гердером понимание исторического процесса, для нас особенно интересен первый набросок всемирной истории «Еще один опыт философии истории для воспитания человечества» (*Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit*, 1774), подытоживающий исторические взгляды Гердера периода «бури и натиска». И наконец, уже в Веймаре, в 80-е годы Гердер пишет «Идеи о философии истории человечества» (*Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*) — фундаментальный труд, во многом развивающий мысли бюкебургского сочинения, но уже пропикнутый ипой общей концепцией. В этом произведении позднего периода особенно ясно выступает органическая связь Гердера с идеями Просвещения, правда, углубленная и обогащенная новым пониманием истории, завоеванным в борениях и исканиях «бури и натиска». К этому труду и кругу идей примыкают написанные уже в 1790-х гг. «Письма для поощрения гуманности», не представляющие, однако, систематической исторической концепции или тем более исторического очерка. Связь Гердера с идеями Просвещения в этих работах проявляется прежде всего в идее гуманности, которую Гердер считает внутренним смыслом и целью исторического развития человечества.

Мы позволили себе вкратце напомнить эти общеизвестные вехи развития Гердера-историка, чтобы остановиться на моментах, которые роднят его взгляды с исторической концепцией Просвещения и, с другой стороны, представляют полемику с ней.

Уже в «Дневнике моего путешествия», содержание и стиль которого явно несут на себе печать того, что в скором времени получит название «бури и натиска», мы сталкиваемся с чисто просветительскими соображениями о цели и смысле изучения истории: оно необходимо для настоящего и будущего, для воспитания и просвещения рода человеческого, для поучения правителей и улучшения законодательства. Мечтая написать универсальную книгу для воспитания человека, Гердер основное место в ней уделяет философски осмысленному обзору всемирной истории. Гердер набрасывает на страницах «Дневника» план этой книги (быть может, первый замысел будущей бюкебургской работы, которая в свою очередь послужила конспективным и фрагментарным наброском к «Идеям о философии истории человечества»). Он намерен брать из теологии, истории, морали, религии лишь то, что непосредственно нужно для человечества, что помогает просветить и возвысить его, показать его в новом свете.² Как мы увидим ниже, сама мысль такого избирательного

² Herders Werke in fünf Bänden. Weimar, 1957, Bd 1, S. 131.

подхода к истории под углом зрения задач современности носит чисто просветительский характер. Но мы увидим также, как она трансформируется в сознании Гердера в контексте его выходящих в этот период взглядов на историю.

В «Дневнике» Гердер мечтает о плане реформ — широко задуманной государственной деятельности, полем приложения которой ему видится Россия. Это обращение к России не случайно. Оно подсказано прежде всего биографическими предпосылками. Оказавшись по окончании Кенигсбергского университета в Риге, Гердер попадает тем самым в орбиту Российской империи. Контраст между провинциальной замкнутостью немецкого мелкого державия и грандиозными масштабами России, освященными к тому же воспоминанием о Петровской эпохе, пробуждает в нем живой интерес к русской истории и современности. Россия представляется ему благодатной почвой для развития и воплощения его философских и педагогических идей.

Насколько пристально Гердер интересовался в эту пору Россией, ее прошлым и настоящим, явствует из списка книг, заказанных им в письме к рижскому другу Бегрову в ноябре 1769 г. во время его путешествия.³ Наряду с книгами Шлёцера, Миллера и других назван и немецкий перевод «Древней Российской истории» Ломоносова.

Особенно его привлекает фигура Петра. Восприятие личности и деятельности Петра у Гердера совпадает с общепросветительской традицией. Так же как и Вольтер, он видит в Петре идеал просвещенного монарха, противопоставляет царя-реформатора, строящего новое государство и приобщающего свой народ к культуре и просвещению, королю-завоевателю Карлу XII, исторически связанному с уходящей в прошлое эпохой. В целом это толкование Петра сохранится и в поздних работах Гердера. Однако принципиально новым по сравнению с вольтеровской интерпретацией является то, что Гердер связывает мирный созидательный характер деятельности Петра (который он подчеркивает в противовес Карлу XII) с национальным характером славянских народов. Эта тема будет впоследствии развернута в «Идеях о философии истории человечества». Таким образом, в «парадигматическую структуру» образа идеального просвещенного монарха включается столь важный для концепции Гердера момент индивидуального национального своеобразия народа.

В «Дневнике» Гердер развертывает широкую картину грядущего процветания и развития земель восточной Европы. Украина должна, по его мысли, стать новой Грецией, а Россия, Польша, Венгрия — носителями новой культуры, дуновение которой оживит одряхлевшую Европу.

³ См.: *Bittner K. Herders Geschichtsphilosophie und die Slawen. Reichenberg, 1929, S. 78.*

Мы видим, как руссоистская критика выродившейся современной цивилизации переосмыслиется и существенно дополняется здесь программой культурного обновления через посредство «молодых народов». При всем влиянии, которое Руссо оказал на мировоззрение молодого Гердера, отношение к нему и его идеям было у Гердера далеко не однозначным, в частности в вопросе философии истории. «Род человеческий, — пишет Гердер, — во все эпохи имел своим смыслом и содержанием счастье, но в каждую эпоху — на свой лад. И мы — в нашу эпоху — заблуждаемся, превознося вслед за Руссо времена, которых уже нет и никогда не было, создавая из них для вящего недовольства собою романические картины и отвергая самих себя».⁴

Как видно из этой цитаты, в полярном противопоставлении общепросветительской идеи оптимистически понимаемого прогресса и ее руссоистского отрицания Гердер занимает третью, совершенно особую позицию. Эта позиция будет полнее развернута им в последующих работах, но в виде фрагментарных набросков она присутствует уже в «Дневнике». Мысль о качественном своеобразии, неповторимости отдельных эпох и национальных культур в истории человечества заставляет его с надеждой взирать на те скрытые, еще не реализованные силы, которые дремлют в народах, пока не вовлеченных в основные линии развития мировой истории и цивилизации.

Принципиальная разница между Гердером и просветителями старшего поколения заключается прежде всего в том, что они толкуют исторический процесс в целом и идею прогресса в частности механистически, как прямолинейное восхождение от низших ступеней к высшим. Современность, превосходя более ранние ступени, тем самым отменяет их. Так во всяком случае ставится вопрос применительно к новому времени, т. е. к послепрогрессивному периоду истории. Впрочем, абсолютная значимость и античной культуры была поставлена под сомнение уже спором «древних» и «новых», стоящим в преддверии Просвещения.⁵

Насколько непримлемой для Гердера была такая позиция, явствует из следующего отрывка («Еще один опыт философии истории»): «Обычно философ именно тогда более всего животное, когда он вполне уверовал, что он — бог. То же самое происходит, когда он наивернейшим способом вычисляет, как усовершенствовать мир. Нужно только, чтобы все шло по ниточке и каждый следующий человек и каждое следующее поколение совершенствовались бы в соответствии с его идеалом, в наилучшей прогрессии, для которой он один установил бы показатели

⁴ Herders Werke..., Bd 1, S. 128.

⁵ См.: Сигал Н. А. Спор «древних» и «новых» (У истоков французского Просвещения). — В кн.: Романо-германская филология. Сборник статей в честь акад. В. Ф. Шишмарева. Л., 1957, с. 248—262.

счастья и добродетели! Тогда в конце ряда окажется он сам — последнее, высшее звено, на котором все кончается».⁶

В противовес этому механистическому пониманию прогресса Гердер выдвигает не ретроспективный идеал Руссо, а идею органического развития человеческого общества. «Романической», т. е. условной, идеализированной, схеме противопоставляется последовательно развернутый динамический ряд конкретных эпох (или «миров»⁷) человеческой истории, своеобразных и внутренне связанных, хотя не всегда эта зависимость выступает на поверхности и оказывается доступной для нашего восприятия и оценки.

Единство исторического процесса Гердер мыслит в формах, аналогичных процессам, протекающим в природе. Но это не формальная аналогия, а скорее наивно-каузальное осмысление двух взаимосвязанных сфер действительности. В «Дневнике» отчетливо видно, как живое наблюдение над незнакомым морским пейзажем, жизнью моря и его обитателей служит толчком для неожиданных и смелых гипотез о миграциях народов:

«Какой величественный вид открывается на человеческую природу, и обитателей морских глубин, и различные климаты, как он помогает уяснить себе одно из другого, раскрыть взаимосвязь событий мировой истории! Юг ли, Север ли, Восток или Запад были лоном человечества? Где зародился род людской с его изобретениями, искусствами, религиями? Действительно ли он устремился с Востока на Север и, укрывшись среди холодных скал, подобно морским чудовищам, живущим под льдами, стал с исполинской силой размножаться там, создал себе, в соответствии с климатом, жестокую и суровую религию и обрушился со своим мечом, своими законами и обычаями на Европу?»⁸

В последующих работах Гердера мы видим, как общепросветительская идея обусловленности национальной культуры, национального характера, государственного устройства и исторической судьбы климатом, географической средой трансформируется и приобретает диалектические черты. Идея единства процессов, протекающих в природе и в обществе, особенно последовательно будет развернута Гердером в «Идеях о философии истории человечества», однако мы находим ее как принцип, как угол зрения и в самых ранних его работах, где она нередко облекается в метафору «возраста», «цветения, созревания и увядания».

Уже в первой большой книге Гердера «Фрагменты о новейшей немецкой литературе» (1767) содержится «рапсодия» «О возрастах языка», соответствующих, по мысли автора, «возрастам» в развитии общества: младенчество на древнем (библейском) Востоке, юность — в древней Греции, зрелость — в древнем

⁶ Herders Werke... Bd 2, S. 351.

⁷ Гердер нередко употребляет эти два слова (Zeit, Welt) как синонимы.

⁸ Гердер И. Г. Избр. соч., с. 318.

Риме. В сочинении «Еще один опыт философии истории...», сравнивая древние скотоводческие народы Востока с земледельческими и с ремесленными (горожанами), Гердер подчеркивает их взаимное неприятие и вражду и приходит к выводу: «Это не что иное, как отвращение мальчика к младенцу в пеленках, ненависть юноши к карцеру школьника, но в целом все трое связаны друг с другом и следуют один за другим. Египтянин не стал бы египтянином, не пройди он детского обучения у древнего Востока, грек не стал бы греком без школьного усердия египтянина. Именно их взаимная неприязнь обнаруживает развитие, движение вперед, ступени лестницы!»⁹

Здесь делается явной новизна диалектического подхода Гердера к проблеме исторического развития и прогресса. Не прямолинейно поступательное движение, не механическое накопление знаний, навыков, культурных ценностей, а борьба противоречивых явлений и принципов, отталкивание от предшествующей ступени при одновременном ее интегрировании являются, по Гердеру, стимулом и движущей силой исторического прогресса.

Метафору возрастов Гердер распространяет в дальнейшем на все сферы жизни народа — на государственный строй, религию, искусство, язык и, конечно, на литературу. В пределах каждого «возраста» (то есть каждой исторической эпохи и цивилизации) прогрессивное развитие также не мыслится механически линейным и однонаправленным восхождением: наивысший подъем и расцвет данной цивилизации, неповторимые в их своеобразии, но неизбежно переходящие, обычно сменяются спадом. «Каждый народ, каждое искусство и каждая наука — и все вообще на свете — имеет свой период роста, расцвета и упадка, каждое из этих изменений длилось лишь тот минимум времени, который был отпущен ему колесом судьбы; наконец, на свете не бывает двух одинаковых мгновений, и следовательно, египтяне, римляне и греки не оставались одинаковыми во все времена — я содрогаюсь при мысли, какие мудрые возражения выскажут на это мудрые люди, в особенности знатоки истории!»¹⁰

Тем самым Гердер совершенно по-новому подходит к проблеме «вечных» культурных и эстетических ценностей и «образцов», представлявшей краеугольный камень классицистической эстетики. Вечное и непреходящее значение той или иной культурной эпохи (прежде всего, конечно, античности) определяется не ее универсальностью, а индивидуальным своеобразием, выросшим из неповторимых условий своего времени. Сохраняя ценность для последующих эпох, эта культура не может, однако, служить парадигмой, эталоном, образцом для подражания, ибо такое подражание неизбежно выльется в эпигонство. Проблема эпигонства, столь актуальная для развития немецкого национального куль-

⁹ Herders Werke... , Bd 2, S. 291.

¹⁰ Ibid., S. 304.

турного самосознания в XVIII в., теоретически осмысливается Гердером в связи с принципиально важным для него понятием «духа времени» (Zeitgeist).¹¹ «Дух времени», концентрирующий в себе все исторически неповторимое своеобразие данной эпохи, исключает всякое уподобление со стороны иной эпохи, иной культуры, превращает его в ученическое подражание. Но и внутри определенного культурно-исторического единства в силу его динамического развития возникает предпосылка эпигонства, когда в период неминуемого спада отживающая свой век культура силится воспроизвести классические образцы периода наивысшего расцвета.¹² Первый случай многократно иллюстрируется на примере европейского неоклассицизма (в особенности французского), второй — на примере эллинистической эпохи.

Отталкивание от схематического принципа в осмыслении истории заставляет Гердера применять его излюбленную метафору «возрастов» избирательно. Он отнюдь не настаивает на универсальности намеченных им последовательных стадий, ибо меньше всего ему присущ какой-либо методический схематизм. Аллегория возрастов как последовательно сменяющих друг друга мировых культур он ограничивает древним миром. Новое время знает свои закономерности в смене культур, и приурочение той или иной к соответствующей метафоре возраста становится эпизодическим и выборочным. Господствующая идея исторической концепции Гердера — идея индивидуальной специфики, неповторимого своеобразия каждого народа и его исторической судьбы, каждой эпохи в сложном взаимодействии различных определяющих ее факторов исключает моделирование их по определенному заданному образцу. «Мы объемлем следующие друг за другом народы и эпохи в их вечной смене, как волны моря, — кого мы нарисовали, кого настигло живописующее слово? И в конце концов мы объемлем их не чем иным, как общим словом, под которым каждый, быть может, понимает и чувствует, что ему угодно».¹³

Позднее, возвращаясь к метафоре возрастов в «Идеях о философии истории», Гердер скажет, что на земле существуют одновременно все возрасты человеческого общества. Народы «младенческие», втянутые в общий ход исторического развития, принесут новую цивилизацию, как это уже случилось однажды в эпоху крушения античного мира. В «Дневнике» 25-летний Гердер задает себе вопрос: «И кто знает, не появится ли третий поток из Америки, а под конец еще один от мыса Доброй Надежды и из стран, расположенных за ним. Как величественна

¹¹ Слово создано Гердером, что зафиксировано немецкими словарями (Deutsches Wörterbuch von J. Grimm und W. Grimm). Подробнее об этом см.: Jöns D. W. Begriff und Problem der historischen Zeit bei J. G. Herder. Göteborg, 1956, S. 55.

¹² Herders Werke..., Bd 2, S. 71 f.

¹³ Ibid., S. 302.

эта история и как она необходима для изучения литературы в ее истоках, в ее развитии, в ее революциях вплоть до сегодняшнего дня!»¹⁴

Таким образом, историческая концепция Гердера в отличие от точки зрения его предшественников представляется нам не замкнутой, а открытой системой, повернутой в будущее, отнюдь не запрограммированное по модели идеализированного настоящего, как у просветителей, или идеализированного абстрактного прошлого, как у Руссо. Это будущее таит в себе бесконечные индивидуальные возможности качественно нового развития, точно так же, как каждая эпоха прошлого несла в себе неповторимо новые, своеобразные черты.

Тем самым мы подходим к существенному и принципиальному различию между философией истории Гердера и его старших современников в трактовке времени как исторической категории. У просветителей три основных эпохи мировой истории (нормативно понятая античность, превращенная в парадигму для всех времен и народов; отвергаемое, сбрасываемое со счета средневековье и, наконец, просвещенная современность) не создавали в совокупности движения времени, системы времен, это были рядоположные, статичные, замкнутые в себе исторические картины (или «миры»), а однозначно оценочный подход, положительный или отрицательный, снимал и перечеркивал здесь живую динамику исторического процесса.

Впервые эта динамика появляется у Гердера, который делает попытку ее диалектического объяснения. Движение времени, по Гердеру, — это прежде всего качественное изменение. Настоящее не отменяет прошлого, а интегрирует какие-то существенные его стороны, вместе с тем неизбежно утрачивая другие. Так же соотносится с настоящим будущее. «Никто не пребывает только в своем времени, он строит на прошлом; оно становится основой будущего, не может быть ничем иным».¹⁵

Система времен образует в учении Гердера каузально связанную цепь, но причинно-следственные связи трактуются им не в духе элементарного детерминизма раннего Просвещения (от которого, впрочем, отказался уже Вольтер), а более сложно и уж во всяком случае не телеологически, как у Лейбница. Каждая эпоха образует особое качественно отличное единство, смена эпох образует поток времени (одна из любимых метафор Гердера), сцепление эпох означает принцип непрерывности исторического процесса, и катастрофы вроде крушения античного мира не создают цезуры, не означают разрыва или нарушения этого процесса. Примечательно, что в своих ранних выписках из Лейбница Гердер делает пометку: «Настоящее полно будущим и полно прошлым», тем самым существенно развивая и допол-

¹⁴ Ibid., Bd 1, S. 116.

¹⁵ Ibid., Bd 2, S. 311.

няя мысль Лейбница, высказанную в одном из его писем: «Настоящее всегда чреватое будущим».

Включенность человека во временной поток составляет его особенность как существа мыслящего и социального в отличие от животного, целиком прикрепленного своими чувственными инстинктами к настоящему. Эту мысль Гердер развивает в трактате «О происхождении языка» (*Vom Ursprung der Sprache*, 1772). В те же годы, в наброске к сочинению «Пластика» (оконч. редакция — 1778 г.), Гердер подчеркивает связь чувственного восприятия (осозания) с настоящим: «Мир осязающего — это только мир непосредственного настоящего». Таким образом, наряду с линейно обозначенной системой трех временных плоскостей — прошедшего, настоящего, будущего, скрепленных каузальной связью, вырисовывается и противоположение — настоящее и не-настоящее (то есть прошедшее и будущее) как отражение двойственной природы человека — чувственной и рефлектирующей. Восприятие настоящего, ограниченное непосредственным наблюдением («чувственным» в широком смысле слова, т. е. эмпирическим), если оно не опирается на осознание прошлого и предвидение будущего, неизбежно остается обедненным и прагматичным. Восприятие прошлого по модели настоящего, иными словами, модернизация истории, по мысли Гердера, один из главных пороков современной исторической науки.

Свою собственную эпоху Гердер считает итогом (*Werk*) шести тысячелетий, но отнюдь не усовершенствованием (*Vervollkommnung*) в «ограниченном, школьном смысле слова». Поэтому для него неприемлемы и те оценки и толкования, которые навязываются отдаленным эпохам с точки зрения современности. «В известном смысле всякое человеческое совершенство национально, обусловлено своей эпохой и, если присмотреться ближе, индивидуально... Нация может обладать, с одной стороны, самыми высокими добродетелями, а с другой — недостатками, допускать исключения, обнаруживать противоречия и неясности, которые способны привести в изумление — но лишь того, кто вынес идеальный силуэт добродетели из учебников своего века и достаточно понаторел в философии, чтобы стремиться найти вселенную на ничтожном клочке земли».¹⁶

Эта скептическая оценка нормативного подхода к истории характерного для просветительской концепции прогресса, касается, разумеется, и эстетической критики художественной культуры прошлого. «Лучший историк античного искусства Винкельман, — пишет Гердер, — явно судил о произведениях египетского искусства по греческой мерке и, следовательно, охарактеризовал их очень верно с отрицательной стороны, но так мало сумел показать их собственную природу и характер, что почти в каждом положении этой главы явственно выступает односто-

¹⁶ Ibid., S. 305—306.

роннее и неприязненное отношение к ним. И так же точно Уэбб, когда он противопоставляет их литературу греческой, так и многие другие, писавшие о египетских нравах и форме правления с европейской точки зрения».¹⁷

Останавливаясь на известном тезисе Монтескье о страхе как движущем принципе деспотии, Гердер возражает против универсального приложения этого тезиса к государствам и патриархальному жизненному укладу древнего Востока. То, что мы — просвещенные европейцы — считаем предрассудками, внушенными насильственно или путем обмана, на самом деле было, по мнению Гердера, спонтанно усвоено, с младенческой поры воспринято народом, находящимся в «младенческом возрасте», было его жизненными устоями и формами существования, выросшими из самой жизни. «Как нелепо клеймить наимрачнейшей чертовщиной нашего столетия это неведение и восторг, эту фантазию и благоговение, этот детский энтузиазм, называть их жульничеством и глупостью, суеверием и рабством!»¹⁸ Еще менее приложимы универсальные схемы, извлеченные из опыта прошлого, к настоящему, в особенности к народам, переживающим «младенческий» или «юношеский» возраст, которым хотя навязать формы жизни и государственности, не соответствующие их национальному характеру.

Еще ранее, в «Дневнике», Гердер критически отзываясь о политической триаде Монтескье: «Его основные положения справедливы, тонки, прекрасны, но неполны и подвержены бесчисленным комбинациям. Бывают демократические аристократии и, наоборот, аристократические монархии и монархические аристократии, да и те — в каком разнообразии! Монархический деспотизм (как во Франции при Людовике XIV) и деспотическая монархия (как в Пруссии), аристократический деспотизм (как в России), демократическо-аристократические монархии, как в Швеции, и монархически-аристократическая демократия, как в Англии, и т. д. . . Какое изящное произведение можно было бы написать, исходя из Монтескье («Дух Законов») по поводу Монтескье («Величие римлян»), которого не написал ни он, ни Мабли! Сколь необходимо его понять, расширить, заполнить и правильно применить. И как в особенности трудно последнее. Это видно на самом выдающемся примере, на примере русского законодательства».¹⁹ Как видно из этого рассуждения, Гердера не удовлетворяет абстрагированное обобщение Монтескье, которому он противопоставляет многообразие конкретных политических и государственных форм. В другом месте дневника он задает вопрос — появится ли для России второй Монтескье, втайне сам мечтая об этой роли. При этом Гердер настойчиво напоминает: нельзя брать в качестве образца Грецию и Рим. Рос-

¹⁷ Ibid., S. 293.

¹⁸ Ibid., S. 288.

¹⁹ Ibid., Bd 1, S. 152.

сия — многонациональное государство, и, составляя для нее уложение, следует учиться и у народов Востока. Эти отрывочные мысли, часто записанные в тезисной форме, Гердер заключает словами: «Все по методу Монтескье, но не по его системе».²⁰

Какие же выводы следуют из общей исторической концепции Гердера для литературы? Не будем касаться здесь общеизвестных и само собой разумеющихся вопросов о национальном и историческом своеобразии художественной культуры, о значении народного творчества, об оценке средневековой литературы и искусства. Остановимся на том значении, которое получает динамическое понимание истории и «системы времен» для наиболее связанного с категорией времени жанра — для драмы.

Если история в эстетической системе Просвещения использовалась как система моральных, общественных или философских идей (Лессинг прямо говорит об этом в «Гамбургской драматургии»), а Вольтер осуществляет это представление в своей драматургической практике — такими «парадигматическими» пьесами можно считать, например, «Магомета» Вольтера или его позднюю пьесу «Гебры»), то гердеровская концепция выдвигает причинно обусловленную связь исторических эпох и исторических проблем. Отсюда в трагедии просветительского классицизма принципиальная и обнаженная модернизация истории, приспособление исторического материала к задачам современности и отбор его по принципу аналогии, большей частью внешней. Сюда относятся и историко-культурные анахронизмы, и психологические, и, главное, переосмысление политической проблематики прошлого в духе злободневности.

Драматургия нового стиля, типологически ориентированная на Шекспира, по-иному решает отношение истории и современности, прошлого и настоящего. Из истории отбирается не похожее, а внутренне связанное с настоящим. Поэтому и совмещение разных временных планов — исторического прошлого и современной проблематики — носит совершенно иной структурный характер: это не соотношение оболочки и содержимого, а попытка совместить, синхронизировать исторически, качественно разные, но причинно связанные пласты истории, воплощенные в философской и общественной проблематике, в психологическом раскрытии характеров и в языке.

В трагедии просветительского классицизма условное прошлое — форма для конкретного настоящего. В шекспиризированной драме «буря и натиска» исторически конкретное прошлое, отобранное под углом зрения современности, это попытка понять настоящее в его причинной обусловленности именно этим, а не каким-либо другим прошлым.

Наиболее отчетливо эта тенденция проступает в исторической драме Гете «Гец фон Берлихинген», написанной под влиянием идей, почерпнутых в дружеском общении с Гердером.

²⁰ Ibid., S. 138.

Ю. М. ЛОТМАН

**ЧЕРТЫ РЕАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ПОЗИЦИИ КАРАМЗИНА
1790-х гг.**

(к генезису исторической концепции Карамзина)

Политическая позиция Карамзина 1790-х гг. изучена все еще недостаточно. В особенности это справедливо, когда речь идет не о воззрениях и симпатиях, нашедших свое отражение в тех или иных литературных произведениях, а об анализе реального места Карамзина в политической жизни России 1790-х гг. Основная причина этого — отсутствие документальных материалов, которые могли бы пролить свет на этот вопрос. От обширного, как можно полагать, документального фонда Карамзина тех лет дошли лишь случайные обломки: почти никаких следов личного архива (можно полагать, что существовали дневники, записные книжки, выписки из прочитанных книг и проч.), незначительная часть эпистолярного наследия. Естественно, что в этих условиях основным источником для суждений делаются печатные литературные произведения. Однако следует учитывать то, что в силу печатного характера этого источника в нем могло отразиться далеко не все, а в результате его литературной природы само отражение было не прямым и автоматическим, а художественно опосредованным. Пользоваться таким источником приходится с максимальной осторожностью, помня, что перед нами не сборники цитат, подготовленных автором для будущих исследователей, а органическое целое, построенное по своим внутренним законам. Поскольку по характеру поставленной нами задачи мы будем реконструировать на основании художественного текста некоторую затекстовую реальность, нам придется прибегать к методам дешифровки.

Всякое подлинно художественное произведение многопланово. С разными группами читателей оно говорит по-разному. Особенно это существенно для таких произведений, как «Письма русского путешественника». Для того, чтобы восстановить непонятное одним читателям и очень хорошо понятное другим, нам

придется прибегать к детальному комментированию отдельных текстов.

Отношение Карамзина к реальной расстановке общественных сил в России конца XVIII в. рисуется обычно в следующем виде: сближение с новиковским кружком в 1780-е гг., затем разрыв, после которого наступает изоляция. Если мы можем указать круг личных и, отчасти, литературных связей Карамзина после возвращения из-за границы, то место его среди политических лагерей России той эпохи представляется совершенно неясным. Карамзин 1790-х гг. — одинокий мечтатель и сентиментальный меланхолик, который вдруг каким-то непонятным скачком превращается в 1802 г. в издателя «Вестника Европы» — пытливого наблюдателя и умного знатока европейской политики. Столь же неожиданно превращается он в 1811 г. в автора «Записки о древней и новой России».

Однако имели ли место такие резкие переходы в самом деле? Не подменяем ли мы подлинную эволюцию Карамзина сменой его литературных поз, настойчиво преподносимых читателю? Конечно, каждая литературная поза содержит какую-то проекцию реальной личности автора. Однако проекция — не личность во всей ее полноте. Нас же сейчас будут интересовать те аспекты, которые оставались в тени.

«Письма русского путешественника» закрепили в сознании читателей образ Карамзина как «русского путешественника» — любознательного визитера, посетителя достопримечательных мест и исторических памятников, собеседника философов и писателей, неглубокого, чувствительного, то прикидывающегося «северным скифом», вторым Анахарсисом, то вдруг обнаруживающего почти энциклопедическую осведомленность в самых различных сторонах истории, общественной жизни и культуры европейских стран. Создание такой маски повествователя входило в литературный расчет Карамзина. Бесспорно, что образу этому он отдал определенную часть своей личности, реальных впечатлений и что такие эпизоды, как описание встречи с Кантом или беседы с Виландом, вполне могут занять место в биографии Карамзина, а не только в пересказе литературных странствий его героя. Однако в целом «Письма русского путешественника» в качестве биографического источника весьма ненадежны.

Кроме описания реальных событий, свидетелем которых Карамзин был в действительности, в «Письмах русского путешественника» встречаются и эпизоды, имеющие чисто литературное происхождение. Так, в одном из писем из Парижа (главка «Тюльери») Карамзин описывает праздник Ордена св. Духа, свидетелем которого он, по его словам, был. Эпизод этот вызывает сильные сомнения: во-первых, хотя Карамзин не указывает даты праздника, высчитать ее нетрудно: духов день — день, в который совершалось орденское торжество, в 1790 г. приходился на 25 мая. Поскольку 4 июня 1790 г. Карамзин написал

Дмитриеву письмо уже из Лондона,¹ то 25 мая он должен был быть в дороге. Самое же поразительное, что этот праздник, «очевидцем» которого был «русский путешественник», в 1790 г., как кажется, вообще не состоялся. Традиционно церемония совершалась в Версале, где ее и видели в последний перед революцией раз в 1789 г. Е. Ф. Комаровский и советник русского посольства Мошков.² Последний, безусловно, и рассказал о своих впечатлениях Карамзину, а Карамзин ввел в «Письма» как лично пережитый эпизод, перенеся действие в Париж, куда к этому времени вынуждена была переехать королевская семья.

Подобных эпизодов можно было бы привести целый ряд.³

Особенно ясно свобода, с которой Карамзин обращается с реальными обстоятельствами своего заграничного «вояжа», проявилась в датировках. Так, последнее письмо из Лондона помечено сентябрем 1790 г. Однако документально установлено, что Карамзин прибыл в Петербург из Кронштадта 15 июля 1790 г.⁴ В «Письмах русского путешественника» выезд из Женевы датирован точно: «Вот последняя строка из Женевы! — Марта 1».⁵ Однако письма Карамзина к Лафатеру документально подтверждают, что на самом деле он выехал из Женевы 14 марта 1790 г. Расхождение не может быть объяснено разницей в русском и европейском календарях: дав в Паланге двойную дату, Карамзин в дальнейших записях переходит на европейский календарь, которым, естественно, пользуется и помечая письма к Лафатеру (из Женевы в Цюрих).

Рассмотрение эпизодов «Писем русского путешественника» в их отношении к реальным событиям позволяет выделить четыре категории:

1. Эпизоды, в которых реальность отразилась без каких-либо существенных сдвигов.

2. Эпизоды, имеющие полностью книжное происхождение или целиком обязанные авторской фантазии, но описанные как якобы реально случившиеся.⁶

¹ См.: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 13—14.

² См.: *Комаровский Е. Ф.* Записки. СПб., 1914, с. 8.

³ Отсылаем читателя к комментариям в кн.: *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника (в печати).

⁴ См.: *Шторм Г. П.* Новое о Пушкине и Карамзине. — Известия АН СССР. Отд. литературы и языка, 1960, т. XIX, вып. 2, март—апрель, с. 150.

⁵ *Карамзин Н. М.* Избр. соч. в двух томах. М.; Л., 1964, т. 1, с. 330. В дальнейшем «Письма русского путешественника» цитируются по этому изданию, ссылки даются в тексте.

⁶ Так, эпизод со слугой-самоубийцей, якобы рассказанный путешественнику его слугой Бидером, другом покойного, на самом деле заимствован из парижских газет и произошел еще до приезда Карамзина в Париж. Рассказывая этот эпизод, Карамзин отнес его ко времени своего пребывания в столице Франции: «Однажды Бидер пришел ко мне весь в слезах и сказал, подавая лист газет: „Читайте!“ Я взял и прочитал следующее: „Сего мая 28 дня в 5 часов утра, в улице Сен-Мери застрелен слуга господина **“» (489). На самом деле французские газеты

3. Эпизоды, которые Карамзин хотел полностью скрыть от читателей и которые восстанавливаются лишь с помощью реконструкций.

4. Эпизоды, *частично* рассказанные Карамзиным и также нуждающиеся в реконструкции.

Мы полностью опускаем пункты «1» и «2», поскольку для нашей темы они имеют наименьшее значение. Центральными в пункте «3» будут масонские связи Карамзина за время его «вояжа». Вопрос этот в момент возвращения автора из-за границы сделался предметом интереса гонителей Новикова. Все связи этого рода сделались криминальными, и Карамзин вынужден был их тщательно маскировать. Основным здесь будет, конечно, отношение Карамзина в это время к А. М. Кутузову. Не менее существен для нашей темы пункт «4», который будет затрагивать широкий круг вопросов, связанных со многими зарубежными встречами Карамзина, о которых, как можно полагать, он рассказал далеко не все.

Если верить «Письмам русского путешественника», то Карамзин с Кутузовым во время своего заграничного путешествия не встречался. Он надеялся встретиться с ним в Берлине и, не застав его там, отправился в Саксонию. В Лейпциге он получил «вдруг два письма» от Кутузова, содержание которых, по его словам, было для него «очень неприятно» (168). «Он едет в Париж на несколько недель и хочет, чтобы я дожидался его или в Мангейме, или в Страсбурге; но мне никак нельзя исполнить его желания» (там же). В приведенном отрывке столько неясностей, что невольно возникает мысль о стремлении автора больше скрыть, чем рассказать. Во-первых, поездка из Берлина в Саксонию, видимо, была предусмотрена планом путешествия, обсужденным еще в Москве. Иначе непонятно, каким образом Кутузов, не встретившись с Карамзиным в Берлине, мог узнать, что писать ему следует в Лейпциг. Далее, то, что Карамзин из Берлина направился в Саксонию, как кажется, свидетельствует о желании в дальнейшем продолжить путь на Прагу и Вену с тем, чтобы потом, через Тироль, отправиться в Швейцарию. С этим согласуются слова о том, что путешественнику «никак нельзя» по просьбе Кутузова отправиться в Мангейм, — это означало бы полную перемену плана поездки. Странным противоречием на этом фоне звучит фраза: «Я не найду его во Франкфурте», будто бы свидетельствующая, что Карамзин собирался с самого начала посетить Франкфурт-на-Майне.

сообщали: «30 марта на улице Сен-Мерри было совершено одно из обдуманных самоубийств, примеры которых мы находим только в Англии. Некто Вилетт, слуга, в возрасте 26-и лет, примерной честности, был человек прилежный в выполнении всех своих обязанностей» (Journal des Révolutions de l'Europe en 1789—1790, t. 8, A Neuwied sur le Rhin et à Strasburg, MDCCLXXX, p. 50—52). Далее идет пересказ событий, почти точно совпадающий с эпизодом, рассказанным Карамзиным.

Создается впечатление, что она вставлена сюда задним числом в попытке сгладить явные противоречия текста. Во-вторых, непонятно, почему Карамзин, заявив, что ему «никак нельзя» отправиться в Страсбург, тотчас же туда отправился. В-третьих, совершенно непонятно еще одно место в «Письмах»: посетив Мангейм, Карамзин замечает, что этот город показался ему особенно привлекательным. «Если бы я не торопился в Швейцарию, то остался бы здесь на несколько недель». Однако после этого заявления Карамзин совсем не едет в Швейцарию, в которую так «торопится», а отправляется во Францию, в Страсбург. В «Письмах» это странное противоречие никак не объясняется, но в автореферате, опубликованном в «Spectateur du Nord», Карамзин так объясняет свою поездку в Страсбург: во Франкфурте-на-Майне он узнал о революции в Париже и был ею «живо взволнован». После этих известий он отправился из Германии во Францию, но, столкнувшись в Эльзасе с грабежами, волнениями и слухами об убийствах, он якобы повернул, изменив первоначальное намерение, в Швейцарию. Следовательно, из Мангейма он «спешил» совсем не в Швейцарию, а во Францию. Достоин внимания и то, что по имеющимся в нашем распоряжении сведениям никаких особых волнений вокруг Страсбурга и в Эльзасе в ту пору не происходило. М. И. Невзоров и В. Я. Колокольников даже полтора года спустя, в ноябре 1790 г., когда события приняли более напряженный характер, писали из Страсбурга И. В. Лопухину: «Нам будет там в теперешних обстоятельствах Франции безопасно. Чужестранцы все, как в здешнем городе, так и во всей Франции, не только никакой, как сказывают, не имеют опасности, но еще особенно обезопасиваются».⁷ Это тем более примечательно, что через несколько месяцев Карамзин не побоялся поехать в действительно охваченный серьезными беспорядками Лион. Следует отметить, что именно со Страсбурга начинается расхождение на несколько недель между реальными датами и отмеченными в «Письмах». Наконец, самое существенное: судя по «Письмам», Карамзин не встречался с Кутузовым за границей. Между тем можно утверждать, что встреча эта имела место и, видимо, была не кратковременной. Известно, какой взрыв неприязни вызвало у масонов и особенно у Кутузова и Багрянского, т. е. у тех двух лиц, которые находились летом 1789 г. в Париже и якобы не встречались с Карамзиным, известие о том, что «Рамзей» собирается издавать свой «журнал» (т. е. дневник путешествия). В. В. Виноградов имел основания заключить: «Больше всего масоны боялись появления „Писем русского путешественника“, описания заграничной поездки Карамзина».⁸ Кутузов тревожно писал

⁷ См.: Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915, с. 37.

⁸ Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961, с. 255.

Карамзину: «Опасно связываться с вашею братнею, авторами, тотчас попадешь в лабет («в дураки» — карточный термин, означающий проигрыш, — Ю. Л.). Я и сам знаю многие мои пороки и недостатки; что ж будет, ежели они предложатся публике, изображенные искусною кистью?»⁹ Каким образом Карамзин мог в своем «путевом журнале» «искусною кистью» изображать недостатки Кутузова, если они не встречались за границей? Прямым следствием этих слов является вывод о том, что Карамзин и Кутузов встречались за границей, что Кутузов боялся нескромности своего друга и не хотел, чтобы их встречи были известны публике, и что Карамзин скрыл от читателя эту сторону своего реального путешествия.

Вывод о том, что «Письма русского путешественника» очень свободно отражают реальное путешествие Карамзина и являются литературным произведением, имитирующим документальность, а не подлинными документами, не представляет чего-либо новаторского. Гораздо существеннее ответить на вопрос: где и когда Карамзин мог встретиться с Кутузовым? Ответ может быть только один: летом 1789 г. в Париже. Если предположить, что сообщение о возвращении из Страсбурга в Швейцарию неточно, что на самом деле Кутузов звал Карамзина не в Страсбург, а в Париж (что гораздо естественнее), что Карамзин откликнулся на этот зов, прибыл в Париж, оттуда направился в Швейцарию и после путешествия по ней снова поехал в столицу Франции, уже через Лион, то все смысловые и хронологические неувязки сами собой устраняются. Но тогда возникает естественный вопрос: зачем Кутузов отправился в Париж и почему Карамзин тщательно скрывал эту поездку? Нам, в отдаленной исторической перспективе, естественно предполагать, что в начале лета 1789 г. в Париж мог привести, скорее всего, интерес к революционным событиям и что эти же события вызывали необходимость скрывать поездку. Такое предположение следует отбросить: с точки зрения правительства Екатерины II, поездка в Париж летом 1789 г. ничего криминального собой не представляла — в столице Франции было много русских, но это не беспокоило ни русского посла, ни петербургские власти, которые склонны были рассматривать в эти дни парижские события как чисто французское дело и даже испытывали по этому поводу известное злорадное удовлетворение. Людовик XVI был несимпатичен Екатерине II, а из смут во Франции Россия надеялась извлечь дипломатические выгоды.

Совершенно иначе глядели в Петербурге на зарубежные масонские связи: это представлялось крайне опасным. Особенно активизировались преследования масонов в момент возвращения Карамзина из-за границы и публикации им «Писем». Известно, что следствие по делу Новикова специально интересовалось ха-

⁹ Барсков Я. Л. Переписка..., с. 55.

рактором его «вояжа». Кутузов направлялся в Париж не для того, чтобы сделаться свидетелем взятия Бастилии, — совпадение этих событий, конечно, случайно. Но столь же несомненно, что его привлекали в столице Франции не возможности веселого времяпрепровождения. Друг Радищева и ближайший сотрудник Новикова, Кутузов находился за границей не для увеселительной прогулки — он был отправлен туда московскими масонами для поисков «тайн» и мистической мудрости. Миссия эта крайне его тяготила. В конечном счете он погиб, горько сознавая, что принесен московскими братьями в жертву, и вместе с тем не считая себя вправе даже в этом случае самовольно оставить свой пост. Что же могло заставить его совершить поездку в Париж?

На Вильгельмсбаденском конгрессе в 1782 г. Россия была признана VIII полностью автономной провинцией масонского мира. Получение полной независимости было большой победой новиковского кружка. Однако этот же акт закрепил связи московских «мартинистов» с берлинским масонским центром. Не случайно Кутузов, бывший как бы послом новиковского кружка при европейском масонском движении, был послан в Берлин. Но к 1789 г. односторонние связи с берлинским масонством начали тяготить москвичей. Дело заключалось не только в том, что официальное положение и правительственные связи Вёльнера и Бишоффсвердера привлекали пристальное внимание правительства Екатерины II, которое, с одной стороны, находилось в весьма сложных отношениях с Пруссией, а, с другой — крайне опасалось, что за московско-берлинскими масонскими связями скрываются тенденции сближения последнего Павла Петровича с Берлином, очень опасные в случае попыток дворцового переворота. Не менее важными были побуждения внутреннего порядка. В новиковском кружке нарастала оппозиция берлинскому направлению. Явно разочаровались в нем молодые братья Карамзин и Петров, захвачены теми же настроениями были и основные члены кружка. К ним, видимо, относился и Кутузов, во взглядах которого, насколько можно судить при крайней скудости фактических сведений, усиливались черты политического либерализма и социального утопизма. Рост этих настроений происходил на фоне острых дискуссий в Германии и Франции, резонанс которых вышел за пределы узких масонских кругов и захватил общество. Берлинский диктат вызвал в масонских кругах широкую оппозицию, связанную с настроением общественной активности, захватившим широкие круги мыслящей Европы в конце 1780-х гг. Баварские иллюминаты были разгромлены, но иезуиты напрасно торжествовали победу над просветителями: иллюминаты рассеялись по немецким городам (центрами их стали Регенсбург, Нюрнберг и Франкфурт-на-Майне) и продолжали борьбу за соединение масонской организационной структуры и просветительской идеологии. Но и внутри ортодоксаль-

ного масонства кипела борьба. Требования отказа от алхимии, демократизации орденской структуры, участия в общественной жизни выдвигались антиберлинским «Эклектическим союзом», возглавленным франкфуртской ложей «Единение». За пределами Германии царил такой же разброд: Франция составляла две масонские провинции; одна из них, имевшая центром Лион, поддерживала берлинское руководство, другая, со столицей в Париже, примкнула к его противникам. Парижские масонские круги были в наибольшей мере захвачены предреволюционными настроениями, которые выражались в стремлении к демократизации орденских целей и в конечном счете приводили к разрыву с масонством. Центром парижского масонства в 1789 г. была ложа «Соединенных друзей», втянутая в активную общественную жизнь. В недрах этой ложи созрел один из интереснейших социально-утопических союзов той эпохи — «Социальный кружок» Клода Фоме и Никола Боневия.¹⁰

Примечательную эволюцию проделал в эти годы один из столпов европейского масонства Луи-Клод Сен-Мартен. В 1780-х гг. он сошелся с главой лионской ложи Ж.-Б. Виллермозом, и ряд лет его жизни был связан с Лионом. В интересующее нас время Сен-Мартен порвал с масонством, разорвал связи с Виллермозом, покинул Лион и переселился сначала в Страсбург, а затем в Париж («Лион — мой ад. Париж — мое чистилище. Страсбург — мой рай», — говорил он). Сен-Мартен встретил революцию с недвусмысленным сочувствием, которое выразилось в его сочинении «Письма к другу».¹¹ Склоняясь к утопическим идеям всеобщего братства людей и духовного единения просвещенного человечества, Сен-Мартен видел в революции законное сопротивление народа тирании. Духовный прогресс — закон человечества и бога. В нормальных условиях он осуществляется мирно. Но тирания препятствует его реализации, и в этом случае он неизбежно и законно принимает насильственные формы. Соединение гуманизма, мистицизма, «боевого эволюционизма», доходящего до оправдания насильственных действий, очень типично для настроений широких кругов европейских деятелей культуры в 1790-х гг.

Характерной особенностью жизни позднего Сен-Мартена была его связь с русскими деятелями: Сен-Мартен был в эти годы увлечен русскими, и из их числа составилось его ближайшее

¹⁰ См.: *Алексеев-Попов В. С.* «Социальный кружок» и его политические и общественные требования. — В кн.: Из истории социально-политических идей. М., 1955, с. 297—339.

¹¹ Об идеях и деятельности Сен-Мартена в эти годы см.: *Secrecka M.* 1) *Louis-Claude de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu.* Wrocław, 1968; 2) *La nouvelle vision de la révolution dans l'oeuvre de Saint-Martin, le philosophe inconnu.* — *La littérature des Lumières en France et en Pologne.* Wrocław, 1976, p. 131—147; *Chaquin N.* *Le citoyen Louis-Claude de Saint-Martin, tésophte révolutionnaire.* — *Dix-huitième siècle*, N 6, 1975.

окружение.¹² В сочинении дневникового характера, изданном много лет спустя после его смерти, Сен-Мартен писал: «Кашелов, князь Репнин, Зиновьев, графиня Разумоский (так, — Ю. Л.), другая княгиня, о которой мне говорил Д. в одном из своих писем, двое Голицыных, господин Машков, господин Скавронский, посол в Неаполе, господин Воронцов, посол в Лондоне — таковы главные русские, которых я знал лично, исключая князя Репнина, с которым я был знаком лишь по переписке».¹³ Прокомментируем те из этих имен, которые нам понадобятся в дальнейшем. Прежде всего следует остановиться на Василии Николаевиче Зиновьеве (1754—1827). Однокашник Радищева и Кутузова по Лейпцигскому университету, он «по своему возрасту не принадлежал к основному кружку студентов»¹⁴ — в момент прибытия в Лейпциг ему исполнилось одиннадцать лет. Однако во время отъезда Радищева и Кутузова это был уже шестнадцатилетний юноша. Вероятно, и к нему относятся слова Радищева о студенческих связях лейпцигских лет: «Дружба в юном сердце есть, как и все оного чувствования, стремительна».¹⁵ Видимо, именно с ним связан эпизод сближения в 1768 г. лейпцигских студентов с проезжавшими через Саксонию братьями Орловыми: Зиновьев и Орловы были двоюродными братьями, отец Орловых, генерал-майор Адлер, был женат на сестре генерала Зиновьева. Оба генерала жили в тесной дружбе и сменяли друг друга на посту коменданта Петропавловской крепости в Петербурге. После смерти Адлера Зиновьев, ставший опекуном племянников, посоветовал им сменить фамилию на Орловых. Связи В. Н. Зиновьева с Орловыми и в дальнейшем оставались исключительно прочными: службу он проходил при Г. Г. Орлове, сначала в должности флигель-адъютанта, а с 1775 г. получил звание генерал-адъютанта, состоя в его же штабе. Сближение увенчалось браком Г. Орлова с сестрой Зиновьева Екатериной в 1781 г. О разразившемся в связи с этим скандале речь пойдет ниже.

Во вторую половину 1770-х—1780-е гг. Зиновьев почти непрерывно находился за границей, подолгу проживая в Англии. Здесь он сблизился с С. Р. Воронцовым, который в письме к брату А. Р. Воронцову выделил Зиновьева и Растопчина как наиболее близких к нему молодых людей. Возникшая между Зиновьевым и С. Р. Воронцовым тесная дружба была закреплена браком последнего с другой сестрой Зиновьева. Таким образом, Зиновьев был, с одной стороны, приятельски связан с кругом оппозиционных мыслителей типа Радищева или Кутузова, а с другой — с высокими вельможными кругами, которые в 1780-х гг.

¹² Русские связи Сен-Мартена совершенно не изучены.

¹³ Louis-Claude de Saint-Martin. *Mon portrait historique et philosophique* (1789—1803). Paris, 1961, p. 129.

¹⁴ Старцев А. Университетские годы Радищева. М., 1956, с. 23.

¹⁵ Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1938, т. I, с. 163.

заметно отчуждались от правительства Екатерины II (оттесненные Потемкиным Орловы также переходили в лагерь недовольных; в этом отношении сближение их с Воронцовым, в котором Зиновьев сыграл, видимо, решающую роль, крайне симптоматично).

Но Зиновьев был связан с еще одним родом общественных кругов: в 1784 г. он был принят в Берлине самим кронпринцем герцогом Брауншвейгским Фердинандом, Великим мастером Соединенных лож, в масоны. В дальнейшем он тесно сошелся с Сен-Мартеном и главой лионской ложи Виллермозом. С Сен-Мартеном он путешествовал по Италии и общался в конце 1780-х гг. в Париже и Лондоне. Видимо, именно он свел Сен-Мартена с С. Р. Воронцовым.

Кашелов — это, конечно, Р. А. Кошелев (1749—1827), русский вельможа, дом которого в Париже был сборным местом русских масонов за границей. Кошелев, его жена, Зиновьев и семья Голицыных упоминаются Е. Ф. Комаровским как центры «русского Парижа» перед революцией и в ее начале.¹⁶ Сен-Мартен и Виллермоз — близкие знакомцы Кошелева. Однако у него есть и иные связи: он входит в ближайшее окружение герцогини Вюртембергской, матери Марии Федоровны. В дальнейшем он личный, интимный друг имп. Александра I.¹⁷ О нем в 1822 г. сказал Лабзин: «У Кошелева тайные съезды. И князь Голицын туда ездит. Черт их знает, что они там делают».¹⁸ Связь кругов, о которых мы говорим, с монбельярским (вюртембергским) двором и молодым двором в Павловске достойна всяческого внимания. Следует подчеркнуть, что упомянутая Сен-Мартеном «другая княгиня» — это жена наследника русского престола Павла Петровича Мария Федоровна.

Машков — первый секретарь русского посольства в Париже, тоже масон.¹⁹ С ним в Париже встречался Карамзин.

Нити русских масонских связей за границей (в отличие от чисто берлинской ориентации московских розенкрейцеров) сходились в Париже. Кутузову было естественно при попытке вырваться из-под опеки Берлина направиться в Париж. Интересно отметить, что треугольник городов, который нам приходилось неоднократно упоминать выше — Лион—Страсбург—Париж, будет точно повторен в схеме путешествия Карамзина по Франции. О поездке его в Лондон будет сказано особо.

¹⁶ Комаровский Е. Ф. Записки, с. 10.

¹⁷ См.: Вел. кн. Николай Михайлович. Император Александр I. Пг., 1914, с. 449—460 и др. по именному списку.

¹⁸ Цит. по: Шильдер Н. К. Имп. Александр Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1898, т. IV, с. 267.

¹⁹ В списке, опубликованном Le Bihan, Alain, Franc-maçons parisiens, du Grand Orient de France (Fin du XVIII siècle), Paris, 1966, p. 344, он числится как «брат» в ряде лож. В 1788—1790 гг. он входил в ложу «Объединенных друзей».

Общей чертой в настроениях того мира, с контурами которого мы соприкоснулись выше, в годы начала революции было ослабление интереса к мистике, охлаждение к организационным формам масонства (хотя случаи окончательного разрыва с тем и другим оставались редкими) и увеличение интереса к политике, напряженное внимание к событиям, которые начали разворачиваться во Франции. Сказанное имеет прямое отношение к политической позиции Карамзина во время заграничного «воояжа». Разрыв Карамзина и Кутузова произошел во время этой поездки: в начале путешествия, как это следует и из текста «Писем русского путешественника», отношения их были самыми дружественными, в конце — открыто враждебными.

Имелись ли у Карамзина в этот кризисный момент определенные политические воззрения? Ответ на этот вопрос требует двух отдельных исследований: одно должно выяснить, какое впечатление произвели на Карамзина события во Франции и наблюдения над общественной жизнью в Швейцарии и Англии.²⁰ Согласно теме нашей статьи мы в данной работе полностью устраняемся от анализа этой стороны проблемы. Другое исследование касается того, имелись ли у Карамзина в эти месяцы какие-либо конкретные представления о политическом будущем России. Был ли Карамзин одиноким чувствительным путешественником, каким он нарисовал себя в «Письмах», или же в его воззрениях присутствовали черты политического реализма, столь свойственные ему в период работы над «Историей»? Были ли утопизм и реализм двумя этапами эволюции Карамзина, или это были две тенденции, два полюса, в той или иной мере всегда свойственные его позиции и составлявшие ее своеобразие? Вопрос о соотношении Карамзина с теми или иными реальными политическими тенденциями еще далек от окончательного разрешения. Цель настоящей работы — коснуться лишь одной его части.

Основным и по сути дела единственным источником для суждений о том, что делал Карамзин за границей, являются «Письма русского путешественника». Но мы уже говорили, сколь опасно видеть в «Письмах» описание реального путешествия их автора. Мы видели, что Карамзин скрыл свое свидание с Кутузовым в Париже и что из этого вытекает факт не одного, а двух посещений Парижа. В другой работе мы восстанавливаем круг французских впечатлений Карамзина, показывая, в каком

²⁰ Представление о том, что фактическая сторона проблемы «Карамзин и французская революция» исчерпывающе изучена (в последнее время такая мысль была в категорической форме высказана Е. Н. Купряевой), является иллюзорным: ни точные даты пребывания Карамзина в Париже, ни круг его знакомств, ни перечень событий, свидетелем которых он был, не исследованы. Без этого теоретические заключения о данной проблеме часто оказываются преждевременными.

условно-стилизованном виде они попали на страницы «Писем».²¹ И все же из текста «Писем» можно извлечь многое, если доверчивую цитацию, якобы рисующую Карамзина во время путешествия, заменить методом последовательной дешифровки намеков и тех следов, которые реальные впечатления автора не могли не оставить на страницах его произведения, даже при сознательной установке на сокрытие и стилизацию.

Присмотримся внимательно к кругу русских, с которыми Карамзин встречался за границей, и к тем иностранцам, которые были так или иначе включены в русскую жизнь.

О первой из этих встреч в «Письмах» рассказано следующее: «На одной станции за Дерптом надлежало мне ночевать: г. З., едущий из Италии, забрал всех лошадей. Я с полчаса говорил с ним и нашел в нем любезного человека. Он настраивал меня песчаными прусскими дорогами и советовал лучше ехать через Польшу и Вену» (85—86). Прямым выводом из этого отрывка является то, что встреча была случайной, произошла на почтовой станции, а разговор носил самый незначительный характер. Однако, если мы вспомним, что З. — это Зиновьев, который, бесспорно, имел сведения о Кутузове, а Карамзин ехал в Берлин, имея, как он сам признается, одной из целей повидать «сего любезного меланхолика», то мы вряд ли ошибемся, предположив, что разговор коснулся Кутузова и тех проблем, которые были связаны с его пребыванием за границей. Весьма большие сомнения вызывает случайный характер этой встречи. Зиновьев приехал в Петербург 8 сентября 1789 г. по ст. стилю.²² Из записок Зиновьева, копия с которых хранится в архиве «Русской старины» (РО ИРЛИ), видно, что по пути он из-за болезни Кошелевой остановился в Нарве недель на 5—6. Карамзин прибыл в Ригу 31 мая, следовательно, встретился с Зиновьевым до этой даты. Невозможно предположить, чтобы Зиновьев из Риги в Нарву ехал два с лишним месяца. Скорее всего он провел это время, поселившись с больной Кошелевой в одном из городов между Ригой и Нарвой (показательно, что Карамзин предпочел не называть точно места встречи). А если это было так, то почти наверняка Карамзин не случайно встретился с Зиновьевым, а специально к нему заехал. Сведения о месте пребывания Зиновьева в Петербурге наверняка знал А. Р. Воронцов. От него или из его окружения Карамзин мог получить эти данные.

²¹ Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры. — В кн.: *Карамзин Н. М. Письма русского путешественника* (в печати).

²² Он ехал до Риги в обществе Кошелева и его жены Варвары Ивановны. По пути последняя заболела. Кошелев уехал вперед, а Зиновьев задержался, сопровождая больную. В «Ведомостях» петербургского обер-полицмейстера Рыльева значится прибытие «сентября 8 1789 из Риги отставного гвардии ротмистра Кошелева жены Варвары Ивановны» (ЦГАДА, Госархив XVI, № 534 I-а, л. 102).

О чем же могли говорить Карамзин и Зиновьев во время их «случайной» встречи? В «Письмах» упомянуто путешествие по Италии. Надо знать, что его Зиновьев совершил не один, а в обществе Сен-Мартена, переживавшего ломку своих философско-религиозных воззрений. Зная, какой интерес проявляли московские масоны к творчеству «неизвестного философа», невозможно предположить, чтобы Карамзин не задавал вопросов на этот счет. Он ведь в первый раз видел человека, который лично знал и, более того, был близким другом того, по имени кого друзья Новикова получили опасную кличку «мартинистов».

Естественно предположить, что разговор перешел на Англию и С. Р. Воронцова. Ведь самые свежие впечатления от общения с Сен-Мартеном были у Зиновьева именно английские и связанные с домом Воронцова. В дневнике 11 января 1787 года Зиновьев записал: «Прибыл Сен-Мартен и остановился у г-на Тимана». И 12-го: «День моих именин; я его увидел (т. е. Сен-Мартена (прим., видимо, принадлежит редактору «Русской старины», — Ю. Л.) вечером, и это свидание доставило мне великую радость». Приезд Сен-Мартена, по мнению Зиновьева, «имел случай произвестъ бесконечное добро».²³ В свою очередь С. Р. Воронцов произвел на Сен-Мартена значительное впечатление. Французский теософ был склонен видеть в нем идеал духовного человека будущего.

Но Зиновьева и Воронцова мистические вопросы интересовали отнюдь не в первую очередь. Это видно из ряда мест в «Журнале путешествий», выпущенных при публикации в «Русской старине». Весь «Журнал» написан в форме предполагаемых писем к Семену Романовичу и затрагивает ряд существенных проблем: в центре внимания Зиновьева — положение промышленности в России, средства подъема сельского хозяйства (в центре оказывается вопрос ограничения власти помещиков) и сравнение русского и английского суда. Места эти из «Журнала» Зиновьева следует привести, поскольку в них отразились те европейские впечатления, которые с большой вероятностью могли сделаться более интересной темой разговора, чем «песчаные прусские дороги». «Гарнсет 16/27 июля 1786-го г.

Обещал тебе сказать о желании моем видеть мануфактуры в нашем отечестве и, несколько дней назад быв в Шеффилде, я очень сожалел, что туда наше железо привозят, оное там обрабатывают, обратно к нам привозят и с нас вдесятеро, а может и более за самое то же железо берут; но теперь я по некоторым

²³ Журнал путешествия Василия Николаевича Зиновьева по Германии, Италии, Франции и Англии, РО ИРЛИ, ф. 265, оп. 1, № 21, л. 131 об. и 134. Тиман — адъютант кн. Н. В. Репнина, знакомый по Москве Кутузову и Карамзину. Через него осуществлялась переписка Сен-Мартена и Репнина, до нас не дошедшая. Даты в дневнике Зиновьева даются по ст. стилю. Именины его — День Василия Великого — 1 января по н. ст.

рассуждениям, которые мне представились, совсем иного об оном мнения, а именно: что в нашем отечестве в его теперешнем положении совсем иной главный предмет быть должен, нежели мануфактуры или торговля. Забудем сие, и следуй, пожалуй, порядку моих мыслей. Итак, я скажу тебе, что бы ты со мной предпринял, что мы в колонию приехали на пустынный остров, я спрошу тебя: о чем будет состоять наше первое попечение на нашем пустом острове с нашею колониєю? Без всякого сомнения мы примем меры завести хлебопашество и будем стараться приискать лучшие средства для умножения оного. Вот, любезный мой, положение нашего отечества, и оно в рассуждении сего совершенно на предположенный мной остров походит». Из этого Зиновьев делает вывод: «Первый по сему предмет нашего правительства я поставляю, чтобы оно устремило всю свою власть поощрять и размножать хлебопашество». Для достижения этой цели Зиновьев намечает план реальных мероприятий по ограничению крепостного права, смягчению крепостнических порядков в армии и — во внешней политике — отказа от разорительных агрессивных войн: «Все меры правительство должно взять, чтобы предупредить уменьшение народа. Для сего 1-ое сделать учреждение, которое бы препятствовало помещикам употреблять во зло их власть и быть грабителями и тиранами их подданных. 2-ое. Хорошим учреждением стараться установить порядок доведения рекрут в назначенное место, а чтобы те, которые их ведут, принуждены были падать сих несчастных и себе подобных. 3-ье. Когда они доведены будут до места, чтобы командиры сим солдатам были бы некоторым образом обязаны облегчать по возможности и удобству их состояние. 4-ое. Избегать всех ненужных войн». Особое внимание Зиновьева привлекает необходимость судебной реформы по английскому образцу: «Тебе известно, что у нас тьма законов, между которыми немалое число противоречащих, что, напр<имер>, гражданина <в значении «штатского», — Ю. Л.> судят часто по морским и военным уставам, что законы ни судье, ни преступнику, ни большей части публики, самим стряпчим и секретарям очень часто неизвестны и что они чрез беспорядок как бы находятся в закрытии и, по моему мнению, некоторым образом на инквизицию походят, ибо преступник, хотя знает, что он по закону обвинен, но ни он, ни судья, а часто секретарь, который по своей должности у нас тысячи законов знать обязан, не уверены — нет ли другого последнего закона, которым виновной оправдан быть должен? Приняв сие, ты видишь, как тяжело честному и чувствительному человеку быть у нас судьей».²⁴

Особенно враждебен Зиновьеву деспотизм. Все симпатии его на стороне конституционно-монархического порядка английского

²⁴ Журнал путешествия... л. 108—110 об.

образца. Увидав во дворце Hagwood в одной из зал украшавшие ее античные бюсты Каракаллы, Коммода, Гомера и Фаустины, он записал в дневнике: «Есть ли тут какой-нибудь смысл, видеть в Англии двух чудовищ рода человеческого и делать ими украшение великолепной комнаты! Досадно! До крайности досадно! Что я с бюстами сих тиранов и оным подобными сделал бы — писать здесь длинно; но не лучше ли было бы вместо двух сих possédés²⁵ поставить бюст д'юрда Чатама и достойного его сына В. Питта, а вместо Гомера и Фаустины — Мильтона и Елизаветы».²⁶

Свиданье с Зиновьевым оставило в сознании Карамзина след. На это имеется в тексте «Писем» намек, много говоривший кругу посвященных.

В письме из Лозанны Карамзин сообщал: «Сию минуту пришел я из кафедральной церкви. Тут из черного мрамора сооружен памятник княгине Орловой, которая в цветущей молодости скончала дни свои в Лозанне, в объятиях нежного неутешного супруга. Сказывают, что она была прекрасна — прекрасна и чувствительна!.. Я благословил память ее» (277).

Для неосведомленного читателя это один из многих эпизодов «сентиментального путешествия». Однако читатели «Московского журнала» знали подробности, на которые намекал Карамзин, лучше, чем наши современники.

Княгиня Орлова — до замужества Екатерина Николаевна Зиновьева, родная сестра собеседника Карамзина.²⁷ История ее замужества и гибели в свое время пользовалась шумной известностью: бывший фаворит Екатерины II, отстраненный от дел Потемкиным и утративший бывшее влияние, Г. Г. Орлов влюбился в 18-летнюю фрейлину Е. Н. Зиновьеву. Последняя отличалась красотой и веселым, беззаботным нравом: Екатерина II в шуточных характеристиках своих придворных пророчила ей смерть от смеха.²⁸ Злые языки сообщали, однако, отнюдь не смешные подробности страсти бывшего фаворита. М. М. Щербатов сообщал об Орлове: «Тринадцатилетнюю двоюродную сестру свою Екатерину Николаевну З. исильничал и, хотя после на ней женился, но не прикрыл тем порок свой, ибо уже всенародно оказал свое деяние и в самой женитьбе нарушал все священные и гражданские законы».²⁹

²⁵ Одержимых — франц. (ред.).

²⁶ Журнал путешествия... , л. 114.

²⁷ Если бы даже, что крайне мало вероятно, Карамзин забыл об этом родстве, ему должен был напомнить его текст эпитафии: Catharina princesse Orlow, née Sinowiew, le XIX Décembre 1758, morte le XXVII Juin 1781. Барсуков А. Рассказы из русской истории XVIII века (по архивным документам). СПб., 1885, с. 186.

²⁸ Соч. имп. Екатерины II. СПб., 1907, т. XII, с. 658.

²⁹ Щербатов М. М. Соч. СПб., 1898, т. II, стб. 229.

«Священные и гражданские законы», о которых говорил Щербатов, — это запрет по православным законам браков между двоюродными родственниками. Орлов венчался летом 1776 г. Брак этот вызвал скандал. Биография Г. Орлова, составленная, по всей вероятности, в кругах, близких к братьям Воронцовым (можно предположить, что А. Г. Воронцов принимал в составлении ее непосредственное участие), описывает резкий эпизод, происшедший в связи с этим между Г. Орловым и императрицей: «Когда ее величество Зиновьеву, бывшую при дворе фрейлиною, за ее непозволительное и обнаруженное с графом обращение при отъезде двора в Сарское Село с собою взять не позволила, то граф был сим до крайности огорчен и весьма в том досадовал. Так, что однажды при восставшей с императрицею распри отважился он выговорить в жару непростительно грубые слова, когда она настояла, чтобы Зиновьева с нею не ехала: „Черт тебя бери совсем!“ В оном следуем мы присланным к нам известиям и тем более поелику, как мы после увидим, на особенное просительное письмо всеми Святейшего синода членами подписанное, в котором они, при воспоследовавшей графу немилости, принесли публично на сей как духовным, так и светским законом противной поступок Правительствующему сенату жалобу».³⁰

Дело о браке Орлова по жалобе Синода разбиралось в Совете. Враги падшего фаворита, желая угодить Екатерине, предлагали самые жестокие меры. «Члены Совета подали мнение о необходимости развести Орлова с женою и заключить обоих в монастырь».³¹ Екатерина II не утвердила этого решения, но предло-

³⁰ Анекдоты жизни князя Григория Григорьевича Орлова. ЛОИИ АН, архив Воронцовых, ф. 36, оп. 1, ед. хр. 756/362, л. 30 об.—31. Существует немецкое издание этой рукописи: *Anekdoten zur Lebensgeschichte des Fürsten Gregorius Gregoriewitsch Orlow*. Frankfurt—Leipzig, 1791. Трудно сказать, является ли немецкая книга переводом с рукописи, хранящейся в воронцовском архиве, или, напротив, рукопись — перевод немецкой книги. Однако даже если книга составлена в Германии, то, как многократно подчеркивается в тексте, в основу ее положены сведения, полученные из высоких придворных кругов. Действительно, ряд эпизодов (вроде приведенного выше) мог быть известен лишь в узком кругу особо посвященных лиц. Общая тенденция соответствует отношению к Г. Орлову в оппозиционно-вельможных кругах екатерининского времени: на общую отрицательную оценку Орлова как фаворита наслаивается противопоставление его Потемкину. Переход братьев Орловых в лагерь умеренной оппозиции накладывает на общую отрицательную оценку смягчающие тона и заставляет выделять и их положительные стороны. Это характерно и для «Анекдотов», и для «О повреждении нравов в России» Щербатова. Однако некоторые детали текста выдают участие братьев Воронцовых. Таково, например, детальное описание ссоры двух их сестер, «славной княгини Дашковой» и «бывшей наложницы императора Петра III» (л. 10—11). Отношение А. Р. Воронцова к роли сестры Дашковой в перевороте 1762 г. было отрицательным.

³¹ Барсуков А. Рассказы... с. 177.

жила Орлову с женой навсегда покинуть пределы России. Вскоре Орлова умерла в Лозанне. Эти события не прошли без протестов, которые исходили из вполне определенного лагеря. В Совете в защиту Орлова выступил К. Г. Разумовский. На смерть Орловой Державин откликнулся стихами:

Как ангел красоты, являемый с небес,
Приятствами она и разумом блистала,
С нежнейшею душой героически умирала.
Супруга и друзей повергла в море слез.³²

Стихотворение это было в 1792 г. опубликовано в «Московском журнале» Карамзина, там же, где появился и отрывок из «Писем». Поскольку смерть Орловой не была свежей новостью — с момента ее гибели прошло более 10 лет, в этих публикациях нельзя не усмотреть определенной демонстрации. В общественном смысле Карамзин этими публикациями примыкал к определенному лагерю критиков правительства, в личном — выражал сочувствие Зиновьеву. Ему, конечно, было известно, что последний исключительно остро пережил кончину сестры — именно это событие, усилив религиозно-мистические настроения, привело Зиновьева в лагерь масонов.

Другая веха в размышлениях Карамзина о реально-политических проблемах, стоящих перед Россией, связана с посещением Лафатера. Карамзин уделил в «Письмах» много страниц своим посещениям Лафатера, однако можно сомневаться в том, что все их разговоры отразились на страницах этого произведения. Естественно предположить, что в беседах швейцарского теософа и русского путешественника возникла тема посещения Лафатера другими визитерами из России. Самым выдающимся и наиболее запомнившимся из них был, конечно, «князь Северный» — наследник русского престола Павел Петрович. Лафатер описал в своем дневнике эту встречу. Поскольку, вероятно, в тех же или близких выражениях этот рассказ слышал Карамзин, его стоит воспроизвести:

«Тут заговорил он со мной о физиогномии... Как я дошел до этого? Он получил от своего лейбмедика некоторые отрывки для прочтения. Он был изумлен. Я должен ему предоставить некоторые данные о том, как я подошел к сущности?»

Я отвечал то, что я уже должен был тысячи раз отвечать — что в основу я кладу лоб, на котором я основываю существенные черты характера, из которых я вывожу все остальное и к чему я возвожу все остальное. Тут приложил он свою плоскую руку ко лбу и спросил с непередаваемой улыбкой: „Ну а теперь, как обстоит дело здесь? Я полагаю довольно плохо?“

— Сударь, — отвечал я ему улыбаясь и живо, — Вы не имеете причин быть недовольным ни Вашим лбом, ни Вашей физиономией.

³² Державин Г. Р. Соч. Изд. Я. К. Грота. СПб., 1864, т. 1, с. 152.

Он: Я не комплиментов жду от Вас.

Я: Я не собираюсь говорить комплиментов. Это не моя специальность. Моя природа — искренность. Поверьте мне, я говорю не с великим князем, но с добрым человеком, которого я вижу перед собой. В князе я вижу только человека, а не в человеке — князя.³³

Он был доволен этим ответом и сказал мне: „Поговорим серьезно: мне было бы важно получить от Вас добрые советы. Вы меня видели. Подайте этому лицу совет или поучение, которое ему подобает“». Далее Лафатер описывает, как он пытался уклониться от прямого ответа, ссылаясь на невозможность быстрого определения, однако Павел настойчиво вернул его к сущности разговора.

«Он: Однако еще раз: это для меня серьезно. Скажите мне что-либо, что мне особенно важно при моем характере и темпераменте.

Я: Без настоящего требования, сударь, никогда не говорю людям в лицо об их лицах... Я нахожу крайне нескромным без нужды и обязанности хвалить или осуждать человека в лицо.

Он: Это я прекрасно понимаю. Но я прибыл сюда, чтобы с Вашей помощью лучше познать самого себя. Итак, имейте доброту исполнить мою просьбу. Это мне необходимо для исправления моего „я“. Вы не можете меня отвергнуть.

Я: Ну, тогда с божьей помощью... Вы обратились ко мне с призывом, которому я не могу противостоять. Но облегчите мне задачу с помощью простых и определенных вопросов — тогда я буду Вам перед лицом бога отвечать как честный человек.

Он: Отлично! итак, начнем вопросы: гневлив ли я?

Я: Да, сударь, и в наивысшей степени. У Вас достаточно причин следить за собой... (или нечто в этом роде).

Он: Как Вы это увидели?

Я: По Вашим глазам: по их цвету и рисунку.

Он: Это справедливо. Вы правы — дальше: есть ли у меня большой темперамент?

Я: Большой, очень большой!.. Вы в высшей мере горячи, быстры, бурны.

Он: Вы полностью правы. Дальше: расположен ли я к веселости (добродушен или как он выразился весел³⁴).

Я: Природа создала Вас веселым, так как Вы добры. Но Вам следует уметь пресекать многие дурные причуды. Вы легко и часто выпадаете в глубокие бездны от застенчивости, которая близко граничит порой с отчаяньем. Ради бога... не падайте духом в такие минуты!.. Не предпринимайте в них ничего! Позовите свою супругу! Прильните к ней! Темные тучи тотчас же рассе-

³³ Весь текст по-немецки. Последняя фраза в тексте по-французски.

³⁴ Последние два слова по-французски.

ются. Скоро, очень скоро вы придете в себя, если не будете слишком долго предоставлены себе самому.

Он казался столь же изумленным, сколь взволнованным. „Вы говорите мне только истины и истины очень важные...“³⁵

Интерес к личности наследника в оппозиционных кругах России не случаен. В широком и не имеющем единой программы, но явно переживающем подъем лагере противников правительства Екатерины II в конце 1780-х—начале 1790-х гг. все были согласны в необходимости срочных общественных перемен, хотя в чем состоят эти перемены, понималось разными группировками по-разному. Однако в обстановке подъема и надежд «великой весны девяностых годов» (Герцен) важно было не то, что разделяло, а то, что соединяло разнообразных противников существующего порядка. Показательно, что столь далекий от революционных настроений человек, как С. Р. Воронцов, встретил «Путешествие из Петербурга в Москву» в общем сочувственно, а расправу с писателем — с осуждением. Да и дружбу Радищева и А. Р. Воронцова, конечно, нельзя рассматривать как причуду чисто биографического характера. Оба они были слишком погружены в политику, чтобы отделять личные и общественные симпатии непреодолимой чертой. То же можно сказать и об отношениях Панина и Фонвизина. Каждый из них имел свою программу, но каждый понимал, что политический реализм требовал от них компромиссов.

Настроения политического реализма заставляли обращаться к фигуре наследника. Реформаторская деятельность проникнутого духом прогресса и идеями века государя казалась наиболее реальным выходом из политического тупика, в котором оказалась Россия (история иронически показала, что этот наиболее реалистический расчет оказался предельно ирреальным).

О Павле Петровиче знали мало, а то, что было известно, — внушало надежду. Знали о его доброте и прямоте, ненависти к фаворитизму и расточительности матери. Было известно, что Никита Панин был поклонником твердых законов и противником деспотизма. Это тоже внушало надежды.

Екатерина II опасалась малейшего сближения общественных групп с наследником и жестоко наказала Новикова и его друзей за робкую попытку сблизиться с Павлом через Баженова. Но Сен-Мартен находился в деятельной переписке с Марией Федоровной и был своим человеком при дворе ее матери, те же связи харак-

³⁵ *Strahlmann B. Johann Caspar Lavater und die «Nordischen Herrschaften».* — Oldenburger Jahrbuch, Bd 58, 1959, Teil 1, S. 204—206. Ср.: *Heier Ed. Das Lavaterbild im geistigen Leben Rußlands des 18. Jahrhunderts.* — Kirche im Osten, 1977, Bd 20, S. 113—114. Считаю приятной обязанностью поблагодарить г-жу И. Ингольд-Ракуза, проф. К. Эймермахера и проф. П. Барага за содействие в розысках в архиве Лафатера (Цюрих) и в получении мной изданий, отсутствующих в библиотеках СССР.

герны для Лафатера.³⁶ Ведущие русские дипломаты за границей (за исключением посла в Париже Симолина) недоброжелательствовали Екатерине II, сочувствовали Павлу и в той или иной мере оказывались связанными с тем либерально-мистическим движением, с которым соприкоснулся Павел за границей и тесную связь с которым имели вюртембергский дом и Мария Федоровна.

Интересно, что Екатерина с ее сухим умом практика и рационалиста до того самого момента, когда революция в Париже вступила в решающую фазу, более сочувствовала идеям понятных ей энциклопедистов, чем туманным и совершенно чуждым ей учениям мистического гуманизма. Первые не казались ей опасными, вторых она глубоко подозревала в заговорах и покушениях на ее власть.

Рассказ Лафатера, рисуя Павла Петровича человеком, стремящимся к самоусовершенствованию, твердо выслушивающим поучения из уст мудреца, указывающего принцу на его недостатки, imponировал оппозиционерам, поскольку ассоциировался с известными ситуациями из политико-воспитательных романов XVIII века.

Карамзин не упомянул о своих разговорах на эту опасную тему с Лафатером, но в другом месте, верный своему принципу оставлять известные следы интересовавших его серьезных вопросов, показал, с каким вниманием и осведомленностью собирал он данные о путешествии Павла по Европе. Посетив Шантильи, он «вспомнил то великолепное, беспримерное зрелище, которым принц Конде веселил здесь нашего Северного графа. Ночь превратилась в день; от бесчисленных огней казалось, что леса и воды горели; искры сыпались каскадами...» (497).

В Лондоне Карамзин явился к С. Р. Воронцову. Показательно, что в Париже он не считал нужным представиться русскому послу Симолину, хотя и имел контакты с масоном и другом Сен-Мартена советником русского посольства А. Мапшковым.

Воронцов, как и Карамзин, был внимательным наблюдателем французских событий, хотя относился к ним, вероятно, более критически, чем русский путешественник в 1790 г. Приведем

³⁶ Тесная связь Лафатера с Павлом Петровичем и Марией Федоровной продолжалась и в дальнейшем: Лафатер находился с Марией Федоровной в деятельной переписке, часть из которой опубликована. См.: Johann Kaspar Lavater's Briefe an Kaiserin Maria Feodorowna. Über den Zustand der Seele nach dem Tode, St.-Ptrb., 1858. Русский перевод: Письма Лафатера к государыне императрице Марии Федоровне 1798. СПб., 1881, отклик из журнала «Христианское чтение», № 3—4, 1881, с. 1—35. Во время швейцарского похода Павел приказал Римскому-Корсакову посетить Лафатера и предложить ему на выбор — чин, орден или пенсию. При этом он поручал передать личное письмо, в котором свидетельствовал, что не забыл впечатление от их личной встречи. Поскольку Лафатер находился при смерти (он был ранен французским солдатом), письмо и милости не были переданы.

письмо его к Безбородко об офицере русской службы Миранда, из которого видно, что «метафизические системы вольного правления» не вызывали у него враждебности и увлечение ими пылким умом благородного человека он склонен был извинять, хотя попытки практического их осуществления им безусловно осуждались (необходимо сделать скидку на характер адресата и цель письма — оправдать в глазах петербургского правительства молодого вольнодумца, о котором Екатерина II получила неблагоприятные сведения): «Он имеет честной благородный нрав и преисполнен благодарности к Государыне, но в то же время я усматривал в нем, что острой и надмерно пылкой его Разум помрачал иногда его рассуждение и что безразборное чтение энциклопедических <так, — Ю. Л.> авторов и собеседие (во время его путешествия, когда он объезжал Европу) с Реналом, Кондорсетом и другими подобными ввело его в метафизические системы вольного правления, кои он не рассудил, что на действии они совсем не те, кои в умствовании ему кажутся».³⁷ Следует отметить, что письмо это, написанное осенью 1792 г., отнюдь не соответствовало настроениям, царившим в это время в официальных кругах Петербурга. Но более существенно другое: относясь к французской революции с осуждением, он считал ее событием великим и неизбежным. Через два дня после процитированного письма Безбородко, 2/13 сентября 1792 г., он писал А. Р. Воронцову: «Франция не успокоится до тех пор, пока ее гнусные принципы не пустят корней и на этой земле; несмотря на превосходную конституцию здешней страны, зараза возьмет верх. Это, как я вам уже сказал, — война не на жизнь, а на смерть между теми, которые ничего не имеют, и владельцами собственности, а так как последних гораздо меньше, то в конце концов они неизбежно погибнут. Зараза станет всеобщей». Далее, говоря о неизбежности революции в России, он пишет: «Мы ее не увидим, ни вы, ни я; но мой сын ее увидит. Поэтому я решил обучить его какому-нибудь ремеслу, слесарному или столярному, чтобы, когда его крепостные скажут ему, что они его больше не хотят знать, а что земли его они разделят между собой, он мог зарабатывать себе на жизнь честным трудом и иметь честь сделаться одним из членов будущего пензенского или дмитровского муниципалитета».³⁸

Глубокое убеждение в том, что, согласно Монтескье, деспотизм порождает анархию, а анархия — деспотизм, заставляло С. Р. Воронцова видеть средство предотвращения революции в России в устранении деспотизма Екатерины II. Надежды на Павла не были ему чужды.

Карамзин был принят С. Р. Воронцовым не как случайный приезжий: он многократно у него обедал в Лондоне, бывал на

³⁷ ЛОИИ АН, ф. 36, оп. 1, ед. хр. 1253, л. 20—20 об.

³⁸ Архив кн. Воронцова. М., 1876, т. 9, с. 267—269 (оригинал по-французски).

даче в Ричмонде, писал стихи его сыну Мишеньке и слушал, как Воронцов читает оды Ломоносова. Однако вряд ли разговоры их ограничивались одной поэзией. Возможно, что именно через С. Р. Воронцова Карамзин завязал связи с гамбургским журналом «Spectateur du Nord»: с начала 1797 г. послом России в Гамбурге стал И. М. Муравьев, с которым Воронцова связывали прочные узы единомыслия.

Итак, хотя основное внимание Карамзина во время путешествия было, бесспорно, привлечено к европейским делам, новым знакомствам и связям с разнообразными деятелями западной культуры и общественной жизни, на протяжении всего путешествия четко просматривается нить русских связей, за которыми вырисовываются контакты с определенными кругами русской оппозиции: Зиновьев — Кутузов — Воронцов и рядом с ними Лафатер и Сен-Мартен с их прочными связями с монбелярским двором, матерью Марии Федоровны, с самой Марией Федоровной. А это был единственный канал, через который можно было проложить дорогу к находящемуся под неусыпным надзором Павлу Петровичу.

В этой связи получает объяснение «Ода на случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому, самодержцу всероссийскому», которую написал Карамзин в 1796 г. Ода полна актуальных намеков и представляет собой интересную программу, в которой выражены надежды, возлагаемые на Павла критиками политики его матери. Здесь следует отметить и многозначительный намек на незаконность длительного устранения Екатериной Павла от власти (попутно — опровержение слухов об акте лишения Павла наследственных прав на престол):

Итак, на троне Павел Первый?
Венец российские Минервы
Да в но (разр. моя, — Ю. Л.) назначен был ему...

Далее недвусмысленно указывается на необходимость твердых законов, т. е. конституции:

Он хочет счастья миллионов,
Полезных обществу законов,

судебной реформы, смены государственного руководства с тем, чтобы была «отверста мудрым дверь», процветания наук и искусств (Карамзин, притесненный в последние годы царствования Екатерины II, конечно, думал о цензуре) во внутренних делах и утверждения мира как основы внешней политики. Ода не случайно — единственный пример во всем творчестве Карамзина! — написана в ломоносовской традиции как программа и поучение царям. Не о таком ли предназначении поэзии говорил Карамзину С. Р. Воронцов, когда читал ему в Лондоне Ломоносова?

В свете такого отношения к Павлу I в 1796—1797 гг. — смеси надежд и поучений — приобретает особый интерес одна оставшаяся до сих пор не замеченной статья, в авторстве которой у нас есть сильные основания подозревать Карамзина.

Журнал «Spectateur du Nord», выходящий во второй половине 1790-х гг. в Гамбурге на французском языке, был специфическим изданием. Хотя журнал выходил за пределами Франции, он не был по характеру «контрреволюционным». Это издание занимало «сменовеховскую» позицию: оно ставило целью примирить умеренную и реалистическую эмиграцию с Францией. Одновременно журнал стремился ознакомить французского читателя с культурно-литературной жизнью северной Европы: в нем печатались статьи об английской, немецкой, русской и пр. литературах. Умеренная политическая позиция журнала привела к тому, что первые годы он беспрепятственно распространялся во Франции.

«Русский» раздел журнала имеет совершенно специфический вид: он весь посвящен творчеству Карамзина и не упоминает каких-либо других русских писателей. Кроме переводов и исключительно комплиментарного отзыва о сочинениях Карамзина журнал опубликовал статью Карамзина «Lettre au Spectateur sur la littérature russe», содержащую ряд исключительно важных для позиции Карамзина положений. Авторство Карамзина для этой статьи было установлено после публикации Я. Гротом и П. Пекарским «Писем Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву». Здесь в письме от 16 ноября 1797 г. содержалось следующее признание: «Издатель французского „Северного Зрителя“ требовал от меня чего-нибудь. Я послал к нему: Un mot sur la littérature russe. Письмо мое напечатано в Октябре месяце журнала».³⁹ Я. Грот и П. Пекарский опубликовали в приложении текст статьи по копии, снятой в Париже В. С. Порошиным, поскольку «в петербургских библиотеках не имеется экземпляра»,⁴⁰ и заверили читателей, что статья «перепечатана здесь со всею точностью».⁴¹ Последнее сообщение неточно: статья перепечатана с погрешностями, одна из которых по крайней мере существенно меняет смысл высказывания. Однако важнее другое: категорическое заявление Я. Грота и П. Пекарского полностью пресекло попытки рассмотреть журнал за пределами их публикации. Между тем в библиотеках СССР нами обнаружены по крайней мере два комплекта журнала: в Библиотеке СССР им. В. И. Ленина в Москве (из собрания бывш. Румянцевской библиотеки) и в библиотеке Тартуского университета (неполный экземпляр).

Просмотр всех номеров журнала позволил обнаружить еще одну статью, посвященную России. Статья эта опубликована в том

³⁹ Письма Н. М. Карамзина к П. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 82.

⁴⁰ Там же, с. 044.

⁴¹ Там же, с. 0186.

же № 2 (февральском) за 1797 г., где был напечатан перевод «Юлии» Карамзина «Julie, nouvelle traduit du russe de Mr. Karamzin par. Mr. de Boulliers».⁴² По содержанию очевидно, что статья эта прислана в журнал из России (на это же имеется и прямое указание редактора). Под статьей стоит подпись «Путешественник» (Un Voyageur). Следует отметить, что прозвание «Путешественник» в это время прочно укрепилося за Карамзиным и не требовало пояснений. Когда автор анонимной сатиры «Галлоруссия» писал:

Он: ... Вот путешественник, что кистью своей
Французолобие в нас вечное посеял.

Я: При всем том грубый штиль и славянизм развеял,⁴³

то читатель не нуждался ни в каких дальнейших пояснениях. Итак:

1. Исключительность связей Карамзина с этим журналом,
2. Подпись под статьей,
3. Содержание статьи, тесно связанное с тем аспектом его позиции в вопросах «реальной политики», о котором мы говорили выше, — заставляют нас предположить авторство Карамзина.

Для того, чтобы последнее соображение приобрело убедительность, приведем эту статью в русском переводе (перевод наш):

Письмо в «Зритель» о Петре III

Г-н Зритель!

.....⁴⁴
Вы открываете в Вашем журнале, так сказать, многие двери для всего того, что может быть интересно или поучительно: я заметил одну, через которую охотно проникли бы благонамеренные обозреватели, принося разнообразные дани мудрых и острых мыслей и живые, одушевленные картины, которыми так прославлен «Английский Зритель» — драгоценный сборник, в котором Англия находила столько приятных уроков вкуса и полезных наставлений в нравственности. Правда, что превосходные авторы этого издания не оставили ни в одной стране последователей. Но, хотя

⁴² Глухое указание на этот перевод, без точной библиографической справки, было сделано В. Сониковым и повторено С. Пономаревым (см.: Пономарев С. Материалы для библиографии литературы о Н. М. Карамзине. СПб., 1883, с. 12), однако не привлекло внимания дальнейших исследователей.

⁴³ Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971, с. 785.

⁴⁴ Многозначие объясняется следующим редакторским примечанием в начале статьи: «Публикуя в этом журнале обращенные ко мне письма, если они входят в начертанный мною план журнала, я сохраняю за собой право исключать то, что ему не соответствует, и, в особенности, похвалы в мой адрес. Сколь бы они мне ни льстили, мне представляется непристойным быть их издателем. Именно из этих последних соображений я позволил себе убрать первый абзац публикуемого ниже письма. Оно прислано нам некоей особой, которая живо разделяет проявленное Павлом I желание реабилитировать память своего несчастного отца».

кажется, что Французская республика разрушила республику словесности, еще имеюся писатели, способные вместе с вами выполнять эту часть ваших намерений. В ожидании их появления примете ли вы краткую заметку правдивого путешественника? Ваши читатели потерпят ее за необычность и в силу обстоятельств.

O caecae hominum mentes...⁴⁵

Иногда следовало бы изображать Славу, как и Фортуна, с завязанными глазами. Она торопится распространять то, что только что узнала, и сама ее скорость препятствует ей видеть и уточнять детали сведений, которые она распространяет, детали, без которых невозможно хорошо понять и оценить факты. Если каждому возможно прийти к этому заключению в условиях самых обыкновенных, то наибольшей меры истинности оно достигает в обстоятельствах, касающихся вельмож и царей, которые как бы бронзовой стеной укрыты от взоров истины. Прошло более тридцати лет с той поры, как печальной памяти Петр III сошел в могилу; и обманутая Европа все это время судила об этом государе со слов его смертельных врагов или их подлых сторонников. Строгий суд истории, без сомнения, его упрекнет во многих ошибках, но та, которая его погубила, звалась — слабость. Он получал разнообразные указания на заговор, который плелся против него: покойный посол Пруссии граф Гольц многократно его предупреждал об этом от имени своего государя: «Если вы хотите быть в числе моих друзей, не говорите мне более об этом», — отвечал он графу Гольцу.

Между тем заговор разразился. Низкие орудия мятежа и предательства, которые еще накануне звались его гвардией, в боевом порядке двигались по дороге на Ораниенбаум,* где он тогда находился с частью своего двора. При этом известии император, слишком поздно выведенный из заблуждения, смутился и растерялся. Напрасно храбрый и верный полк гольштинцев предлагал ему идти навстречу мятежникам и, если потребуются, умереть за него. Он не осмелился поверить своим защитникам, число которых, действительно, не соответствовало опасности.

Кронштадтский порт, куда нельзя пройти по суше, казался ему более надежным прибежищем. В сопровождении своего двора он прибыл ко входу в порт и потребовал, чтобы ему открыли барьеры. Назвав себя, он получил ужасный ответ: «Императора больше не существует!» Ему даже пригрозили пустить на дно яхты, если они немедленно не выйдут в открытое море. Яхты подчинились, они принялись блуждать в широком устье Невы. Кто поверил бы, что в этот печальный момент одна из дам, сопровождавших императора, решилась пародировать остроу из комедии: «За каким чертом пошли мы на эту галеру?» История не должна упускать подобных черт — они рисуют многое в малых словах.

Самодержец всея России не находил аршина земли, на который он мог бы беспрепятственно поставить свою ногу. Престарелый маршал Миних, прославленный своими победами, двадцатилетней ссылкой в Сибири и уважаемый за свой великий ум, ему предлагал поднять паруса и отправиться в Германию, где ему было бы легко собрать огромную армию, во главе которой он смог бы в несколько месяцев вернуться в свою империю триумфатором и основать свою власть на надежном фундаменте силы. Петр III, погруженный в дучину своих мыслей, видел в этом проекте только трудности; он колебался, и вскоре ему блеснула надежда полюбовной сделки — он за нее ухватился и избрал тот единственный путь, которого ему следовало избегать: он сдался своим врагам.

Государь, который уже не был более государем, вскоре после этого подписал в тюрьме акт своего отречения. Можно ли его осуждать — это было сделано под угрозой силы и преступления. Говорят, что Петр III должен был предпочесть смерть такому унижению — многие люди имеют

⁴⁵ О слепота человеческих мнений! — (латинск. — ред.).

* Замок, находящийся в устье Невы, напротив Кронштадта.

жестокую склонность сурово судить несчастья, которые им самим никогда не могут грозить. Сердце Петра III не могло подозревать предательства: он, без сомнения, надеялся, что насилие этим ограничится и что раскаяние или время рано или поздно изменят его участь... Оборванным рассказ на ужасной катастрофе, которая его увенчала.

За время своего краткого царствования он довел до предела свое восхищение Фридрихом Великим, но это восхищение перед столь могущественным государем может быть осуждено лишь за его преувеличения. Те же, кто его знал, могли оценить его редкую доброту. Она была полезна России: благодеяния, действие которых не прекращается, требуют за себя вечной благодарности.

Екатерина II взошла на царство, и слава ее наполнила мир. Философы были глашатаями этой славы. Друг истины не должен против этого возражать. Но разве ему не позволено счесть число мужчин, женщин и детей, которые заплатили жизнью за тридцать лет этого славного царствования в Польше, Швеции, Турции, Персии и более всего в России? Он пытается счесть ужасное число этих жертв и находит их столь же бесчисленными, как и количество ассигнаций, — мрачное свидетельство богатств, поглощенных блеском этого прекрасного царствования.

Примите и проч.

Путешественник.⁴⁵

Статья примечательна во многих отношениях. Петр III избран в качестве ее героя не случайно: такие законодательные акты его правительства, как указ о вольности дворянской, уничтожение тайной канцелярии, прекращение гонений на старообрядцев, создали ему популярность в самых различных слоях населения. Последнее обусловило то, что имя его было присвоено рядом самозванцев, два первых вызвали в 1803 г. слова Карамзина: «Я, как русской и дворянин, желал видеть место, которое нравилось Петру III: он подписал два указа, славные и бессмертные!»⁴⁷

В уничтожении тайной канцелярии видели меру по замене произвола законностью. На смену жестокому веку Петра, когда «жестокое обстоятельство заставило <...> прибегнуть к жестокому средству», когда исторический прогресс сочетался с деспотизмом и беззаконием, должен прийти век просвещенной мягкости прав и законности. В специальной заметке «О тайной канцелярии» Карамзин писал: «Я чувствую великие дела Петровы и думаю: „Счастливы предки наши, которые были их свидетелями!“ однако ж — не завидую их счастью!»⁴⁸

В указе же о вольности дворянства видели зародыши русской конституции. Следует помнить, что инициатива этого акта приписывалась отцу братьев Воронцовых.⁴⁹

⁴⁵ Le Spectateur du Nord, 1797, N 2, p. 282—288. Журнал вообще относился с симпатией к Павлу I, хотя и предупреждал его, что «вынешние люди не могут быть управляемы, как люди двенадцатого века». В № 3 была опубликована рецензия на вышедшую в Париже неблагоприятную для Екатерины II книгу: Histoire ou Anecdotes sur la révolution de Russie en l'année 1762. Paris, 1797.

⁴⁷ Путешествие вокруг Москвы. Цит. по кн.: Карамзин Н. М. Соч. СПб., 1848, т. 1, с. 451.

⁴⁸ Там же, с. 425.

⁴⁹ См.: Щербатов М. М. Соч., т. II, стб. 224. В приведенной статье примечательны и ряд частных совпадений с позицией Карамзина. См., наприм-

В 1797 г. в «Письме» в «Spectateur du Nord» Карамзин говорил о том, что «французская нация прошла все ступени цивилизации для того, чтобы постичь точки, на которой она ныне находится». ⁵⁰ Далее он обращает внимание на «быстрый полет нашего народа к той же цели». ⁵¹ Из сказанного, конечно, не следует, что Карамзин ожидал в России повторения парижских событий. Однако из этих слов с очевидностью вытекает, что для Карамзина Франция и в годы революции оставалась эталоном цивилизации и мерилom прогресса. Высказанная здесь точка зрения весьма близка к «Очерку исторической картины прогресса человеческого разума» Кондорсе. Карамзин, очевидно, был знаком с Кондорсе в Париже, осведомлен об обстоятельствах его гибели ⁵² и, вероятно, ознакомился с этим, посмертно опубликованным итоговим произведением французского Просвещения. Основной концепции Кондорсе была вера в единство путей человеческого разума и безостановочность его прогрессивного шествия. С этой точки зрения любые кровавые и трагические эпизоды человеческой истории выглядели как «эксцессы», которые не могут лишить философа его оптимистической веры в Разум.

Однако вера в успехи цивилизации и совершенствование человека, к которой у Карамзина всегда примешивалась доля утопизма, ⁵³ не исключала стремления к политическому реализму, когда вопрос касался не абстрактно-философских, а конкретных проблем современной ему России. В этом отношении сближение Карамзина с С. Р. Воронцовым достойно серьезного внимания.

Последние два десятилетия царствования Екатерины II были отмечены широким недовольством, захватившим всю толщу общества. Конечно, реальные интересы и идеологические представления тех, кто ждал крестьянского царя, имеющего право сказать: «Всю землю своими ногами исходил и для дарования вам милосердия от создателя создан», ⁵⁴ — и просвещенных оппозиционеров типа адмирала П. В. Чичагова, писавшего: «Грязнейшее гнездо рабства находится в так называемом русском дворянстве. Конституционно в бедном моем отечестве одно лишь крепостничество, потому что это — единственное состояние, согласующееся с естественными наклонностями этой нации, коим дворянство служит истинною порукою», ⁵⁵ — были разделены глубокой чертой.

Однако в последние годы полновластия Потемкина и, особенно, в период фавора П. Зубова общественная опора правительства

мер: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, с. 50.

⁵⁰ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, с. 478.

⁵¹ Там же.

⁵² Доказательства знакомства Карамзина и Кондорсе см. в кн.: *Карамзин Н. М. Письма русского путешественника* (в печати).

⁵³ «Утопия будет всегда мечтою доброго сердца», — писал он в «Письмах русского путешественника» (382).

⁵⁴ Пугачевщина, том первый, из архива Пугачева (манифесты, указы, переписка), Центрархив. М.; JL, 1926, с. 36.

⁵⁵ Архив адмирала П. В. Чичагова. СПб., 1885, вып. 1, с. 45.

значительно сузилась. Оттенки, разделявшие правительственных критиков различной ориентации, стали казаться менее существенными, а объединявшее их отрицательное отношение как к личности Екатерины II, так и к созданной ею системе, — основным и главным. Оппозиционные настроения захватили и правительственные верхи. Особенно они ощущались в среде русских зарубежных дипломатов. В этом сказывалась и традиция долгое время руководившего дипломатическим корпусом Н. Панина, и экстерриториальность положения, дававшая возможность обсуждать вопросы, которые в России оставались запретными даже для вельмож высшего ранга.

Следует отметить, что интересы практической политики в последней трети XVIII в. неоднократно сближали передовых общественных деятелей с оппозиционными вельможами: разница программ и убеждений показалась менее существенной, чем общность практического неприятия правительственного деспотизма. Дружба Фонвизина и Панина,⁵⁶ Радищева и А. Р. Воронцова была фактом идейной жизни XVIII в., а не только фактом их биографий (в определенном смысле можно сказать, что Державин слил в своем лице оба элемента этого типологического союза). В этом же ряду следует рассматривать сближение Карамзина и С. Р. Воронцова.

С. Р. Воронцов был, бесспорно, самой выдающейся фигурой среди русских оппозиционных дипломатов, и одно время казалось, что ему предназначено крупное место в организации антидеспотического фронта. Образованный, много путешествовавший, блестящий собеседник, независимый в мнениях и следящий за всеми новинками публицистики 1790-х гг., С. Р. Воронцов в обществе доверенных лиц не скрывал своего критического отношения к положению политических дел в России. Его слово много значило в кругах, оппозиционных Екатерине II, а позже к нему явно тяготела группа «молодых», сплотившихся при Павле вокруг наследника престола. Отправляя своего сына — М. С. Воронцова в Россию, он снабдил его письмом, в котором выразил свое политическое кредо: русский деспотизм не отличается от турецкого. Не следует обольщаться добротой нового царя (письмо писано в апреле 1801 г.) — не личная доброта, а непрременные законы могут гарантировать от деспотизма: «Современное положение страны есть лишь временное облегчение от тирании, и наши соотечественники похожи на римских рабов во время сатурналий, после которых они снова становились рабами».⁵⁷

Деспотизму Екатерины II братья Воронцовы склонны были противопоставлять подчеркивание положительных моментов в цар-

⁵⁶ См.: *Гуковский Г. А.* Фонвизин. — В кн.: *История русской литературы*. М.—Л., 1947, т. IV, с. 159—174; *Макогоненко Г. П.* Денис Фонвизин. М.; Л., 1964, гл. VI и IX. Соотношение воззрений Радищева и А. Р. Воронцова и характер их дружбы еще ждут исследования.

⁵⁷ Архив кн. Воронцова. М., 1780, кн. XVII, с. 6.

ствовании Петра III и надежды на наследника Павла Петровича. Известно, что Семен Романович в 1762 г., служа в лейб-гвардии Преображенском полку, пытался удержать полк на стороне Петра III. А. Р. Воронцов в записке, поданной в 1801 г. Александру I, подчеркивал, что указы Петра III о вольности дворянской и уничтожении тайной канцелярии, а также отмена монополий дают ему право на благодарность потомков. В противовес этому подчеркивалось, что «образ вступления на престол <Екатерины II, — Ю. Л.> заключал в себе многие неудобности, кои имели влияние и на все ее царствование». Перечисляя политические грехи бабки Александра («по сердцу и уму» которой новый император обещал править), А. Р. Воронцов заключал, что «люди едва ль уже не желали в 1796 году скорой перемены».⁵⁸

Нельзя не заметить единства в позиции Воронцовых и «Путешественника», опубликовавшего статью в «Северном зрителе».

Надежды на Павла Петровича распространены были в самых различных общественных кругах. В 1770-е гг. в гвардии поговаривали: «Долго ли это будет? Надобно ее с престола свергнуть, а цесаревич уже в летах».⁵⁹ В 1771 г. поднявшие на Камчатке восстание ссыльные во главе с Беневским «привели жителей к присяге императору Павлу», захватив галиот, подняли императорский флаг и назвались «Собранною компаниею для имени его императорского величества Павла Петровича».⁶⁰

Однако не только народ, не только низы гвардии, но и Фонвизин, и Н. Панин, С. Р. Воронцов, и Карамзин, а также Новиков и его друзья возлагали на Павла надежды. Основой для них была вера в то, что воспитанник Панина заменит безграничное самодержавие конституционным правлением.

Можно высказать предположение, что «лучшие места из од Ломоносова», которые С. Р. Воронцов читал Карамзину наизусть (530), включали в себя и отрывки из од 1762 г. С. Н. Чернов, анализируя политический смысл этих деклараций Ломоносова, с основанием заключал: «В строфах 18 и 22 Екатерина могла вычитать и другое — угрозу судьбою Петра III, — на случай, если она вопреки своим обещаниям и надеждам поэта не станет любить своих „верных рабов“ и их „веру“ и даст им „тесноту“ вместо „льгот“».⁶¹

Сближение Карамзина с С. Р. Воронцовым и участие в «Северном зрителе» включало его во фронт реальных политиков. В этой же связи следует рассматривать и оду Павлу I.

Активности этой не суждено было развиваться: царствование Павла I шло иначе, чем предполагали сторонники «твердых за-

⁵⁸ Там же, 1883, кн. XXIX, с. 451—470.

⁵⁹ Соловьев С. М. История России с древнейших времен. СПб. [Б. г.], кн. VI, стб. 1057.

⁶⁰ Там же, стб. 1058—1059.

⁶¹ Чернов С. Н. М. В. Ломоносов в одах 1762 г. — В кн.: XVIII век, Сб. статей и материалов. М.; Л., 1935, с. 180.

конов». Кругок С. Р. Воронцова распался — измена ловкого карьериста Ф. В. Растопчина ознаменовала конец надежд на активную политическую роль С. Р. Воронцова при новом императоре. Цензурные стеснения парализовали писательскую деятельность Карамзина. События эти оказали на Карамзина воздействие: политик перерожден в историка.

Переход этот был подготовлен.

Приведенная статья о Петре III интересна и с психологической стороны не меньше, чем с идеологической. Именно отразившиеся в ней настроения позволяют поставить ее у истоков деятельности Карамзина-историка.

Резкая смена двух царствований сопровождалась глубоким психологическим шоком. В последние годы царствования Екатерины II официальное ее восхваление приняло формы безудержной и ничем не ограниченной лжи. Эта ложь приняла характер обязательного ритуала. Смерть императрицы принесла отрезвление. Многие из того, что еще вчера подлежало прославлению, предстало в истинном и далеко не привлекательном виде. Результатом этого был призыв к истине и призыв к совести. Фигурой, противоположной придворному льстецу (а с ней сливалась и дискредитированная фигура придворного поэта), становился независимый историк. Ему приписывалась задача пересмотра утвердившихся репутаций, разоблачения официальных легенд. В «Исторических воспоминаниях и замечаниях на пути к Троице» (1803) Карамзин писал: «Что принято, утверждено общим мнением, то делается некоторого рода святынею; и робкий историк, боясь заслужить имя дерзкого, без критики повторяет летописи. Таким образом, история делается иногда эхом злословия. . . Мысль горестная! Холодный пепел мертвых не имеет заступника, кроме нашей совести. . . Что, если мы клеветем на сей пепел; если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летопись бессмыслием или враждою?»⁶²

Историческая задача критики источников сплетается с нравственной целью восстановления правды и разоблачения официальной лжи. Этим определяется поза историка-гражданина и одновременно политика-реалиста, сменившая во второй половине творческой жизни Карамзина привычную уже для читателей маску чувствительного путешественника.

⁶² Карамзин Н. М. Соч., т. 1, с. 486—487.

Н. Д. КОЧЕТКОВА

ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КАРАМЗИНА — ПИСАТЕЛЯ И ПУБЛИЦИСТА

Современные советские исследователи рассматривают «Историю государства Российского» Карамзина как произведение, тесно связанное с литературной жизнью первых десятилетий XIX века.¹ Естественно, поэтому деятельность Карамзина-писателя и публициста вызывает интерес как своего рода подготовительный этап, предваряющий работу историографа. Но не менее важен и другой момент: какое место занимает история в собственно художественном творчестве Карамзина, в его мировосприятии и эстетике до работы над «Историей».

Карамзинское отношение к истории не было однозначным, в нем можно проследить определенную эволюцию, обусловленную эволюцией мировоззрения писателя в целом.²

Формирование взглядов Карамзина было связано с одним из крупнейших событий в истории Европы XVIII века — Великой французской революцией, непосредственным свидетелем которой оказался «русский путешественник» во время пребывания в Париже. «Рубежом в развитии исторических знаний явилась французская революция, — пишет Г. П. Макогоненко. — Ее победа знаменовала конец одной и начало новой эпохи европейской

¹ См.: *Макогоненко Г. П.* Литературная позиция Карамзина в XIX веке. — *Русская литература*, 1962, № 1, с. 68—106; *Гойбин И.* «История государства Российского» Н. М. Карамзина в творческой жизни Пушкина. — *Русская литература*, 1966, № 4, с. 37—48; *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». Из истории книги и прессы пушкинской поры. М., 1972, с. 32—113; *Лузянина Л. Н.* 1) История художественного мышления в первые десятилетия XIX века. — *Известия АН СССР. Серия литературы и языка*, 1972, т. 31, вып. 2, с. 131—141; 2) К вопросу о формировании взглядов Карамзина на историю. — *Вестник ЛГУ*, 1972, № 8, с. 81—85.

² См.: *Логман Ю. М.* Эволюция мировоззрения Н. М. Карамзина (1789—1803). — *Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Труды историко-филол. фак-та*, 1957, вып. 51, с. 122—162.

истории. Перед человечеством оказалась поставленной проблема закономерности общественного и исторического развития».³

Осмысление опыта революционных событий привело Карамзина к пониманию этой закономерности. Процесс осмысления был длительным и сложным. На протяжении всей литературной деятельности Карамзин обращается к проблемам истории, постепенно углубляя свою историческую концепцию и обогащая ее опытом современности.

В течение первого периода деятельности (до путешествия по Европе) писатель, как известно, находился под сильным влиянием масонов, членов новиковского кружка. Соответственно, Карамзину были близки идеи постепенного нравственного совершенствования человека и человечества в целом. Но историческая концепция масонов тесно сопрягалась с их религиозными представлениями: совершенствование означало осознание первородного греха и его искупление. Вопрос о способах этого искупления решался масонами по-разному: одни считали необходимым смотреть на жизнь как на приготовление к смерти и требовали отрешения от земных забот и радостей; другие полагали, что человек должен быть максимально активен в своем земном существовании (с этим представлением и связана педагогическая, филантропическая, издательская, литературная деятельность Новикова).

Нет сомнения, что для Карамзина именно этот путь представлялся наиболее приемлемым. При этом в ходе его интенсивных литературных занятий (переводы Шекспира и Лессинга, сотрудничество в журнале «Детское чтение для вкуса и разума») религиозный подтекст масонской исторической концепции начинает постепенно стираться и, наконец, совершенно утрачивается. Этот процесс идет особенно интенсивно после путешествия 1789—1790 гг. и более широкого знакомства с европейскими просветительскими идеями.

Особое место здесь принадлежит идеям Гердера. До сих пор проблема «Карамзин и Гердер» остается недостаточно исследованной. Эта проблема была затронута немецким ученым Конрадом Биттнером в его работах «Идеи Гердера в историческом мировоззрении Карамзина» и «Юный Карамзин и Германия».⁴ К. Биттнер полагает, что гердеровские идеи оказали воздействие на Карамзина лишь в период его деятельности историографа: с этой точки зрения анализируется только «Записка о древней и новой России» и «История государства Российского». Очень

³ Макогоненко Г. П. Карамзин и Просвещение. — В кн.: Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 306.

⁴ См.: Bittner K. 1) Herderische Gedanken in Karamzins Geschichtsschau. — Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1959, Bd 7, H. 3, S. 237—269; 2) Der junge N. M. Karamzin und Deutschland. — In: Herderstudien Würzburg, 1960, S. 81—94.

кратко говоря о творчестве Карамзина в XVIII в., исследователь считает, что писатель «ни в коей мере не принадлежал к первым и ведущим сторонникам идей Гердера в России».⁵ Между тем обращение к художественным и публицистическим произведениям Карамзина позволяет пересмотреть высказанную К. Битнером точку зрения. Как нам представляется, можно говорить о соотносительности исторических идей Гердера и Карамзина и применительно к периоду его собственно литературной деятельности. При этом нужно, конечно, учесть, что Карамзин, так же как и другие русские писатели, воспринимал эти идеи не только через сочинения самого Гердера, но и опосредованно, «в общем русле просветительского изучения законов развития природы и общества».⁶ Так, к восприятию идей Гердера о «палингенезии» (перехода человека к иному, высшему, состоянию) Карамзин был подготовлен, в частности, благодаря знакомству с сочинением Ш. Бонне «Созерцание природы», главы из которого публиковались в «Детском чтении» в 1789 г. (главы о «единстве и доброте вселенной», о человеке как «самой высшей степени земного совершенства» и др.).⁷

С произведениями самого Гердера Карамзин познакомился тоже еще до путешествия. «Приятно, милые друзья мои, — писал он в «Письмах», — видеть наконец того человека, который был нам прежде столько известен и дорог по своим сочинениям; которого мы так часто себе воображали или вообразить старались».⁸ Здесь же Карамзин упоминает прочитанные им ранее сочинения Гердера, откровенно признаваясь автору, что «Древнейший документ человеческого рода» (1774) казался ему «по большей части непонятным». Особый интерес у Карамзина вызывает сочинение Гердера «Бог. Несколько диалогов» (1787): «Чтение сей маленькой книжки усладило несколько часов в моей жизни». «Русскому путешественнику» очень импонирует отношение Гердера к Спинозе, который представлен как «глубокомысленный философ и ревностный читатель божества, от пантеизма и атеизма равно удаленный» (I, 172). Но несмотря на эту декларацию, Карамзин по существу вполне принимает концепцию гердеровского пантеизма, изложенную в книге «Бог»: «...бог, о ко-

⁵ Bittner K. Herderische Gedanken in Karamzins Geschichtsschau, S. 238.

⁶ Данилевский Р. Ю. И. Г. Гердер и сравнительное изучение литератур в России. — В кн.: Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы. Л., 1980, с. 197.

⁷ По убедительному предположению ряда исследователей (А. Д. Галахова, М. Н. Лонгинова, М. П. Погодина), перевод был осуществлен Карамзиным. Описание встречи с Бонне во время путешествия подтверждает давний интерес Карамзина к произведениям швейцарского философа. См.: Rampe F. Charles Bonnet und Karamsin. — Revue de littérature comparée, 1956, N 1, p. 87—92.

⁸ Карамзин Н. М. Избр. соч. М.; Л., 1964, т. 1, с. 178. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте.

тором идет речь в диалоге, не является творцом мира, это сам мир, состоящий из действующих сил».⁹

Автор «Писем» приводит довольно пространную выдержку из этой книги: пример с отцветающей лилией, доказывающий, что нет смерти в творении: «По изящному закону премудрости и благодати, все в быстрейшем течении стремится к новой силе юности и красоты — стремится и всякую минуту превращается» (I, 173).

Карамзин выделил, таким образом, одну из очень важных идей Гердера, получивших дальнейшее развитие в «Идеях к философии истории человечества» (1784—1791). В пятой книге «Идей» Гердер вернулся к мысли, остановившей внимание Карамзина: «Цветок отцвел, теперь он распадается, потому что уже не годится на то, чтобы и дальше творила в нем сила произрастания; дерево, которое принесло столько плодов, что пресытилось своим делом, умирает, механизм его строения обветшал, и все, что было составлено в единое целое, теперь распадается. Но отсюда отнюдь не следует, что и сила, которая живила целое, которая давала такой мощный рост и плодилась, которая притягивала к себе тысячи сил и царила в целом организме, что эта сила погибает теперь вместе с распавшимся целым».¹⁰

Карамзина могли привлечь в этом примере и объяснении, которое ему дает Гердер, два момента. С одной стороны, здесь обосновывалась идея бессмертия человеческой души, получавшая у Гердера своеобразную натурфилософскую трактовку. Карамзин мог найти ответ на серьезно занимавший его вопрос об отношении души и тела — вопрос, с которым он настойчиво обращался в письмах к И. К. Лафатеру, не получая удовлетворительного ответа ни от него, ни от окружавших его масонов. Представление о созидательной, творческой природе, вытесняющее у Гердера отвлеченное теологическое понятие «бог», оказывалось также чрезвычайно созвучно Карамзину, обожествлявшему «нежную мать Природу».

Второй момент, особенно существенный для Гердера, — идея постоянного развития и совершенствования, применяемая им и к физическому и к духовному миру. Эта важнейшая идея не только не осталась незамеченной Карамзиным, но получила у него своеобразную самостоятельную интерпретацию. Карамзин применяет эту идею и даже самый образ к истории человеческой цивилизации. «Наблюдайте движения природы, — пишет автор «Писем русского путешественника», — читайте историю народов, поезжайте в Сирию, в Египет, в Грецию — и скажите, чего ожидать не возможно? Все возвышается или упадает; народы земные подобны цветам весенним; они увядают в свое время» (I, 363).

⁹ Гцльмга А. В. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». — В кн.: Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, с. 623.

¹⁰ Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, с. 118.

Как и Гердер, Карамзин сближает историю общества с историей природы, проводя прямые аналогии между тем и другим. Вслед за немецким философом Карамзин связывает это представление с идеей о непрерывности развития.

Для Карамзина периода «Московского журнала» оказывается уже неприемлемой масонская концепция истории, но и просветительская концепция в ее руссоистском варианте противоречит представлениям писателя. Если для Руссо с его идеализацией «естественного человека» путь развития неизменно был возвращением к истокам,¹¹ то Карамзина такое решение не удовлетворяет.

В начале 1790-х гг. его отношение к просветительской идее «естественного человека» оказывается противоречивым. Вслед за Руссо Карамзин с восхищением описывает простые нравы швейцарских пастухов, а Швейцарию как «землю свободы и благополучия». Ощущение своего единения с Природой, испытанное им в Швейцарии, и освобождение от страха смерти становится для Карамзина собственным опытом, как бы подкрепляющим философское обоснование идеи бессмертия. Общение с альпийскими пастухами вызывает у путешественника совершенно руссоистские размышления: «Я с радостью отказался бы от многих удобностей жизни (которыми обязаны мы просвещению дней наших), чтобы возвратиться в первобытное состояние человека». Подобные тирады нельзя, однако, принимать за выражение исторической концепции «русского путешественника», настойчиво стремящегося приобщиться к современной ему европейской культуре. Достижения человеческого разума, развитие искусств — все это представляет для Карамзина свидетельства несомненного прогресса в развитии человечества.

Приведенному выше пассажи можно противопоставить ряд других (одновременных!) высказываний из «Писем русского путешественника», опубликованных в «Московском журнале». Описывая красивые строения и хорошо обработанные поля по берегам Соны, Карамзин рассуждает: «Я воображаю себе первобытное состояние сих цветущих берегов... Здесь журчала Сова в дичи и мраке; темные леса шумели над ее водами; люди жили, как звери, укрываясь в пещерах, или под ветвями столетних дубов, — какое превращение!.. Сколько веков потребно было на то, чтобы сгладить с натуры все знаки первобытной дикости» (I, 362—363). Здесь писатель, как видим, весьма далек от идеализации «естественного человека», от веры в реально существовавший «золотой век».

Убежденный в поступательном развитии исторического процесса, Карамзин признает, что в ходе этого развития возможны длительные задержки и даже отступления. Вполне в духе Гер-

¹¹ См.: Лотман Ю. М. Идея исторического развития в русской культуре конца XVIII—начала XIX столетия. — В настоящем издании, с. 82—90.

дера он заключает свои пессимистические размышления о возможной гибели современной цивилизации следующим образом: «Одно утешает меня — то, что с падением народов не упадет весь род человеческий: одни уступают свое место другим, — и если запустеет Европа, то в середине Африки или в Канаде процветут новые политические общества, процветут науки, искусства и художества» (I, 363). Карамзин развивает, таким образом, теорию циклического развития человеческой культуры, воспринятую им, возможно, через К. Ф. Вольнея, о книге которого («Руины, или Размышления о революциях империи») он высоко отозвался в «Московском журнале».¹²

Важно, однако, что в представлении Карамзина вершины отдельных циклов оказываются на разных уровнях, в совокупности образуя восходящую линию: Клопшток ставится выше Гомера, Платон при сопоставлении с Кантом кажется «младенцем». Характерно в связи с этим и отношение Карамзина к спору «древних» и «новых». В «Московском журнале» публикуется перевод рецензии на сочинение Г.-Э. Гроддека «О сравнении древней, а особливо греческой, с немецкою и новейшею литературою». Автор рецензии, поддерживая идеи Гроддека, восстает против неопровержимости авторитета древних: «Но разве сочинения наши суть не что иное, как копии древних? И разве древние без всякого исключения могут быть для нас оригиналами?» Старый спор приобретает новое решение: речь идет не о предпочтении «древних» или «новых», а об «обстоятельствах, в которых образовалась поэзия древних и наша поэзия» (II, 91). Эта идея оказывается, по-видимому, очень созвучна и Карамзину, стремящемуся уже в этот период постигнуть своеобразие античной культуры.

Одним из свидетельств этому опять-таки может служить описание встречи с Гердером в «Письмах» Карамзина. По поводу стихотворения Гете «Моя богиня» Гердер говорит «русскому путешественнику»: «Это совершенно по-гречески». «Гердер, Гете и подобные им, присвоившие себе дух древних греков, — пишет Карамзин, — умели и язык свой сблизить с греческим. . . ни французы, ни англичане не имеют таких хороших переводов с греческого, какими обогатили ныне немцы свою литературу. Гомер у них Гомер; та же неискусственная, благородная простота в языке, которая была душою древних времен, когда царевны ходили по воду и цари знали счет своим баранам» (I, 174—175).

В представлении Карамзина дух древней культуры неотделим от языка, отражающего ее важнейшие особенности. Литература древней Греции с ее пленяющей простотой воспринимается как начальный этап в развитии эстетического сознания человечества.

В связи со сказанным возникает другой вопрос, как нам кажется, принципиально важный для понимания исторической кон-

¹² Московский журнал, 1792, ч. V, кн. 1, с. 150—151. См.: Лотман Ю. М. Эволюция мировоззрения Н. М. Карамзина, с. 130.

цении Карамзина-художника, — вопрос о соотношении мифологии и истории. В 1791 г. в «Московском журнале» публикуется рецензия на книгу «Богоучение, или баснословные повествования древних» («Götterlehre») К.-Ф. Морица. Рецензент (очевидно, сам Карамзин) высоко отзывается о сочинении Морица, который «предлагает митологию (так, — Н. К.) не как собрание запутанных аллегорий, но как язык фантазии». «Сие греческое слово, — делает примечание издатель, — принято во все языки, и мы смело можем употреблять его и в прозе и в стихах». ¹³ Вводя в русский язык слово «фантазия», Карамзин использует его в переводе отрывка из рецензировавшегося сочинения Морица «Нечто о мифологии»: «Мифологические вымыслы должны почитать языком фантазии: в сем смысле составляют они, так сказать, особый мир и не имеют никакой связи с существенностью». ¹⁴ Далее, однако, говорится о том, как мифы соприкасаются с исторической действительностью (например, «боги женятся на дочерях человеческих») и вымыслам придается некоторый характер реальности.

Для Карамзина, уже разделяющего в своем сознании мифологию и историю, в этот период особенно привлекательна поэтическая сторона мифа. Не случайно книга Морица рекомендуется прежде всего «поэтам и художникам».

Вероятно, этим обусловлен и выбор Карамзиным отрывков из «Парамифий» Гердера «Лилия и Роза», «День и Ночь», перевод которых появляется в «Московском журнале». ¹⁵ Эти отрывки могли привлечь Карамзина тем искусным воссозданием античного мировосприятия, которое восхищало самого Гердера в стихотворении Гете «Моя богиня». Миф о создании цветов богинями в передаче Гердера мог восприниматься как изящный вымысел, овеянный духом древней Греции.

Пленительный образ этой страны Карамзин находит и в сочинениях других своих современников — в «Анахарсисе» Бартеlemi и в «Агатоне» Виланда. В «Московском журнале» Карамзин публикует немецкую рецензию на книгу Ж.-Ж. Бартеlemi «Путешествие Анахарсиса». Хотя это не оригинальная статья, а перевод, тем не менее здесь отразился тот двойной принцип подхода к историческому материалу, который был характерен и для русского писателя в данный период, — принцип, соединяющий просветительские и преромантические тенденции. ¹⁶ Карамзин,

¹³ Московский журнал, 1791, ч. 2, кн. 3, с. 326—328.

¹⁴ Там же, 1792, ч. 6, кн. 3, с. 277.

¹⁵ См.: Данилевский Р. Ю. И. Г. Гердер и сравнительное изучение литератур в России, с. 198.

¹⁶ Лузянина Л. Н. К вопросу о формировании взглядов Карамзина на историю, с. 83—84. Точно указывая оригинал, к которому восходит статья Карамзина (Allgemeine Literaturzeitung, Jena, 1789, № 196—197, р. 17—32), А. Г. Кросс справедливо замечает, что в этой переводной рецензии развивались идеи, близкие самому Карамзину, и устанавливает интересные соответствия между текстами Бартеlemi и Карамзина.

очевидно, солидарен с рецензентом, который хвалит автора за внимание к характеру афинского народа. «Изображения сего рода, — говорится в статье, — показывают историка, совершенно вошедшего в дух описываемой им нации».¹⁷

Нельзя забывать, однако, что это не оригинальный текст Карамзина, а перевод. Сопоставление карамзинского текста с немецким оригиналом дает возможность проследить, каковы же были эти «перемены». Карамзин сократил прежде всего те фразы, где рецензент хвалил Бартеlemi за бережное отношение к исторической истине, за тщательное использование исторических источников и т. д. Для русского писателя в этот период важнее другое достоинство книги Бартеlemi — приятность, занимательность. Слово «приятный» у Карамзина употребляется гораздо чаще, чем у немецкого рецензента.

«Приятным» оказывается для Карамзина и роман Виланда «Агатон»,¹⁸ воспринятый им не как «философическая книга», а, по-видимому, опять-таки как поэтическая картина древней Греции. Не достоверность описанных событий, но авторская фантазия, проникнутая духом античности, привлекает сейчас русского писателя. Через произведения Гердера и Виланда мир древней Греции входит в сознание Карамзина, неожиданно соприкасаясь с окружающей его действительностью. Близкие писателю люди получают античные имена: А. А. Плещеева становится Аглаей (по Гердеру, грация невинности, создавшая лилию), А. А. Петров — Агатом. Восприятие древнего мира как мира особого, невозвратно ушедшего в прошлое и делает возможным воскрешение его подобия через античные имена, служащие лишь символами этого мира.

Здесь уже обнаруживается расхождение Карамзина со своими предшественниками, писателями классицизма, которые считали возможным подражать античным авторам, игнорируя временную дистанцию, отделявшую прошлое от современности. Эта дистанция не имела для них значения, поскольку их этические нормы казались им незбываемыми и вечными. У Карамзина же, творчески воспринявшего опыт преромантической европейской литературы того времени, появляется сознание изменчивости правил человеческого общежития, сознание того, что каждая эпоха имеет свой особый характер. Временная дистанция не замалчивается Карамзиным, а всячески выдвигается, подчеркивается.

Свою позицию писатель четко определил в рецензии на «Кадма и Гармонию» Хераскова, почитавшегося крупнейшим ав-

См.: Cross A. G. N. M. Karamzin and Barthélemy's «Voyage du jeune Anacharsis». — The Modern Language Review, 1966, vol. LXI, N 3, p. 468.

¹⁷ Московский журнал, 1791, ч. 3, кн. 1, с. III.

¹⁸ См.: Bittner K. Der junge Karamzin und Deutschland, S 88—89; Данилевский П. Ю. Виланд в русской литературе — В кн.: От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы Л., 1970, с. 338—349.

торитетом в русской литературе той поры. «Это слишком отзывает новизною, — пишет Карамзин о «Кадме». — Это противно духу тех времен, из которых взята басня». Далее следует интересное сопоставление «Телемака Гомерова и Телемака Фенелонова». «Кто не чувствовал великой разницы между ними? Возьми какого-нибудь пастуха — швейцарского или русского, все равно, одень его в греческое платье и назови его сыном царя итакского: он будет ближе к Гомерову Телемаку, нежели чадо Фенелонова воображения, которое есть не что иное, как идеальный образ царевича французского, ведомого не греческою Минервою, а французскою философіею».¹⁹

В этом суждении обращают на себя внимание два основных момента: во-первых, для Карамзина имеет значение дух времени, во-вторых, важно, о какой стране идет речь. Карамзин дифференцирует разные культуры и по временному и по пространственному признакам: «дух времени» имеет для него и определенную национальную окраску. Так, говоря о достоинствах драмы Калидасы «Саконтала», писатель замечает: «...ее можно назвать прекрасною картиною древней Индии, так, как Гомеровы поэмы суть картины древней Греции, — картины, в которых можно видеть характеры, обычаи и нравы ее жителей» (II, 118).

Стремясь познакомить читателя с культурами разных времен и разных народов, Карамзин помещает в «Московском журнале» свои переводы из «Саконталы» и из поэм Оссиана, воспринимавшихся в то время как подлинные произведения фольклора.²⁰ Интерес Карамзина к Оссиану опять-таки связан с его преимущественным (в этот период) вниманием к мифу, а не к историческому факту. Умение проникнуться поэзией северной мифологии, воспроизвести ее «дух» ценит Карамзин-критик в творчестве английского поэта Сеерса.

Античная, древняя северная и древняя восточная культуры — каждая из них имеет для Карамзина свою неповторимую прелесть. У Карамзина появляется уже (очевидно, не без влияния идей Гердера) представление о своеобразии каждой национальной культуры и ее ценности: «Калидас для меня столь же велик, как Гомер» (II, 118). Работая над текстом «Писем русского путешественника», Карамзин стремится выявить своеобразие каждого народа, с которым ему удалось познакомиться. Показательно, в частности, отрицательное суждение путешественника о характере жителей Лозанны, совмещающих в себе черты и французов и швейцарцев: «Сие смешение для меня противно. Целость, оригинальность! Вы во всем драгоценны; вы занимаете, питаете мою душу — всякое подражание мне неприятно» (I, 283). Карамзин еще далек от постижения диалектики общечеловеческого и национального: первое он склонен ставить выше второго, но важно,

¹⁹ Московский журнал, 1791, ч. 1, кн. 1, с. 98—99.

²⁰ См.: Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе. Л., 1980, с. 39—42.

что уже на этом этапе его серьезно занимает проблема соотношения этих категорий.

Вполне закономерно, что Карамзин все с большим интересом начинает относиться и к русской старине, сохранившей национальную самобытность («времена, когда русские были русскими»). Но пока еще, отдавая предпочтение мифу перед историей, русский писатель относится к отечественному прошлому прежде всего как к источнику, питающему авторскую фантазию. Наиболее характерна в этом отношении повесть «Наталья, боярская дочь» (1792). Исследователи правы, считая, что исторический колорит воспроизведен здесь лишь очень относительно.²¹ Даже сам автор счел нужным сделать знаменательное примечание к тексту повести: «Читатель догадается, что старинные любовники говорили не совсем так, как здесь говорят они, но тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать. Надлежало только некоторым образом подделаться под древний колорит» (I, 639). Итак, читатель предупрежден: ему остается только принять условие автора, который предусмотрительно защитил себя от упреков в нарушении исторической правдоподобности. Вместе с тем примечание Карамзина настойчиво напоминает о временной дистанции: люди минувших времен «говорили не совсем так, как здесь говорят они». В продолжение всего повествования происходит это противопоставление прошлого и настоящего. Карамзин выделяет те черты старинного быта, которые не находят соответствия в современной жизни. При этом картина древней Руси создается и позитивными приемами (описание некоторых старинных обычаев, упоминание отдельных реалий: цит с надписью «С нами бог: никто же на ны» и т. п.) и негативными: постоянными указаниями на те стороны современной жизни, которые были незнакомы людям прошлого. В решении судебной тяжбы боярин Матвей ссылается на свое чувство справедливости («Сей прав по моей совести, сей виноват по моей совести»), а не на «указ, состоявшийся в таком-то году»; главное развлечение Натальи — посещение церкви, а не клубов и маскарадов. Сопоставление далеко не всегда содержит критику современности и распространяется до мельчайших деталей быта: боярин Матвей засыпает после обеда «не на вольтеровских креслах, так, как ныне спят бояре, а на широкой дубовой лавке» (I, 634). О том, что происходит «ныне» в «осьмом—надесять веке», читатель может узнать многое из этой исторической повести, собственно гораздо больше, чем о той эпохе, к которой отнесено действие. Главное, писателю важно показать, что «ныне» люди думают и говорят и ведут

²¹ См.: Brang P. Studien zur Theorie und Praxis der russischen Erzählung 1770—1811. Wiesbaden, 1960, S. 155—156; Канцнова Ф. З. Из истории русской повести (Историко-литературное значение повестей Н. М. Карамзина). Томск, 1967, с. 91—94; Kosny W. Zum Problem der historischen Erzählung bei N. M. Karamzin. — Die Welt der Slaven, 1968, Jg. XIII, H. 3, S. 251—281.

себя не так, как прежде, в старину. Меняется все: общественный уклад жизни, обычаи, нравы. Постоянным же оказывается лишь одно — движение самого времени: «время и в старину так же скоро летело, как ныне» (I, 632).

Давно уже было замечено, что в повести «Наталья, боярская дочь» старая Русь представала в идеализированном виде. Один из современников Карамзина С. Глинка подчеркнул именно эту сторону повести в своем стихотворении «Послание к родине моей. 1797»:

Прошли те времена блаженны, несравненны,
В «Наталье» живо толь изображенны,
Когда все жили с простотой,
Когда родных, друзей любили всей душой;

Когда все родину, как нежну мать, любили,
Когда любезную хлеб-соль водили;
Когда всяк русский русским был,
И в уголке своем то счастье находил,
За коим в дальние страны теперь летаем.

Конечно, идеализация прошлого была связана и со скептическим отношением писателя к современному укладу общественной жизни.²² В этом Карамзин остается продолжателем уже существовавшей традиции русской литературы XVIII в.

Между тем вопрос о преимуществах старого или нового времени решался далеко не однозначно, что объясняется противоречиями исторической концепции Карамзина.

Русская старина, изображенная в «Наталье, боярской дочери», представляла собой некоторую параллель карамзинской Швейцарии. Каждый из героев повести — Наталья, Алексей, боярин Матвей и даже сам государь — близок к идеалу «естественного человека». Все они простосердечны, добры, искренни и во многом наивны. Им как бы противостоит образ автора повести и его «любезного читателя» — людей иной эпохи, знакомых с сочинениями Локка и Руссо, с языком романов, людей «цивилизованных». Автор относится к героям с симпатией, но к ней примешивается и значительная доля иронии.

«Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! — писал Карамзин в «Письмах русского путешественника». — Грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею в самом высшем состоянии, — для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям» (I, 417—418). Это суждение, включенное в одно из парижских писем, было опубликовано позднее, чем «Наталья, боярская дочь». Однако эти слова, которые могли быть высказаны и в более ранний период, во многом объясняют позицию

²² См.: Федоров В. И. Повесть Н. М. Карамзина «Наталья, боярская дочь». — Учен. зап. Моск. пед. ин-та им. В. П. Потемкина, 1955, т. XLVIII, вып. 5, с. 112—113.

автора повести. Характеристика старины в каждом случае, казалось бы, диаметрально противоположна, но по существу предпочтение новейшего времени сохранялось: оно ощутимо и в тексте повести, несмотря на отдельные саркастические замечания, относящиеся к современности. Особенность противопоставления двух эпох в «Наталье, боярской дочери» в том, что настоящее оценивается трезво, без всяких скидок; прошедшее же предстает в идеализированном виде. Как бы разъясняя смысл собственной повести, в «Письмах» Карамзин заметил: «Все жалкие *церемиады* об изменении русского характера, о потере русской нравственной физиогномии или не что иное, как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении» (I, 417). Связь этого высказывания с известными начальными строками «Натальи, боярской дочери» о тех временах, когда «русские были русскими», очевидна. Итак, превозносить старину, которая в действительности невыгодно отличается от современности своей грубостью и несовершенством, можно только в шутку? Да, с точки зрения рационалиста, сторонника научного и культурного прогресса. Нет, с точки зрения художника, ощущающего неповторимую прелесть эпохи, ушедшей в прошлое. И то, и другое было присуще Карамзину, воспитаннику просветительской философии и писателю-сентименталисту.

В «Бедной Лизе», «Наталье», «Лиодоре» автор обнаруживает, что старина имеет для него особую притягательность, — свойство совершенно не замечавшееся в литературе классицизма. «Все прошлое — уже тем одним, что оно отодвигается к горизонту, — становится источником поэзии»,²³ — заметил Б. М. Эйхенбаум, говоря о новизне эстетических принципов Карамзина. Но в первых повестях писателя эта поэтизация прошлого оказывается не чем иным как одной из сторон сознания просвещенного человека «осьмого—надесять века». Новый герой литературы сентиментализма отличается своей чуткостью и восприимчивостью ко всему прекрасному: способность восхищаться стариной — это тоже качество, отличающее чувствительного героя с его необычайно развитым чувством изящного. Важна не сама по себе старина, а умение проникнуться ее обаянием: отношение к старине характеризует современного читателя человека.

Постоянная соотнесенность прошлого с настоящим и создавала тот иронический стиль, который характерен для повести «Наталья, боярская дочь», особенно в ее первой журнальной редакции.²⁴ Понятия, связанные с бытом то старого, то нового времени, оказывались в непосредственном соседстве — это и созда-

²³ Эйхенбаум Б. М. Карамзин. — В кн.: Эйхенбаум Б. О прозе. Сборник статей. Л., 1969, с. 204.

²⁴ Как заметил П. Брант, в первой редакции повести по сравнению с последующей значительно больше высказываний, относящихся к современности (например, упоминание «магнетического пальца Месмера» и т. п.).

вало комический эффект, который помогал читателю разграничить две эпохи.

Однако разграничение проводится Карамзиным далеко не последовательно: в поведении Алексея и Натальи (не говоря уже об их языке) есть черты, свойственные скорее «чувствительным» влюбленным XVIII в., чем героям описываемого времени.

С другой стороны, Карамзин не всегда последователен и в изображении национальных черт прошлого. Иногда старина выступает у писателя как некое нерасчлененное понятие: не русская старина, а старина вообще. Поэтому в повесть «Наталья, боярская дочь» оказывается возможным включить стилизованную фразу, написанную «языком оссианским». В повести «Лиодор» при описании старых времен упоминаются «те веселые минуты, когда Оссианская чаша радости вокруг ходила»,²⁵ хотя речь идет о прошлом России.

Упрек, адресованный Карамзиным Хераскову, в какой-то степени мог быть обращен и к самому автору «Натальи, боярской дочери». Оказывалось очень нелегко уловить «дух времени» и передать его так, чтобы привлечь современного читателя. Перед Карамзиным-писателем и здесь возникает вопрос о соотношении исторической достоверности и художественного вымысла, истории и мифа.

В рецензии на постановку «Сида» в русском театре Карамзин писал: «... есть такие приключения, которые хороши только для историка, а не для драматического поэта. Историк должен описывать все, как было, не думая о впечатлении, которое сделает в читателе описываемое им приключение; но драматический поэт должен иметь у себя в предмете известное действие, то есть он должен производить в зрителе или радость, или горесть» (II, 105—106). Умение писателя отобрать факты, почерпнутые из истории, и их художественно интерпретировать, «выбрать, одушевить, раскрасить», говоря словами самого Карамзина, проявилось и в «Наталье», и в «Письмах русского путешественника».

«Письма» занимают особое место в творчестве Карамзина-беллетриста. В этом произведении, создававшемся на протяжении 1790-х годов, нашли отражение важнейшие вопросы, волновавшие Карамзина и как художника, и как публициста. Проблемы истории, естественно, занимают здесь видное место. Как показано в новейших исследованиях,²⁶ «Письма», написанные по живым следам революционных событий во Франции, проникнуты новым представлением о современности как истории в настоящем, как о результате предшествовавшей жизни нации. Каковы же суждения автора «Писем» об эпохах, ушедших в прошлое?

²⁵ Московский журнал, 1792, ч. V, кн. 3, с. 315.

²⁶ Макогоненко Г. П. Карамзин и Просвещение; Иванов М. В. Проблемы истории и французская революция в творчестве Карамзина 1790-х годов. — Русская литература, 1974, № 2, с. 134—142.

Читатель «Писем», естественно, мог ожидать обильных исторических экскурсов, связанных с описанием достопримечательностей Европы. Эти экскурсии, действительно, довольно многочисленны, но они имеют совершенно особый характер. Не стремясь ослепить читателя «учебой пылью», Карамзин избегает всякой перегрузки текста датами и фактами, недостаточно занимательными, с его точки зрения. Главным временным фоном для автора «Писем» неизменно остается настоящее, и «знаки минувших столетий» интересуют путешественника в их соотносительности с современностью. Исторические примеры не лишены при этом традиционного дидактизма.

Повествуя о судьбе герцога Рогана, главы протестантов, покоровшего врагов своим благородством, автор «Писем» заключает: «Так торжествует добродетель, и друг человечества проливает радостные слезы! — Подобные черты великодушия суть блестящие перлы в мрачной истории веков». (I, 316). Памятники выдающимся историческим деятелям вызывают у русского путешественника размышления о их характере, их роли в судьбе своей страны.

По сравнению с Гердером Карамзин значительно теснее связан с просветительскими традициями, и это проявилось прежде всего в двух аспектах: в отношении к средневековью и в трактовке образа Петра I.

Говоря об экспонатах, хранящихся в Бернском музее, Карамзин характеризует средневековье следующим образом: «Не знаю, любезные друзья мои, какой хлад разливается по моим жилам при виде памятников рыцарского времени, когда люди всегда более верили руке своей и — провидению; когда число побед бывало числом достоинств человека и когда в храбрости вмещалось понятие всех добродетелей» (I, 271). Очевидно, писателю чужда суровая этика «рыцарского времени».

Порицая Ш. Левека, не оценившего исторических заслуг Петра, Карамзин выступает как непосредственный преемник русских просветителей XVIII в., которые на протяжении нескольких десятилетий изображали Петра идеальным государем. Вполне в духе этой отечественной традиции Карамзин противопоставляет Петра Людовику XIV: «... сии два героя были весьма неравны в великости духа и дел своих. Подданные прославили Людовика, Петр прославил своих подданных» (I, 343).

Однако принципы идеализации Петра у Карамзина уже во многом отличаются от его предшественников. Характерно, в частности, отношение путешественника к анекдоту о словах Петра, якобы сказанных в похвалу Ришелье внуку этого кардинала: «Твой дед был величайший из министров, я отдал бы половину своего государства за то, чтобы научили меня править другою, как он правил Франциею». «Не верю этому анекдоту, — заявляет Карамзин, — или государь наш не знал всех злодейств кардинала, хитрого министра, но свирепого человека, врага непримиримого,

хвастливого покровителя наук, но завистника и гонителя великих дарований» (I, 454—455). Кроме критерия пользы писатель выдвигает другой, еще более важный — нравственный критерий оценки исторической личности. Петр предстает как идеальный государь, потому что он не только замечательный политик, но и человек, обладающий высокими моральными достоинствами. В этой связи вполне закономерно, что в 1798 г. у Карамзина появляется замысел написать «Похвальную речь Петру I».²⁷ Позднее, как известно, писатель изменил свое отношение к деятельности Петра, что ярко проявилось в «Записке о древней и новой России» (1811).

Поворотный момент в отношении к Петру К. Биттнер связывает с воздействием на Карамзина идей Гердера, его представлений о национальном характере. С этим положением можно согласиться, однако, лишь с серьезными оговорками. Как мы видели, Карамзин значительно раньше воспринял многое из гердеровской концепции истории. Мысль о ценности самобытной национальной культуры зародилась у Карамзина уже давно, в период «Московского журнала». Но в пересмотре традиционной трактовки Петра Карамзину препятствовало несколько очень серьезных обстоятельств: во-первых, сильное влияние традиции русского Просвещения, неразрывно связывавшего с Петром представление о прогрессе в истории русской нации; во-вторых, сам Петр для Карамзина, автора «Писем», — это национальный герой, соотечественник писателя: образ Петра — символ России, к которой мысленно все время обращается путешественник, наблюдающий жизнь европейских стран.

Резкое изменение отношения Карамзина к Петру при всей своей неожиданности было подготовлено исподволь и, разумеется, не только идеями Гердера и других европейских мыслителей, но прежде всего событиями современности. Просветительская уверенность в прямолинейно-поступательном движении истории оказалась серьезно поколебленной революционными событиями во Франции.

В «Письмах», опубликованных в «Московском журнале», есть уже косвенные отклики на события французской революции. Составляя эти отклики с рецензиями и другими материалами карамзинского издания, исследователи показали, что отношение писателя к французской революции было во многом сочувственным и, безусловно, далеким от официальной реакции.

Перелом наступил, когда до Карамзина дошли известия о якобинской диктатуре (июнь—июль 1793 г.).²⁸ Мысль о возможной гибели современной цивилизации, высказанная в «Московском журнале» еще как некое отвлеченное философское рассуждение, с 1793 г. приобретает для Карамзина трагический смысл.

²⁷ Карамзин Н. М. Письма к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 102.

²⁸ См.: Макогоненко Г. П. Литературная позиция Карамзина в XIX веке, с. 78—79.

В переписке Мелодора и Филалета, опубликованной в «Аглае», сомнения Карамзина в прежних идеалах нашли наиболее яркое выражение. Мелодор вспоминает, как они с Филалетом, «сличая разные времена, древние с новыми, искали и находили доказательство любезной им мысли. что род человеческий возвышается и хотя медленно, хотя неровными шагами, но всегда приближается к духовному совершенству» (II, 246). Кровопролитная война в Европе ужасает Мелодора: не столько сама по себе, сколько ее последствия страшат его. Представляя себе «падение наук», Мелодор с тревогой спрашивает: «... что же будет с миром, с *целым* человеческим родом?» (II, 248). Но Филалет, «другой голос» Карамзина, стремится найти утешительные аргументы. Размышляя об историческом пути человечества, Филалет уже намечает определенные закономерности. Впервые у Карамзина здесь появляется новое отношение к средневековью, прежде знаменовавшему для него эпоху варварства (так о ней и пишет Мелодор). «Ты указываешь мне, — отвечает Филалет, — на варварство средних веков, наступившее после греческого и римского просвещения; но самое сие так называемое варварство (в котором, однако ж, от времени до времени сверкали блестящие, зрелые идеи ума) не послужило ли *в целом* к дальнейшему распространению света наук?» (II, 257). Соответственно утверждается и отношение к древнегреческой культуре как к раннему периоду развития человечества, его юности: «Самые греки — я люблю их, мой друг, но они были не что иное, как — милые дети! Мы удивляемся их разуму, их чувству, их талантам, но так, как взрослый человек удивляется иногда разуму, чувствам и талантам юного отрока» (II, 257). Теперь писателю важно подчеркнуть не цикличность исторического развития, а его поступательный характер («веки служат разуму лестницею, по которой выпяется он к своему совершенству, иногда быстро, иногда медленно») и неповторимость каждой эпохи («всякий век имеет свой особый нравственный характер, — погружается в недра вечности и никогда уже не является на землю в другой раз») (II, 258).

Представление о неповторимом, наивном и прекрасном мире древней Греции, навсегда ушедшем в небытие, отразилось в повести Карамзина «Афинская жизнь». Обнаруживая тесную связь повести с эволюцией всего мировоззрения писателя, Ю. М. Лотман справедливо заметил: «Специфика повести в том, что вся ее сюжетная часть описывает не реальные жизненные факты, а условный мир, созданный произволом авторской фантазии».²⁹ Для нас, однако, важно, что мир, привлекающий воображение Карамзина, при всей своей условности — не абстракция, он имеет определенные хронологические и пространственные координаты. В этом отношении «Афинская жизнь» продолжает попытку, предпринятую в «Наталье, боярской дочери»: там старая Русь, здесь древ-

²⁹ Лотман Ю. М. Эволюция мировоззрения Н. М. Карамзина, с. 144

няя Греция. И то и другое в повестях Карамзина не соответствует исторической правде. Писатель по-прежнему далек от пропикновения в истинный «дух эпохи». Но, как и в «Наталье», в «Афинской жизни» принципиальное значение имеют упоминания о «нашем веке», о том, что происходит «ныне». От древнегреческого мира, мира мечты, писатель возвращается к окружающей его реальности: «Я сижу один в сельском кабинете своем, в худом шлафроке (параллель «пурпуровой греческой мантии» — тот же прием, что в «Наталье», — Н. К.) и не вижу перед собой ничего, кроме догорающей свечки, измаранного листа бумаги и гамбургских газет, которые завтра поутру (а не прежде, ибо я хочу спать нынешнюю ночь покойным сном) известят меня об ужасном безумстве наших просвещенных современников».³⁰ Противопоставляя печальному настоящему гармонический мир древней Греции, Карамзин увеличивает и пространственные и временные расстояния по сравнению с повестью «Наталья, боярская дочь». В «Наталье» изображается старина сравнительно не такая давняя — XVII век, притом старина отечественная. Между прошлым и настоящим существуют еще какие-то связующие нити. Характерно, например, упоминание о «поселянах, которые и по сие время ни в чем не переменялись, так же одеваются, так живут и работают, как прежде жили и работали» (I, 627). В отличие от этой старины древние Афины — это уже бесконечно далекое прошлое, а чем дальше эта дистанция, тем больше свободы для художественного вымысла, для спасительной фантазии, уводящей от страшного сегодняшнего дня.

В период кризиса Карамзин более, чем когда-либо, готов предпочесть миф истории. Но замечательно, что одно от другого все более четко разграничивается в сознании писателя. Миф о «золотом веке», о счастливом существовании древних воспринимается исключительно как вымысел. Карамзин обращается к прямой полемике с Руссо и в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении» решительно отвергает его историческую концепцию. Счастливая Аркадия «есть не что иное, как приятный сон, как восхитительная мечта сего самого воображения. По крайней мере. — заявляет Карамзин, — никто еще не доказал нам исторически, чтобы она когда-нибудь существовала. Аркадия Греции не есть та прекрасная Аркадия, которую древние и новые поэты прельщают наше сердце и душу» (II, 130).³¹

Развивая концепцию, противостоящую руссоистской, Карамзин стремится защитить завоевания просветительской мысли с новых позиций, прямо или опосредованно используя гердеровские идеи о единстве и непрерывности исторического развития человечества. Преодолевая духовный кризис, Карамзин постепенно приходит к новому пониманию истории. События современности начинают осмысляться писателем как события исторические.

³⁰ Аглая, кн. 2. М., 1794, с. 59—60.

³¹ Курсив мой, — Н. К.

Французская революция, опрокинувшая устои и представления, казавшиеся незыблемыми, предстает теперь в сознании Карамзина как событие выдающееся, но не изолированное, в ряду других: с одной стороны, оно имеет свои истоки, предпосылки, с другой — влечет за собой следствия, целую цепь новых событий. Такая точка зрения проявилась уже в статье Карамзина 1797 г., напечатанной для журнала «Spectateur du Nord». «Французская революция, — писал здесь автор «Писем русского путешественника», — отнесится к таким явлениям, которые определяют судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха. Я это вижу, а Руссо предвидел» (II, 152).

Взгляд на современность как на один из этапов развития человеческого общества давал новые возможности Карамзину как художнику. Писатель отходит от прежнего принципа изображения прошлого. Хронологическая дистанция, разделяющая старину и нынешнее время, приобретает новый смысл: раньше старина нужна была для более полной характеристики «нашего просвещенного времени», старина представлялась областью для игры авторского воображения, теперь она интересует писателя прежде всего сама по себе, как некая объективная данность. Теперь Карамзин стремится понять характер и значение этой «связи времен» прежде всего на материале отечественного прошлого. В «Вестнике Европы» (1802—1803) отчетливо проявляется новая тенденция в творчестве Карамзина: предпочтение не мифа, а исторического факта.

Если в период «Московского журнала» Карамзин подчеркивал прежде всего «приятность» книги Бартелеми, то теперь, в рецензии на русский перевод «Анахарсиса», издатель «Вестника Европы» пишет об авторе: «Читая книгу его, мы видим и слушаем греков, пространство времени исчезает, и глубокая древность является нам в блеске и свежести настоящего».³²

В статье «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств» (1803) писатель рекомендует художникам изображать тех героев прошлого, существование которых подтверждено историческими свидетельствами: «Если бы Гостомысл был в самом деле историческим характером, то мы, конечно бы, захотели его изображения; но Нестор не говорит об нем ни слова» (II, 190). Миф не отвергается, но отношение к нему становится принципиально иным: сам миф воспринимается как порождение своей эпохи. «Во всяких старинных летописях есть басни, освященные древностию и самым просвещенным историком уважаемые, особливо если они представляют *живые черты времени*. . .» (II, 190).

Карамзин стремится понять особенности русского национального характера, сформировавшегося в течение многих веков. Возвращение к прошлому опять-таки помогает понять настоящее, предугадать будущую судьбу своего народа. Знаменательны за-

³² Вестник Европы, 1803, ч. 10, № 13, с. 57—58.

ключительные слова статьи: «...в девятом—надесять веке один тот народ может быть великим и почтенным, который благородными искусствами, литературою и науками способствует успехам человечества в его славном течении к цели нравственного и душевного совершенства!» (II, 198). Карамзин теперь не противопоставляет национальное общечеловеческому, но, в духе Гердера, начинает рассматривать их в неразрывной связи.

Очевидно, в период издания «Вестника Европы» Карамзин продолжал проявлять интерес к сочинениям немецкого философа. Можно предполагать, что перевод из Гердера, появившийся в «Вестнике Европы» в 1804 г., был в числе «заготовок» Карамзина, только что отошедшего от редактуры журнала. Статья «Человек сотворен для ожидания бессмертия»,³³ представляющая перевод отрывков из IV и V книг «Идей к философии истории человечества», сохраняет «гуманистический смысл оригинала».³⁴ Выбор отрывков тематически и идейно связан с предшествовавшим обращением Карамзина к Гердеру. Но восприятие гердеровских идей обогащено теперь у русского писателя собственным опытом и опытом своих соотечественников, начинающих разгадывать тайну национальной самобытности.

Оставаясь приверженцем идеи прогресса в историческом развитии человечества, Карамзин возвращается к переосмыслению руссоистской просветительской концепции, пытаясь по-своему согласовать одно с другим. В «Записках старого московского жителя» писатель развивает мысль о том, что возвращение к природе — это и есть следствие просвещения, так как «любовь к натуре предполагает вкус нежный, утонченный искусством». Далее Карамзин проводит важную для него аналогию: «Как первые приемы философии склоняют людей к вольнодумству, а дальнейшее употребление сего драгоценного эликсира снова обращает их к вере предков, так первые шаги общежития удаляют человека от натуры, а дальнейшие снова приводит его к ней».³⁵ Эта концепция не совпадает с руссоистской, но представляет собой одну из попыток Карамзина сочетать идею прогресса с представлением о целности традиции.³⁶

«Вера предков» — очень важное и емкое понятие для Карамзина. «Вера предков» — это и политический символ, с которым связана убежденность Карамзина в спасительности монархического правления. Но «вера предков» — это и символ национального, это и история и неотделимая от нее мифология, отражающая самобытность мировосприятия не отдельного человека, но русского народа в целом.

³³ Вестник Европы, 1804, № 6, с. 71—90.

³⁴ Данилевский Р. Ю. И. Г. Гердер и сравнительное изучение литератур в России, с. 210.

³⁵ Вестник Европы, 1803 ч. 10, № 16, с. 279.

³⁶ См.: Лотман Ю. М. Идея исторического развития в русской культуре конца XVIII—начала XIX столетия, с. 82—90 настоящего издания.

Новое понимание соотношения между историей и мифологией воплотилось в повести «Марфа Посадница». Замечательно, что обращение к «вере предков» оказывается связанным для Карамзина с новгородской темой. Карамзин возвращается к давнему спору Екатерины II и Я. Б. Княжнина, противопоставившего свою трагедию «Вадим новгородский» пьесе императрицы «Историческое представление из жизни Рурика». Образ Вадима трактуется совершенно по-разному, и обусловлено это прежде всего различными представлениями о русском национальном характере. В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева тема вольного Новгорода оказывается неотъемлемой частью социально-исторической концепции писателя-революционера.³⁷

По-своему подходит к этой теме Карамзин. «Марфа-посадница» более чем какая-либо другая его повесть связана с современной писателю действительностью, со злободневными проблемами конца XVIII—начала XIX века, обсуждавшимися в карамзинской публицистике периода «Вестника Европы». Вопрос о предпочтении республики или монархии, давний и мучительный вопрос, занимает в этой «политической» повести центральное место. Невозможно согласиться с утверждением, что Карамзин выступает здесь как «беспристрастный наблюдатель исторического процесса».³⁸ Достаточно напомнить, что повесть приписывается одному из новгородцев, более того, отмечается, что «при описании некоторых случаев кровь новгородская явно играет в нем» (I, 684). Но и прошлое в новой повести Карамзина — это не только аналогия настоящему, но его предыстория, истоки, уводящие к тому самому средневековью, которое раньше воспринималось как эпоха варварства.

Именно Марфа, новгородка, становится главным действующим лицом в повести и выступает как пример героического национального характера. Ее образ идеализирован по сравнению с Марфой, известной по историческим свидетельствам. Как бы предостерегая слишком наивного и доверчивого читателя, Карамзин назвал свою повесть сказкой в «Известии о Марфе Посаднице, взятом из жития св. Зосимы». «И без сказки, напечатанной в „Вестнике Европы“, — говорилось в этой статье, — все мы знали, что Марфа Посадница была чрезвычайная, редкая женщина» (II, 227). Исследователи установили, что в повести Карамзина есть ряд существенных отклонений от летописных свидетельств.³⁹ Эти отступ-

³⁷ Makogonenko G. P. A. N. Radščev und das Problem des Historismus. — Aus der Geschichte der Herausbildung des historischen Denkens in Rußland im letzten Drittel des 18. Jhs. — Wissenschaftliche Zeitschrift. Karl-Marx-Universität. Leipzig. Gesellsch. und Sprach. wissensch. Reihe, 1977, 26 Jhg., H. 4, S. 285—296.

³⁸ См.: Бранс П. Очерки по истории русской повести. Висбаден, 1960, с. 175.

³⁹ См.: Федоров В. И. Историческая повесть Н. М. Карамзина «Марфа Посадница». — Учен. зап. Моск. пед. ин-та им. В. П. Потемкина, 1957, т. LXVII, вып. 6, с. 114—116; Крестова Л. В. Древнерусская повесть

ления были вполне сознательны: по убеждению Карамзина, писатель-беллетрист в отличие от историка сохраняет за собой право на вымысел. Однако вымысел нужен здесь автору не для того, чтобы «украсить, позолотить, улучшить историю, а для того, чтобы заострить ситуацию и характеры, придать истории эстетическую яркость, картинность, впечатляемость.⁴⁰ К этому следует добавить еще одно соображение: разграничивая подлинную историю Марфы и миф о ней, Карамзин стремится сохранить в мифе главное: дух эпохи, проявляющийся в героическом характере защитницы вольного Новгорода.

И Наталья, и Марфа — идеализированные образы, но принципы идеализации существенно различаются. Наталья — стереотип героини сентиментальной повести, который может существовать вне времени и пространства. Марфа — образ, воплощающий черты русского национального характера. О примерах такого рода и говорил Карамзин в статье «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств» (1802), статье, справедливо названной «манифестом» писателя, определяющим его общественно-литературную позицию в начале XIX в.⁴¹ Представление о героическом характере русского народа, сложившееся у писателя в результате его знакомства с отечественной историей, служит основой для создания образа, как бы заранее заданного.

Вместе с тем область авторской фантазии теперь значительно сужается: исторический материал служит рамкой, за пределы которой выходить уже нельзя. Этому принципу подчиняется и категория времени; становятся невозможны хронологические скачки, допускаясь в ранних повестях.

Автор гораздо глубже вошел в «дух эпохи» и научился передавать его, не прибегая к прямым сопоставлениям с тем, что происходит «ныне». Обращает на себя внимание, во-первых, характер авторских примечаний к тексту повести: они представляют собой деловые ссылки на исторические источники или пояснения тех слов и понятий, которые могли быть неясны читателю начала XIX в. Вмешательство авторского голоса в повествование, непосредственные обращения к «любезному читателю» — все эти приемы, типичные для ранних повестей Карамзина, теперь решительно отвергаются. В предисловии писатель даже подчеркивает свою якобы посредническую роль: он только «издатель сей повести», написанной неким «старинным автором», «одним из знатных новгородцев». Вмешательство «издателя», по

как один из источников повестей Карамзина. — В кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1961, с. 216—217.

⁴⁰ Карлова Т. С. Эстетический смысл истории в творческом восприятии Карамзина. — В кн.: XVIII век. Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII—начала XIX века. Л., 1969, с. 287.

⁴¹ Макоголенко Г. П. Литературная позиция Карамзина в XIX веке, с. 91—92.

его признанию, ограничивается только исправлением «темного и невразумительного слога». Это заявление для нас интересно как определенная установка автора, стремящегося к максимуму достоверности в передаче «духа эпохи».

Выявив свои республиканские симпатии, Карамзин стремится, однако, показать неизбежность падения вольного Новгорода. Внешней причиной поражения новгородцев оказывается измена Дмитрия Сильного во время решающего сражения: «Дмитрий изменил согражданам!.. Не исполнил повелений вождя, завел стражу в непроходимые блата, не встретил врага и дал ему время окружить наше войско» (I, 713). Однако эту опасность Марфа могла предвидеть. Она сама рассказывала старцу Феодосию о Дмитрии: «Сильна рука его, но сердце коварно: он встретил за городом посла Иоаннова и тайно говорил с ним» (I, 697). Появление предателя в среде вольных новгородцев — это факт, решающий судьбу новгородской республики: «... автор дает довольно прозрачно понять, что люди в Новгороде находятся на той степени нравственности, „на которой республики падают“». ⁴²

Трудно, однако, принять утверждение, что в «Марфе Посаднице» «исход сюжетного развития полностью подчинен авторскому произволу». ⁴³ Напротив, как нам кажется, по сравнению с «Натальей, боярской дочерью» «Марфа» знаменует новый этап в творчестве Карамзина, стремящегося теперь уловить логику исторических событий, проследить их закономерности. В «Наталье» — «хороший конец» по воле автора, в «Марфе» — конец не может быть однозначным, в самом примитивном смысле он скорее «плохой», чем «хороший»: Марфа погибает. Но ее судьбу решает история, и писателю важно показать, что каждое отдельное событие предопределено другим: «Мудрый Иоанн *должен был* (курсив мой, — Н. К.) для славы и силы отечества присоединить область Новгородскую к своей державе», «им (новгородцам, — Н. К.) *должно было* предвидеть, что сопротивление обратится в гибель Новгороду, и благоразумие требовало от них добровольной жертвы» (I, 680).

Такой подход к историческому материалу не отдалял писателя от современности, а приближал к ней. «Я не верю той любви к отечеству, — писал Карамзин, — которая презирает его летописи или не занимается ими: надобно знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, должно иметь сведение о прошедшем» (II, 189).

Давний интерес Карамзина к теории циклов все больше оказывается связан с осмыслением современных писателю событий. В «Вестнике Европы» он печатает перевод «Истории французской революции, избранной из латинских писателей». Карамзину

⁴² Лотман Ю. М. Эволюция мировоззрения Н. М. Карамзина, с. 159.

⁴³ Лотман Ю. М. Пути развития русской прозы 1800—1810-х годов. — Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та. Труды ист.-филол. фак-та, 1961, вып. 104, с. 36.

показался любопытным этот опыт истории, авторы которой «не прибавляют ни слова к латинским классикам, переводят их и ставят внизу текст». разъясняющий, к какому моменту французских событий следует отнести приведенный отрывок. В предисловии, обосновывая свою идею, авторы говорят о древних историках: «Многие места в их сочинениях суть верные зеркала, в которых мы себя видим. Сходство так велико, что оно изумляет и трогает до глубины сердца. Это истинное пророчество, коему надлежало бы привести нас в рассудок и предупредить многие бедствия, ибо здесь видим не легкие случайные подобию, но целые и великие картины, сходные между собою для того, что человеческая природа во все времена одинакова».⁴⁴ Обращение к историкам прошлого как «наставникам рода человеческого», казалось бы, возвращает к просветительскому пониманию истории. Но для Карамзина это был уже давно пройденный этап: к старой идее (история — урок современности) писатель подходит совершенно по-новому, на новом уровне: принимая ее в комплексе других сложившихся к этому времени эстетических и философских представлений, начиная постигать внутреннюю закономерность и предопределенность исторических событий.

Как и для Гердера, история сохраняет для Карамзина-писателя свой этический смысл, и одно из ярких свидетельств этому замечательное стихотворение «Тацит» (1797):

Тацит велик, но Рим, описанный Тацитом
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего.
Терпя, чего терпеть без подлости не можно.⁴⁵

И это стихотворение, и «Марфа Посадница» представляют собой примеры использования исторической темы для выражения гражданской позиции автора. В этом отношении Карамзин продолжает традиции русской литературы XVIII в. Мир прошлого постепенно приобретает в сознании писателя все большую конкретность и осязаемость: этот мир живет не по прихоти авторской фантазии, а по неким внутренним законам, обуславливающим развязку каждого конфликта. Самая временная дистанция, отделяющая прошлое от современности, выступает теперь как нечто подвижное: старина — это уже не однозначное понятие, как в «Наталье, боярской дочери», старина меняет свое лицо и предстает в постоянной динамике, развитии.

Старина уже не мыслится Карамзиным как нечто вненациональное: миф — это не произвольный вымысел, но тоже часть

⁴⁴ Вестник Европы, 1802, № 1, с. 20.

⁴⁵ Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений. М.: Л., 1966, с. 239. (Библиотека поэта. Большая серия).

истории определенного народа определенной эпохи. Обратившись к серьезному изучению отечественного прошлого, Карамзин открывает для себя как художника новый подход к истории. Соотнесенность прошлого с настоящим ощущается писателем по-новому: его главное внимание привлекает теперь проблема национального. «Чувство, мы, наше, оживляет повествование, — писал Карамзин в предисловии к «Истории государства Российского», — и как грубое пристрастие, следствие ума слабого или души слабой несносно в историке, так любовь к отечеству дает его кисти жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет и души».⁴⁶

⁴⁶ Карамзин П. М. История государства Российского. СПб., 1833, т. 1, с. XXI.

Л. Н. ЛУЗЯНИНА

**ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ КАРАМЗИНА —
АВТОРА «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»**

Среди писателей переходной эпохи — последних десятилетий XVIII и первых XIX в. — нет писателя, чье творчество столь многогранно отразило бы сложные пути формирования историзма в литературе и общественной мысли, как творчество Н. М. Карамзина. Ему суждено было, вобрав многообразный комплекс идей «осмнадцатого столетия», пережить их историческую проверку и идти далее в новый век с его новыми требованиями, критериями, новыми испытаниями. Писатель и человек XVIII в., Карамзин достойно вошел в литературу нового времени, и вошел прежде всего как автор «Истории государства Российского», произведения, вокруг которого кипели страсти «молодых якобинцев» 1818 года, произведения, к которому в трудные годы Михайловской ссылки вдумчиво обращался Пушкин, поражаясь «подвигом честного человека». Забывался автор «Бедной Лизы» и «Марфы Посадницы», отдалялись трагические перипетии конца XVIII в., а «История государства Российского» волновала какой-то неясной тревогой, в ней точно слышались отзвуки так и не решенных XVIII в. вопросов: «Начто жили предки наши? Начто будет жить потомство?»¹ На эти поставленные Карамзиным еще в 1793 г. вопросы отвечала русская литература 1820-х гг., которую теперь занимали первостепенные проблемы исторической детерминированности, исторической закономерности, проблемы романтического характера.

Многотомный труд Карамзина воспринимался как произведение глубоко современное, отвечающее на самые актуальные политические и историко-философские запросы, волнующие, как «свежая газета». Тем самым устанавливалась живая связь исторической мысли 1820-х гг., философско-художественных исканий по-

¹ Карамзин Н. М. Избр. соч. в двух томах. М.; Л., 1964, т. II, с. 251. Далее ссылки на это издание в тексте с указанием тома и страницы.

вого времени с предшествующим этапом. Важнейшим звеном в цепи оказывалась «История государства Российского», равно обращенная как к трагическим итогам века Просвещения, так и к новому времени.

* * *

Понятие историзма, все чаще употребляемое сегодня в связи с характеристикой культуры эпохи Просвещения, требует известного уточнения и конкретизации, ибо это понятие отнюдь не однозначно всем тем временным взглядам, которые имеют место в сознании определенной эпохи. Широко распространенным и в XVIII в. было, например, представление, уходящее своими корнями в раннее средневековье, связанное с христианскими концепциями бытия.

Об элементах историзма можно говорить лишь в том случае, когда временные связи мира преломляются сквозь призму воспринимающего мир субъективного сознания, когда самое это сознание начинает выступать в качестве некоего критерия оценки исторического бытия человечества.

Рационалистический принцип мышления просветителей порождает тот особый тип восприятия истории, который чаще всего называют антиисторизмом. Между тем именно веку Просвещения принадлежит неоспоримый приоритет в создании новой философии истории.

«Французы ничуть не ниже англичан в истории, — отмечал в 1824 г. Пушкин. — Если первенство чего-нибудь да стоит, то вспомните, что Вольтер первый пошел по новой дороге — и внес светильник философии в темные архивы истории».² Иное дело, что история человечества представала перед судом философского разума клубком пеленых, «неразумных» заблуждений. Просветители были беспощадны к истории, но все они от Монтескье до Гердера стремились понять ее смысл, уловить ее закономерности, выявить ее причинно-следственные связи, а главное, уяснить смысл своей эпохи в соотнесенности с прошлым, поставить современное сознание человечества в один ряд с сознанием людей минувших эпох.

Именно на этом уровне мы можем выделить качественное различие в типе исторического мышления просветителей и людей XIX в. Первые рассматривают прошлое синхронно с современностью.³ Девятнадцатый век пришел к последовательному обоснованию диахронического принципа в восприятии прошлого. Поэтому задача исследования историзма — это прежде всего выяснение того, как и вследствие чего человеческое сознание открыло

² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти т. М.; Л., 1937, т. 13, с. 102.

³ См.: Баткин Л. М. К проблеме историзма в итальянской культуре эпохи Возрождения. — В кн.: История философии и вопросы культуры. М., 1975, с. 167—189.

качественно новый принцип исторического мышления. Именно на этом пути лежат проблемы мировоззрения и творчества Н. М. Карамзина.

* * *

Органичность «Истории государства Российского» в творчестве Карамзина довольно долгое время подвергалась сомнению; обращение его к истории понималось как отказ от литературной деятельности вообще, хотя еще в 1916 г. Б. М. Эйхенбаум очень точно заметил: «К истории Карамзина привели долгие эстетические опыты и философские размышления». По наблюдению исследователя, эстетика и поэтика Карамзина с самого начала его сознательной литературной деятельности определена особым мироощущением: «Все прошлое — уже тем одним, что оно отодвигается к горизонту, — становится источником поэзии».⁴ Интуиция бытия становится основным источником рассудка и воображения. Способность человека познавать мир и самого себя оказывается для Карамзина и философией, и поэзией. Практическая деятельность человека связывалась Карамзиным с проблемами политики и нравственности, и весь этот довольно сложный комплекс идей преломлялся сквозь призму крепнущего с годами убеждения: человек не способен предугадывать последствия дел, им совершаемых, не властен изменить хода вещей, хотя сам он вовлечен в стремительный водоворот страстей земного бытия. Так, уже в 1790-е годы в повестях и публицистике, а отчасти и в лирике Карамзина намечался выход в общие проблемы философии истории, складывался специфически эмоциональный прообраз исторической концепции.⁵

Особое место среди материалов, помещенных Карамзиным на страницах «Московского журнала», занимает отрывок из «Мифологии» Карла Морица, широко известного как автора психологического автобиографического романа «Антон Рейзер». Развивая идеи Гердера и отчасти Гете, Мориц писал: «От того, что в мифологии скрываются тайные следы к древнейшей, неизвестной истории, делается она почтеннее. Ее вымыслы не суть пустая мечта или одна игра остроумия, которая исчезает в воздухе. Они тесно связаны с древнейшими приключениями и для того не могут быть почитаемы одною аллегориею».⁶ Согласно рассуждению Морица, мифология вместе с ее поэтическим потенциалом несла в себе «тайные следы к древнейшей истории». Между поэзией и историей устанавливалась, таким образом, система взаимоотношений, характеризуемых элементами детерминизма. Тем самым на-

⁴ Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л., 1969, с. 204.

⁵ См.: Лотман Ю. М. Поэзия Карамзина. — В кн.: Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966, с. 23; Вацуро В. Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм». — В кн.: XVIII век, сб. 8. Л., 1969, с. 202.

⁶ Московский журнал, 1972, ч. VI, кн. 3, с. 279.

носился удар по сентименталистской универсализации «чувства» (ср.: «человек везде человек»).

Другая важнейшая сторона рассуждений Морица состояла в постановке проблемы истины и вымысла не в традиционном их разграничении, а применительно к мифологии, в их взаимосвязи и взаимообусловленности. «Смешение истинного с вымыслом в древнейшей истории, — писал Мориц, — есть для глаз наших мерцающий горизонт. Если хотим мы, чтобы в сем отдалении когда-нибудь воссияла нам новая заря, то должно разбивать прилежно и тщательно все мифологические вымыслы, чтобы найти нить их сплетений и преданий». Через два десятилетия Карамзин почти дословно воспроизведет эти слова, которые станут для него программными: «Прилежно *истощая* материалы древнейшей российской истории, я ободрял себя мыслию, что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источники поэзии! Взор шаг в созерцании великого пространства не стремится ли обыкновенно — мимо всего близкого, ясного, — к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость?»⁷

Исторический принцип мышления, все более укрепившийся в размышлениях о судьбах государств и наций и о судьбах отдельного человека, вовлеченного в водоворот жизни, становится определяющим в мировоззрении и творчестве Карамзина. Этот принцип не только не разделяет его художественную прозу и «Историю государства Российского», но, напротив, позволяет выявить некоторые структурно-типологические явления, принципиально сближающие эти, казалось бы, различные по своей жанровой природе произведения. Процесс пересечения апалитического строя мысли и образно-эмоционального начала наблюдался в прозе, критике и публицистике 1790-х гг. Процесс этот был в какой-то степени стихийным. Французская революция ускорила созревание «философского разума»,⁸ потребовав от мыслящих людей эпохи дать оценку не только происходящего на их глазах события, но и века Просвещения в целом, уяснить его итоги, познать его заблуждения. Именно в размышлениях о революции, ее теории и конкретном воплощении принципов просветительской философии на первый план выдвинулась категория, ранее осознававшаяся скорее интуитивно, преломлявшаяся сквозь призму эстетического восприятия мира, — категория исторической необходимости.

* * *

Признание неизбежности совершившейся во Франции революции, всех ее перипетий вовсе не означало для Карамзина принятия революционной тактики. Более того, в 1800-е гг. эти понятия

⁷ Карамзин Н. М. История государства Российского. 2-е изд. СПб., 1818, т. 1, с. XXIII.

⁸ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 23.

исторической необходимости и практической политики диаметрально расходятся. «Революция объяснила идеи, — пишет Карамзин в программной статье 1802 г., — мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих; что власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства; что разбивая сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий, которые несравненно злее всех обыкновенных злоупотреблений власти... что все смелые теории ума... должны остаться в книгах вместе с другими, более или менее любопытными произведениями остроумия; что учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакою силою ума» (II, 268—269).

На первый взгляд суждения Карамзина могут показаться выражением типично охранительного мировоззрения: лучше «самое турецкое правление», чем революция, какое бы то ни было государственное потрясение. Однако на фоне общеевропейского кризиса буржуазного радикализма конца XVIII в.⁹ русская просветительская мысль должна была неизбежно, хотя, может быть, и несколько приглушенно, отразить те идейные противоречия, которые породила революционная эпоха. Остро чувствующий эти противоречия, Карамзин отнюдь не ставит точку на том, что учрежденный порядок есть благо. Ощущение глубокой трагичности конкретных форм исторического бытия становится его убеждением.

С этим духовным опытом, с критически трезвым взглядом на вещи Карамзин вступил в новую эпоху, эпоху коренных пересмотров, трагических итогов, эпоху, поставившую невиданные по глубине и сложности проблемы. Уяснить их предстояло не только с позиций русского общества, но в соотнесенности с европейской жизнью. Это определило масштаб осмысления социально-политических, философских и исторических проблем, освещенных на страницах карамзинского журнала «Вестник Европы».

Итак, мыслители XVIII в., в том числе Руссо, «предвидели» революцию, но ее результаты и последствия они предвидеть не могли. Перерождение республиканской Франции в империю Наполеона заставляло рассматривать и современный мир как движение истории, как воплощение извечных и непостижимых для человеческого разума законов необходимости, а главное неподвластных субъективной человеческой воле. Реально складывающиеся политические формы государственности все более воспринимаются Карамзиным как конкретное осуществление закона необходимости.

⁹ См.: *Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г.* Запретная мысль обретает свободу. М., 1966, с. 265. Как показывают современные исследования, даже наиболее успешную американскую революцию сопровождали явления кризисного характера. См.: *Каримский А. М.* Революция 1776 года и становление американской философии. М., 1976, с. 251—269.

От общефилософской, онтологической проблематики, характерной для повестей 1790-х гг., через ощущение трагического несовершенства современного мироустройства Карамзин приходит к раскрытию своей новой философско-художественной мысли в «Истории государства Российского».

В конце XVIII—начале XIX века интерес к истории необычайно возрос. Философия и мораль, политика и эстетика — все подвергается пересмотру с позиций «исторической истины». Об истории пишутся философские трактаты, над проблемой художественного воплощения истории размышляют Карамзин, Державин и Батюшков, Жуковский и Гнедич. Наиболее вдумчивые критики настоятельно советуют писателям и поэтам «вникать в характер российского народа, в дух российской древности».¹⁰ Поэтому объективно замысел Карамзина как нельзя более соответствовал духу эпохи.

Приступая к работе над «Историей», Карамзин строго определил для себя границы допустимой авторской фантазии, которая не должна была касаться действительных речей и поступков исторических персонажей. «Самая прекрасная выдуманная речь безобразит историю, посвященную не славе писателя, не удовольствию читателей и даже не мудрости правоучительной, но только истине, которая сама собою делается источником удовольствия и пользы».¹¹ Отвергая «вымысел» как приукрашивание истории, Карамзин вырабатывает основу своего исторического метода как синтез логики факта и эмоционального образа «минувших столетий». Из чего же складывался этот образ? Какова была его эстетическая природа? Противопоставляя историю роману, Карамзин существенно переосмыслил традиционно рационалистическое понятие «истины». Опыт писателя, апеллирующего не только к разуму, но и к чувству в процессе познания действительности, оказался необходим. «Мало, что умный человек, окинув глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы должны сами видеть действия и действующих — тогда знаем историю».¹² Вот почему задача воспроизвести прошлое в его истинности, не исказив ни одной его черты, ставила перед Карамзиным особые задачи.

В своих размышлениях об истории Карамзин приходил к убеждению, что писать «об Игорях и Всеволодах» надо так, как писал бы современник, «смотря на них в тусклое зеркало древней летописи с неумолимым вниманием, с искренним почтением, и если вместо живых, целых образов представлял единственно тени, в отрывках, то не моя вина: я не мог дополнять летописи!»¹³

¹⁰ См.: *Фомин А.* Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров. Новые данные о них по документам архива Н. П. Тургенева. СПб., 1912, с. 24.

¹¹ История государства Российского, т. 1, с. XIX.

¹² Там же, с. XVII.

¹³ Там же, с. XVI—XVIII.

Было бы, однако, неверно думать, что Карамзин от первого до последнего тома своей истории последовательно и неукоснительно придерживался именно тех принципов и соображений, которые были им высказаны в предисловии. По своей природе «художественные» элементы «Истории государства Российского» далеко не однозначны и восходят к разным источникам: это и традиции античной историографии, и своеобразное преломление исторического аналитизма Юма, и философско-исторические воззрения Шиллера. Карамзин не мог не учитывать также традиции русской историографии XVIII в., не прислушиваться к тем суждениям о принципах и задачах исторического сочинения, которые высказывали его современники. Собственная повествовательная система оформилась не сразу и не оставалась неизменной на протяжении двенадцати томов. Имея в виду всю реальную сложность и пестроту эстетических красок, которые использовались Карамзиным вопреки своим собственным теоретическим взглядам, можно тем не менее говорить об основной и важнейшей тенденции повествовательного стиля «Истории» — ее специфическом «летописном» колорите.¹⁴

В русской летописи Карамзину открывался мир с непривычными и во многом непонятными для «просвещенного» разума философскими и этическими измерениями. Две системы мысли неизбежно приходили в соприкосновение, и Карамзин, сознавая это, считал необходимым вести повествование на двух самостоятельных и самоценных уровнях: «летописном», предполагающем наивный и простодушный взгляд на вещи, и собственно историческом, как комментирующем «летописный». Приводя, например, в первом томе рассказ летописца о «мести и хитростях ольгиных», Карамзин одновременно поясняет, почему он, историк, повторил «несторовы простые сказания». «Летописец, — говорит Карамзин, — сообщает нам многие подробности, отчасти не согласные ни с вероятностями рассудка, ни с важностью истории; но как истинное происшествие должно быть их основанием и самые басни древние любопытным для ума внимательного, изображая обычаи и дух времени, то мы повторим несторовы простые сказания».¹⁵

Далее следовал пересказ легенды, выдержанный в исключительно точной поэтической тональности. Таких «пересказов», и весьма художественных, в первых томах немало. Так, в рассказе о «хитростях Ольги» перед нами предельно близкий к летописному образ коварной жены убитого князя, задумавшей жестокую месть древлянам. На простодушное приглашение древлянских послов стать женой их князя «Ольга с ласкою ответствовала: „Мне приятна речь вапа. Уже не могу воскресить супруга. Зав-

¹⁴ См. об этом подробнее: *Лузянина Л. Н.* «История государства Российского» и трагедия Пушкина «Борис Годунов» (К проблеме характера летописца). — *Русская литература*, 1971, № 1, с. 45—57.

¹⁵ *История государства Российского*, т. 1, с. 160.

тра окажу вам всю должную честь. Теперь возвратитесь в ладью свою, и когда люди мои придут за вами, велите им нести себя на руках". Между тем Ольга приказала на дворе теремном ископать глубокую яму и на другой день звать послов». ¹⁶ Карамзин не стилизует свой «пересказ» под летопись, но стремится максимально объективировать тот взгляд на вещи, который явственно выступает в повествовании древнего летописца. И читателя своего Карамзин хотел бы научить воспринимать прошлое во всей простоте и безыскусности древних представлений.

По мере работы над «Историей» Карамзин все более внимательно всматривается в образно-стилистическую структуру древнерусского памятника, будь то летопись или «Слово о полку Игореве», отрывки из которого он перевел в третьем томе. В свое повествование он вкрапляет летописные детали, образные выражения, придавая тем самым особую окраску и своей авторской интонации. Один из самых строгих критиков Карамзина, декабрист Н. И. Тургенев, записывал в дневнике: «Я читаю третий том Истории Карамзина. Чувствую неизъяснимую прелесть в чтении. Некоторые происшествия, как молния проникая в сердце, роднят с русским древнего времени. . .» ¹⁷

От тома к тому Карамзин усложнял свою задачу: он пытался передать и общий колорит эпохи, найти связующую нить событий прошлого и в то же время «изъяснить» характеры людей, тем более что круг источников становился обширнее, являлась возможность выбора той или иной трактовки. Карамзина увлекала эта возможность уже не просто констатировать поступки исторических героев, но психологически обосновать те или иные их действия. Именно под этим углом зрения создавались Карамзиным наиболее полнокровные характеры его «Истории» — Василия III, Ивана Грозного, Бориса Годунова. Примечательно, что, создавая последний том, Карамзин внутренне соотносил свои методы и задачи с теми принципами, которые воплощал в это же время в своих исторических романах Вальтер Скотт. ¹⁸ Конечно, Карамзин не собирался превращать «Историю государства Российского» в роман, но это сближение было правомерно: и в романах Вальтера Скотта, и в «Истории» Карамзина вырабатывалось новое качество художественного мышления — историзм. Обогащенный опытом многолетнего общения с историческими источниками, Карамзин переходит к изображению сложнейшей исторической эпохи — так называемого Смутного времени, стремясь раскрыть ее главным образом сквозь призму характера Бориса Годунова.

Карамzinу часто вменяли в вину, зачем он взял летописную версию об убийстве царевича Дмитрия и развил ее как достовер-

¹⁶ Там же, с. 160—161.

¹⁷ Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921, т. III, с. 114.

¹⁸ См.: *Макогоненко Г. П. Карамзин и Просвещение.* — В кн.: *Славянские литературы. Материалы VII Международного съезда славистов.* М., 1973, с. 308—310.

ный факт? Но в использовании этой версии Карамзин исходил прежде всего из своей давней концепции трагического фатализма. «Гибель Димитриева была неизбежна», — пишет Карамзин, ибо, по мысли историка, ослепленный честолюбием Годунов уже не мог остановиться перед последним препятствием, отделявшим его от царского трона. Пусть он приведен был к этому рубежу стихийною силой исторических обстоятельств — Карамзин не снимает с него всей тяжести вины. «Судьба людей и народов есть тайна провидения, но дела зависят от нас единственно», — этому критерию оценки человеческой личности, выдвинутому еще в «Марфе Посаднице», Карамзин остался верен и в «Истории государства Российского». Вот почему, создавая трагические по своей сути характеры царей-тиранов Ивана Грозного и Бориса Годунова, Карамзин судит их судом истории с позиций высшего нравственного закона, а его суровое: «Да, видя содрогаемся!» звучит как урок и предостережение самодержцам.

Среди многообразных аспектов проблематики «Истории государства Российского» следует отметить и своеобразно раскрытую Карамзиным проблему народного характера. Самый термин «народ» у Карамзина не однозначен; он мог наполняться различным содержанием. Так, в статье 1802 г. «О любви к отечеству и народной гордости» Карамзин обосновывал свое понимание народонации. «Слава была колыбелию народа русского, а победа — вестницею бытия его» (II, 283), — пишет историк, подчеркивая самобытность национального русского характера, воплощением которого являются, по мысли писателя, знаменитые люди русской истории. Карамзин не делает здесь каких-то социальных разграничений: русский народ предстает в единстве национального духа, а «правители» народа являются носителями лучших черт национального характера. Таков князь Ярослав, Дмитрий Донской, таков Петр Великий.

Тема народа-нации занимает важное место и в идейно-художественной структуре «Истории государства Российского». Многие положения статьи «О любви к отечеству» были здесь развернуты на широком историческом материале. Декабрист Н. М. Муравьев уже в описании древнейших славянских племен почувствовал предтечу русского национального характера — увидел народ, великий духом, предприимчивый, заключающий в себе «какое-то чудное стремление к величию».¹⁹ Глубоким патриотическим чувством проникнуто и описание эпохи татаро-монгольского нашествия, тех бедствий, которые испытал русский народ, и того мужества, которое он явил в своем стремлении к свободе. Народный разум, говорит Карамзин, «в самом величайшем стеснении находит какой-нибудь способ действовать, подобно как река, запертая скалою, ищет тока, хотя под землю или сквозь камни со-

¹⁹ *Муравьев Н. М.* Мысли об «Истории государства Российского». — Литературное наследство. М., 1954, т. 59, с. 595.

чится мелкими ручейками».²⁰ Этим смелым поэтическим образом заканчивает Карамзин пятый том «Истории», повествующий о падении татаро-монгольского ига.

Но обратившись к внутренней, политической, истории России, Карамзин не мог миновать и иного аспекта в освещении темы народа — социального. Современник и свидетель событий Великой французской революции, Карамзин стремился уяснить причины народных движений, направленных против «законных правителей», понять характер мятежей, которыми была полна русская история уже начального периода. В дворянской историографии XVIII в. широко бытовало представление о русском бунте как проявлении «дикости» непросвещенного народа или же как результате происков «плутов и мошенников».²¹ Карамзин делает значительный шаг вперед в уяснении социальных причин народных мятежей. Он показывает, что предтечей почти каждого бунта является бедствие, порой и не одно, обрушивающееся на народ: это и неурожай, засуха, болезни, но главное — к этим стихийным бедам добавляется «утеснение сильных». «Наместники и тиуны, — замечает Карамзин, — грабили Россию, как половцы». И следствие этого — горестный вывод летописца, к которому внимательно прислушивается автор «Истории»: «... народ за хищность судей и чиновников ненавидит и царя самого добродушного и милосердного».²² Однако грозная и разрушительная сила народных мятежей заставляла Карамзина усматривать в них некий провиденциальный смысл, карающую волю всевышнего. Сложной, исполненной трагических противоречий рисовал Карамзин историю России. Неотступно вставала со страниц книги мысль о моральной ответственности власти за судьбы государства. Вот почему традиционная просветительская идея монархии как надежной формы политического устройства обширных государств — идея, разделяемая Карамзиным, — получила в его «Истории» новое наполнение. Верный своим просветительским убеждениям, Карамзин хотел, чтобы «История государства Российского» стала великим уроком царствующим самодержцам, научила бы их государственной мудрости. Но этого не произошло.²³ «Истории» Карамзина было суждено иное: она вошла в русскую культуру XIX века, став прежде всего явлением литературы и общественной мысли. Она открыла современникам огромное богатство национального прошлого, целый художественный мир в живом облике минувших столетий. Неисчерпаемое многообразие тем, сюжетов, мотивов, характеров не на одно десятилетие определило притяга-

²⁰ История государства Российского, т. 5, с. 410.

²¹ См.: *Тагищев В. Н.* Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ. Чтение в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1887, кн. 1, с. 65.

²² История государства Российского, т. 3, с. 29—30.

²³ См.: *Вацуро В. Э.* Подвиг честного человека. — В кн.: *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». М., 1972, с. 38 и след.

тельную силу «Истории государства Российского». Но наиболее проникательные современники Карамзина, и прежде всего Пушкин, усмотрели в этом сложном произведении еще одну, важнейшую, сторону — становление историзма. Это был путь развития философской и художественной мысли эпохи, и Карамзин своей «Историей» призван был, по словам Белинского, «проложить дорогу, чтобы гениальные писатели в разных родах не были остановлены на ходу своем необходимостью предварительных работ».²⁴

²⁴ *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955, т. IX, с. 679.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ М. Н. МУРАВЬЕВА

М. Н. Муравьев (1757—1807 гг.) хорошо известен современным читателям и исследователям как поэт-сентименталист.¹ Проза, в том числе и исторические сочинения Муравьева, занимающие заметное место в его творческом наследии, исследованы значительно меньше. По ряду причин они выпали из поля зрения как литературоведов, так и историков, хотя представляют несомненный интерес для тех и для других.

Исторические работы Муравьевым с конкретной и весьма своеобразной педагогической целью — с 1785 по 1796 год он преподавал русскую словесность, русскую историю и нравственную философию внукам Екатерины II — Александру и Константину. В ходе подготовки к занятиям Муравьев делал многочисленные заметки, которые и легли в основу его исторических сочинений.

Сам Муравьев подготовил к печати очень мало из того, что написал в эти годы. Завершив преподавание, Муравьев издал небольшой сборник статей «Опыты истории, письма и правоучения» (1796). Большая часть статей Муравьева была издана по рукописям уже после его смерти. Посмертные издания готовили к печати его младшие современники, хорошо знавшие его и высоко ценившие сделанное им, — Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков.² Готовя рукописи к печати, они произво-

¹ В значительной степени это заслуга Л. И. Кулаковой, подготовившей к печати сборник его стихотворений (*Муравьев М. Н. Стихотворения*. Л., 1967) и написавшей о нем ряд работ.

² Исторические статьи Муравьева вошли в двухтомник «Опыты истории, словесности и правоучения» (М., 1810), подготовленный и отредактированный Карамзиным. Карамзин переиздал здесь «Опыты», дополнив их еще рядом статей, подготовленных к печати самим Муравьевым и известных в корректурных экземплярах (эти экземпляры с рукописной правкой Карамзина ныне хранятся в Государственной публичной исторической библиотеке в Москве). Затем статьи по историческим вопросам были включены в трехтомник «Полное собрание сочинений М. Н. Муравьева» (СПб., 1819—1820). Это издание готовили Жуковский и Батюшков. В него вошло многое (но далеко не все) из обшир-

дили их тщательный отбор и стилистическую правку. Это делает необходимым в целом ряде случаев обращаться к рукописям Муравьева для уточнения его взглядов на историю.³ Кроме того, ни в одном из этих изданий статьи Муравьева не датированы. Обращение к его рабочим тетрадям позволяет уточнить время написания его работ. В этих тетрадях Муравьев, как правило, записывал все подряд, и датированные записи дневникового характера перемежаются с черновиками исторических произведений. Анализ его рукописей и писем показывает, что Муравьев проявлял интерес к истории и философии уже в 70-е годы XVIII в., уже тогда он читал и даже пытался перевести Монтескье, собирався прочесть Кондильяка, но систематические занятия историей совпали для Муравьева с годами преподавания (1785—1796). Наиболее интенсивно записи учебного характера, посвященные проблемам истории, велись в конце 80-х гг. XVIII в. Письма Муравьева сестре за 1789—1791 гг., хранящиеся в Государственном историческом музее, тоже свидетельствуют, что именно эти годы были для Муравьева годами серьезных занятий историей и философией.

Кроме того, в цикле «Письма к молодому человеку», который писался в течение 1789—1791 гг.,⁴ Муравьев упоминает «рукописания наши, в которых заключается краткое начертание Российской Истории, мною для вас сделанное» (I, 378).⁵ Очевидно, Муравьев имел в виду именно свою статью «Краткое начертание Российской Истории» (опубликована в 1810 г. Н. М. Карамзиным). Таким образом, данная статья, содержащая основные положения Муравьева, повторяемые им также и в других работах, с большой долей уверенности датируется периодом с 1785 (год начала преподавания) по 1789 год. Именно на фоне поисков, которые вела русская историография 80-х—начала 90-х годов XVIII в., и надлежит рассматривать сделанное Муравьевым. Эти годы были важным этапом в становлении русской исторической мысли. Именно в эти годы происходил переход от накопления фактов к их осмыслению, к выяснению вопроса, в чем состоит специфика русской истории. Своих предшественников — Татищева, Щербатова, Болтина Муравьев прямо назвал «собираателями истории нашей» и противопоставил им историков-просветителей Монтескье, Мабли, Д'Аламбера (II, 110). В отличие от русских историкографов Муравьев не интересовался источниками, вообще не

ного рукописного наследия Муравьева, предоставленного в их распоряжение вдовой Муравьева Е. Ф. Колокольцевой.

³ Личный архив М. Н. Муравьева хранится в Отделе рукописей ГПБ (ф. 499).

⁴ См. примечание от издателей (I, 435) и упоминание о Яском мирном договоре 1791 года на последней странице цикла (I, 445).

⁵ Здесь и далее ссылки даются по изд.: Сочинения М. Н. Муравьева. СПб., 1847, т. 1—2. Переиздание осуществлено А. Смирдиным в серии «Полное издание сочинений русских авторов». Оно повторяет полное собрание сочинений М. Н. Муравьева 1819—1820 гг. Римская цифра означает том, арабская — страницу.

ставил себе задачи собирания фактического материала, он пытался на фактической основе, уже собранной русскими историографами, построить картину общего хода развития русской истории.

Педагогические задачи поставили Муравьева именно перед необходимостью создания краткого, просто и доступно написанного курса русской истории, живо и ярко освещающего основные события и характеры. Именно поэтому его труды заслуживают самого пристального внимания среди тех ранних попыток написания беллетризованного курса русской истории, которые непосредственно предшествовали «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Но при написании своих работ Муравьев встал перед необходимостью философского осмысления исторического прошлого России. Его раздумья легли в основу целого ряда небольших заметок теоретического характера. Этот материал дает возможность выявить философские представления Муравьева о мировой и русской истории и проследить, как он применил их к описанию конкретного фактического материала. Данная статья и пытается решить эту задачу.

* * *

В последней трети XVIII в. русская историческая мысль мучительно преодолевала односторонность и умозрительность концепций и методов историографии Просвещения, одновременно сохраняя все положительное, что в них имелось, и отнюдь не декларируя свой разрыв с просветительской традицией. От Просвещения был унаследован и основной круг проблем, и основная терминология, и основные понятия, в частности, идея исторического процесса и прогресса в истории. Таким образом, в России, как и в Европе, на базе просветительства происходило формирование более сложных, но генетически связанных с ним историографических концепций.

Эти процессы получили достаточно отчетливое выражение и в работах Муравьева. Становление его теоретических взглядов происходило под непосредственным и очень сильным воздействием французской просветительской историографии. Как выясняется, ряд небольших статей Муравьева является конспективным изложением работ французских просветителей, писателей и историков. Так, например, цикл «Тетрадь для сочинений» состоит из кратких пересказов любимых Муравьевым произведений и написан с целью упражнения в стиле: «Мы сделаем привычку писать. Нечувствительно слог наш образуется. Нет ничего полезнее упражнения... Возьмем из Фенелона... Приключения Али-Беговы... Некогда Аббас...» (I, 173).

Муравьев хорошо ориентировался в сложных идеологических течениях внутри французского Просвещения и вполне сознательно выбирал ту точку зрения, которая казалась ему наиболее убедительной. Он так обозначил традицию, оказавшую наибольшее влияние на его занятия историей: «Славные историки, современники

наши... Гюм, Робертсон, Гиббон, Монтескью, Мабли и сходствующий с ним одинаковостью вкусов, друг его и Жан Жаков, Кондильяк, люди верховного достоинства, обратили философию на изучение человека в обществе. Их сочинения, как простые и величественные драмы, имеют единство намерения, одно какое-нибудь великое преобразование человеческого рода, которое представляют они в полном свете, изъятое, так сказать, из среды тумана омрачающих его происшествий, недостойных уважения философа» (I, 309).

В этой статье наряду с французскими просветителями названы имена английских историков, труды которых привлекали русских ученых, поскольку именно они, по словам Н. М. Карамзина, «вливали в историю привлекательность любопытнейшего романа».⁶ Но для рассмотрения теоретических предпосылок трудов Муравьева необходимо выявить степень влияния на него перечисленных им французских историографов-просветителей и в первую очередь Монтескье. Именно Монтескье впервые описал реальное многообразие жизни народов мира и попытался выявить причины этого многообразия. Объективно труд Монтескье «О духе законов» (1749) был направлен против умозрительных и упрощенных представлений об истории, которые сводились к тому, что один народ отличается от другого только степенью просвещенности и должен рано или поздно пройти точно те же стадии развития, которые уже прошли «просвещенные» европейские народы. Приводимые Монтескье факты многообразия культурной, религиозной, общественной жизни у разных народов, которые он, правда, объяснял действием чисто внешних причин, способствовали отходу от этих представлений. Примером усвоения и использования труда Монтескье является статья Муравьева «Черты правоучения» (1789),⁷ в которой в тезисной форме изложены основные идеи французских просветителей. Приводимая в этой статье классификация и характеристика различных способов правления (монархического, деспотического, республиканского) основана на «Духе законов».⁸

Но наряду с фактами использования труда Монтескье в работах Муравьева есть случаи прямого несогласия с его идеями.

⁶ Карамзин Н. М. Избр. соч. в двух томах. М.; Л., 1964, т. 1, с. 574.

⁷ Черновой набросок этой статьи датирован самим автором 14 августа 1789 года. — См.: ГПБ, ф. 499, М. Н. Муравьев, № 28, л. 17—20.

⁸ Следует отметить, что в рукописной редакции этой статьи имеется зачеркнутый подзаголовок «Последуя Фергюсону» (см.: ГПБ, ф. 499, М. Н. Муравьев, № 31, л. 37), но труд шотландского историка и философа Адама Фергюсона «Наставления нравственной философии» (1769), действительно использованный Муравьевым в работе над этой статьей, в свою очередь является популярным изложением работ французских просветителей. В частности, к главе, в которой излагается характеристика различных способов правления, Фергюсон дает подстрочное примечание, в котором оговаривает, что этот раздел построен на материалах второй книги «Духа законов» (см.: Фергюсон А. Наставления нравственной философии. СПб., 1804, с. 43).

Этот момент полемики важен и интересен. На Муравьева сильное влияние оказало то крыло французского просвещения, представителей которого он тоже назвал в цитированном выше перечне, — Кондильяк, Мабли, Д'Аламбер. Именно они попытались осуществить внутри просветительства частичную смену методов, объявив борьбу спекулятивно-рационалистической метафизике. Объективно это означало переход от рационализма к эмпиризму, отказ от абстрактных принципов построения человеческого знания, от спекулятивных систем. Эти принципы были подвергнуты критике Кондильяком в его «Трактате о системах, в котором вскрываются их недостатки и достоинства» (1749). Позже, в годы работы над Энциклопедией, трактат, направленный против абстрактных систем Декарта и Лейбница, был несколько переосмыслен. Так, по словам Вольтера, «Кондильяк оказал огромную услугу человеческому уму, показав ложность *всяких* (курсив мой, — И. Ф.) систем».⁹ Д'Аламбер в предисловии к Энциклопедии тоже отметил, что «последние удары» по «вкусу систем, более способному льстить воображению, чем просвещать разум», были нанесены Кондильяком.¹⁰ Муравьев, бесспорно, был знаком с этим кругом идей, что и проявилось в его оценке теории «географического детерминизма» Монтескье. Муравьев рассмотрел эту теорию в статье «Гражданские установления»: «... систематическая теория относит частные происшествия к немногим главным правилам, которые должны быть всегда постоянными и верными, невзирая на перемену обстоятельств. Сей способ имеет неоцененное преимущество сократить учение и поставить нас на возвышенное место, с которого одним взором можно объять неизмеримое пространство. Сияющий дух президента Монтескье предпринял положить сей способ к учению законов. Последуя различию правлений и климатов, он ... старался истолковать из одного начала являющиеся противоречия законов. Но преткновение человеческого разума в произведении систем состоит в том, что одно любимое мнение ... служит основанием оных и с падением своим повергает все здание. Таково есть мнение Монтескье о чрезвычайном влиянии климатов, которому он подчиняет некоторым образом понятия справедливого и несправедливого и которое осудило бы некоторые народы на всегданнее варварство и изнеможение» (II, 199—200). Кондильяк тоже сравнивал абстрактные системы с дворцами, «которые покоились бы на ненадежном фундаменте».¹¹

Об этом недоверии Муравьева к абстрактным системам, к рационалистическим построениям писал Г. А. Гуковский: «Вся сумма высказываний Муравьева о человеке, о бытии, об искусстве ... показывают, что для Муравьева рухнули все опоры абсолют-

⁹ Цит. по: Ситковский Е. Предисловие. — В кн.: Кондильяк Э. Б. *де*. Трактат о системах. М., 1938, с. 14.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же, с. 166.

ных критериев мысли. Крушение социальной веры в неизбежность схемы, созданной „разумом“ дворянских либералов, сопровождалось крушением веры в неизбежность, т. е. в общеобязательность, схем и вообще построений разума. Разум, логика как основы, дедукция как метод подвергаются сомнению. Сомнение в истине того, что казалось отцам единственно истинным, — это исходный пункт мироощущения и мировоззрения школы Муравьева-Карамзина.¹² Оценка Гукковского справедлива, но, очевидно, эти явления были характерны и для европейского и для русского общества. Как писал Ю. М. Лотман об идеологических процессах конца XVIII в.: «Многие чаяния и верования ... показали себя наивными. Пожалуй, самым основным среди вновь раскрывшихся перед современниками, прежде неизвестных им качеств была сложность».¹³

Идеологические процессы, отражающие определенный кризис методологии просвещения, имели и положительный смысл. Именно так выработывалось доверие к факту, предпочтение факта системе, что постепенно подводило к отходу от умозрительных, механистических представлений.

Эта же смена не столько концепций, сколько методов очень отчетливо проявилась и в историографии. Русская историография последовательно применяла просветительские концепции при рассмотрении хода русской истории. Это зачастую приводило к своеобразной «проверке» просветительских идей фактами русской истории.¹⁴

В работах Муравьева тоже проявилось доверие к факту, уважение к чужой точке зрения. В статье «О истории и историках» Муравьев сформулировал мысль об относительности, об исторической обусловленности любых оценок: «Понятия о силе царств и народов, нынешним временам свойственные, неправо прилагаются к происхождению первых обществ» (I, 312). Это можно рассмотреть как прямой призыв к историзму в оценке человеческого прошлого.

В черновых записях Муравьева есть еще одно интересное возражение Монтескье, свидетельствующее, что этот круг проблем интересовал его постоянно. Муравьев пишет: «Старые обычаи и по тому уже худы, что они стары. Они были очень хороши в свое время и были сообразны просвещению, правительству, нравам народов. А Монтескье говорит, что возвратить народ к древним его обычаям есть его поправить и возродить к новой жизни».¹⁵ Му-

¹² Гукковский Г. А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л., 1938, с. 270—271.

¹³ Лотман Ю. М. Русская поэзия 1800—1810 гг. — В кн.: История русской поэзии. Л., 1968, т. 1, с. 191.

¹⁴ См.: Макогоненко Г. П. Из истории формирования историзма... — Наст. изд., с. 32—41.

¹⁵ Это рассуждение записано в бумагах Муравьева дважды: один раз в тетради, которую он вел еще не будучи преподавателем, в 70-е годы

равьев имеет в виду VII главу 5 книги трактата Монтескье «О духе законов», где говорится: «Нравы много выигрывают от этой приверженности к обычаям старины. Призвать людей к законам старины значит в большинстве случаев возвратить их к добродетели».¹⁶ Полемика с Монтескье велась, таким образом, с точки зрения представлений об относительности и исторической обусловленности любых оценок.

С точки зрения этих же представлений Муравьев сформулировал возражения против широко известной концепции Руссо, который утверждал, что науки и искусства не способствовали счастью людей. Муравьев подчеркивает, что эта проблема не имеет однозначного решения: «Какое дарование, какое невиннейшее свойство не было когда-нибудь унижено и обращено во вред? Страсти, разум, желание похвалы, любление общества, вольность, законы, средства благополучия часто теряли благотворительность свою в руках человека. Сие беспрестанное сражение паче побуждает общее шествие человеческого рода».¹⁷ Во втором томе «Идей к философии истории человечества» (издан в 1786 г.) Гердер писал: «Гораздо более трудный вопрос: как науки и искусства способствовали счастью людей? Я думаю, что на этот вопрос нельзя ответить просто — „да“ или „нет“, потому что и здесь все дело в том, как люди пользуются изобретенным и найденным».¹⁸ Запись Муравьева не датирована, но находится в тетради, которую он вел в годы преподавания, в конце 80-х годов XVIII в. Скорее всего эта запись свидетельствует не о непосредственном усвоении Муравьевым идей Гердера, а о том, что Муравьев был тесно связан с общеевропейскими идеологическими процессами, нашедшими свое наиболее полное выражение в творчестве Гердера.

Методологические изменения в подходе к истории сфокусировались в постепенном усложнении идеи прогресса, которое подготавливало появление понятия органического развития.¹⁹ В ряде статей Муравьева отчетливо видны следы влияния тех работ французских просветителей, которые рассматривали человеческую историю как историю постепенного прогресса и распространения человеческого разума. Таких работ было много. Достаточно назвать «Историю ума человеческого» (1746) Э. Б. де Кондильяка, «Последовательные успехи человеческого разума» (1750) А. Р. Тюрго, «Очерк исторической картины прогресса человеческого разума» (1794) Ж. А. Кондорсе. Очерк общего хода развития человеческой истории, данный Муравьевым в статье «Успехи челове-

XVIII в., и второй раз в писарской копии его произведений, сделанной при подготовке издания 1819—1820 гг. (см.: ГПБ, ф. 499, Муравьев М. Н., № 37, б/п и № 31, л. 186).

¹⁶ Монтескье Ш. Избр. произв. М., 1955, с. 202.

¹⁷ ГПБ, ф. 499, Муравьев М. Н., № 39, с. 98.

¹⁸ Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, с. 244.

¹⁹ См.: Макогоненко Г. П. Из истории формирования историзма... — Наст. изд., с. 10—13.

ческого разума», прямо восходит к этому кругу идей: «Южные страны Азии прежде других земель видели первую зарю просвещения. ... Оттуда основания искусств перенесены в Грецию. ... Греки сохраняют над покорителями своими (римлянами, — *И. Ф.*) свое влияние, которое дает превосходство просвещения. Их философия и письмена распространяются по вселенной с оружием римлян. Во время Августова человеческого разум достиг вторично высоты своего совершенства. Империя римская рушилась огромною и веками развращения. Просвещение было везде подавлено, разум ожесточен и презрен. ... Векам должно было уврачевать приключенное зло. ... Крестовые походы достигли несовершенно предполагаемой цели; но они имели нечаянное влияние на нравы и состояние общества в Европе. Усыпленный разум человеческого рода стал чувствительно пробуждаться. Писания Августова века были извлечены из праха, и Петрарк с благоговением читал Вергилия. XII век можно поставить точкою, до которой продолжалось унижение человеческого разума и с которой началось обратно постепенное возвышение оного» (II, 276—279).

Муравьев сохраняет идею поступательного в целом хода исторического развития, однако вслед за рядом энциклопедистов отходит от представления о Греции как об единственном очаге цивилизации и отмечает преемственность азиатских и европейских культур.²⁰

Кроме того, Муравьев не рассматривает Средние века как период непроглядного мрака, смыкаясь с теми из просветителей, которые, как, например, Жокур, «полагали, что уже с XII в. в Европе начался новый подъем».²¹ Но эти существенные уточнения не меняют главного — того, что мировая история рассматривается как движение «разума», «просвещения», хотя и в своеобразном диалектическом преломлении (разум распространяется независимо от субъективных человеческих желаний, благодаря объективным обстоятельствам — «нечаянно» или «с оружием римлян», что только подчеркивает неизбежность самого процесса его распространения).

В одной из черновых записей Муравьев еще раз вступил в полемику с Руссо, выразив прямое несогласие с точкой зрения, ограничивающей беспредельность прогресса: «Приписывать совершенству письмен и наук падение государства кажется все равно, что принимать обстоятельство за причину. Рассуждая таким образом, утверждать бы можно было, что достижение совершеннолетия есть причина смерти человека».²²

²⁰ См.: Люблинская А. Д. Историческая мысль в Энциклопедии. — В кн.: История в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера. Л., 1978, с. 246, 251.

²¹ Там же, с. 240.

²² ГПБ, ф. 499, Муравьев М. Н., № 39, л. 98. Эта мысль показалась Муравьеву настолько важной, что он еще раз записал ее в другой тетради (см. № 28, с. 34).

Но наряду с таким последовательным изложением идеи прогресса в рассуждениях Муравьева легко обнаруживается влияние «гипотезы, выдвинутой Гердером вслед за Вико о том, что нации Европы последовательно сменяли одна другую в миссии ведущих за собой человеческую культуру».²³ С точки зрения этих представлений расцвет и упадок одной культуры сменяется расцветом и упадком другой. В одной из черновых записей Муравьев писал: «Есть некоторый отлив и прилив в совершенстве нравов и обращений человеческого общества».²⁴ В «Разговорах мертвых» Муравьева диалогу Кия и Ромула предпослан следующий тезис: «Все народы вселенной изникают из варварства в последствии времен, и дошед некоторой известной точки, низвергаются паки и уступают место другим» (I, 247). В том же диалоге Ромул рассуждает: «Я вижу, что каждый народ сияет поочередно на позорище вселенной и что слава вместе с просвещением обтекает весь земной шар» (I, 248).

Муравьева устраивали обе вышеупомянутые концепции исторического движения, поскольку, с точки зрения любой из них, Россия могла быть рассмотрена как страна, быстро и бурно развивающаяся, готовая рано или поздно не просто догнать, а превзойти развитые европейские страны. В «Разговорах мертвых» Олег говорит Рюрику: «Мне кажется, что Россия займет когда-нибудь сияние Древней Греции» (I, 253). Здесь Муравьев опять отчасти смыкается с Гердером, дополнившим в ранних работах «руссоистскую критику выродившейся современной цивилизации программой культурного обновления через посредство молодых народов».²⁵ Но попытавшись оценить с точки зрения этих представлений общий ход русской истории, Муравьев встал перед необходимостью доказать, что Россия является полноправным членом европейского сообщества наций, хотя ее история и ее культура внешне непохожи на европейские. Целый ряд высказываний Муравьева свидетельствует, что он вплотную подошел к мысли о качественной специфике и самоценности культуры любой страны. Отход от механистических представлений о культуре, получивший свое наиболее полное выражение в работах Гердера, был важным завоеванием европейской философской мысли.

Следует отметить, что здесь мы имеем дело не с усвоением Муравьевым идей Гердера, а с самостоятельным интересом к тому же кругу проблем. Весьма характерно, что в письме к сестре, написанном 11 февраля 1781 г., Муравьев так писал о французских и итальянских комедиях: «Может быть, общество в Италии не таково, как оно во Франции. Другие нравы, другие предрас-

²³ Данилевский Р. Ю. И. Г. Гердер и сравнительное изучение литератур в России. — В кн.: Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы. Л., 1980, с. 201.

²⁴ ГПБ, ф. 499, Муравьев М. Н., № 39, с. 12.

²⁵ Жирмунская Н. А. Историко-философская концепция И. Г. Гердера и историзм Просвещения. — См. наст. изд., с. 94.

суждения, иное правление и природа, так и картины оного не могут походить друг на друга». ²⁶ Кроме того, над этим кругом проблем Муравьев мог задуматься еще ранее, летом 1777 г., прочитав роман Ж. Ф. Мармонтеля «Инки» (1777), который произвел на него огромное впечатление. ²⁷

В этом романе изображено именно столкновение двух типов культур, их взаимодействие, роковое для одной из сторон. Инки описаны в нем этнографически, не как «варвары», не как идеализированные «естественные люди», хотя отголоски такого подхода в книге есть, а как представители качественно иной, но имеющей такое же право на существование, как и испанская, цивилизации. Жестокость, варварство испанцев автор в предисловии мотивирует их «неистовым суеверием», под которым он понимает «дух гонения, не терпящий разномыслия с собою». ²⁸ Отголоски этих мыслей несомненны в «Разговорах мертвых». Ольга так объясняет свою жестокую месть древлянам: «Я исполняла добродетель язычества, ежели священное имя добродетели без осквернения может быть приложено ко мщению. Я действовала по несправедливым понятиям воспитания моего и народных нравов» (I, 254).

Мысль о качественном своеобразии и самоценности каждой культуры смыкалась с мыслью о качественном своеобразии каждой эпохи исторического прошлого: «Мгновенье каждое имеет цвет особый», ²⁹ — писал Муравьев еще в 1775 г.

Очень важно, что у Муравьева в одной и той же статье (открывающей цикл «Письма к молодому человеку» (1789—1791 гг.)), встречаются и отголоски просветительского отношения к прогрессу, и призыв исследовать качественное своеобразие каждой эпохи исторического прошлого, близкий Гердеру: «Те токмо происшествия заслуживают все наше внимание, которые были степенями или препятствиями народного восхождения от дикости и невежества к просвещению и знаменитости. Особливо достойны внимания наблюдателя нравы, владычествующий образ мыслей, успехи общества, правила, заблуждения, обряды, которыми отличается каждое столетие. Таким образом, история какого-либо народа есть лучшее истолкование умоначертания его» (II, 379—380).

В работах, описывающих общий ход развития России, отчетливо видны следы влияния этих двух подходов. Муравьев рисует русскую историю как постепенный, тернистый подъем по пути прогресса и просвещения, но одновременно настойчиво и последовательно пытается разобраться, в чем состоит качественная специфика русской культуры, каковы причины своеобразия каждой из эпох ее исторического прошлого.

²⁶ РО ИРЛИ, Р II, оп. 1, № 261, л. 19.

²⁷ См.: Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980, с. 271, 282, 333, 340.

²⁸ Мармонтель Ж. Ф. Инки. М., 1801, т. 1, с. III.

²⁹ Муравьев М. Н. Стихотворения, с. 137.

При выяснении этого вопроса Муравьев плодотворно использовал метод выявления соответствий между фактами истории России и истории развития европейских стран. Поиски такого рода соответствий между событиями мировой и русской истории были, по мысли С. Л. Пештича, важным моментом в становлении историзма в России.³⁰ Такой подход помогал исследователям осознать, в чем состоит своеобразие исторического пути России. Сходство подчеркивало различия. Но сравнения зачастую носили поверхностный, внешний характер. Муравьев же использовал этот метод для построения достаточно сложных концепций культурного обмена. В статье «Слабость удельного правления» Муравьев писал: «Как египетские выходцы, нападающие морем на берега Эллады, полагают в Греции основания монархий, так славяне призывают добровольно правителя из варягов. Походы славянские под Царьград вспоминают ополчение греков под Трою. Но сие происшествие в Греции последовано было переменою правления: Россия заимствовала от просвещеннейших неприятелей веру и нравы... Греция была всегда разделена на особые общества и правления так, как Россия после Владимира. Но разделение Греции было для нее менее пагубно» (I, 345—346). Кроме того, Муравьев параллельно, как фон, обрисовывает ход развития европейских стран в соответствующую эпоху.

Повторяя тезисы, уже выдвинутые русской историографией, Муравьев постоянно вводит такого рода соотношения. Так, повторяя упорно отстаиваемую русскими историками, от Ломоносова до Карамзина, мысль о «прекрасной», «бодрой» юности русского народа, Муравьев в «Письмах к молодому человеку» соотносит этот период расцвета с одновременным упадком европейских стран: «Народ славянский, будучи, по свидетельству истории, просвещеннее окружавших его пастырских народов, имел уже гражданские установления и угрожал войною или соревновал в сиянии упадающей державе Константина. В периоде безотрадном и темном, в котором томилась Европа, Новгород привлекал сокровища Севера и Востока, поражал славою отдаленные народы и полагал основания буйственной вольности своей» (I, 378).

При этом Муравьева интересуют и причины этого расцвета, и события, задержавшие впоследствии историческое развитие России. В статье «Краткое начертание Российской Истории» (1785—1789 гг.) он пишет: «Просвещение, рано принесенное из Греции, не могло быть приведено в совершенство в беспрестанном прении о владычестве и после под губительным игом варваров» (II, 9).

Но Муравьев не просто отмечал черты сходства и различия в культуре разных народов, а пытался рассмотреть именно факты взаимного влияния качественно разнородных культур. Французские просветители учитывали возможность влияния только более развитого народа на менее развитый. Тюрго, например, в статье

³⁰ Пештич С. Л. Русская историография XVIII века. Л., 1965, т. II, с. 85.

«Последовательные успехи человеческого разума» (1750) исходил из того, что все народы развиваются по одной схеме, но разными темпами. Поэтому при соприкосновениях народов «варвары» «в силу естественной власти разума и просвещения над грубой силой были побеждены духовно, и невежество среди них беспрестанно уменьшалось». ³¹

Картина, набросанная Муравьевым, значительно более сложна именно потому, что Муравьев уже вплотную подошел к мысли о качественной специфике каждой отдельно взятой культуры. В «Разговорах мертвых» Олег говорит: «Я хотел приблизиться к Греции, родительнице наук и художеств. Хотя она была уже в упадке, но остатки их еще могли украсить обычаи народа простого и воинственного. Я видел Север и Запад, покрытые общевойсковым варварства. Просвещение могло удобно проникнуть в Россию из Греции всеми способами сообщения, путешествиями, торговлею, самою войною» (I, 253). Россия, таким образом, унаследовала греческую культуру, а Европа пошла по другому пути. Такого рода соображения свидетельствуют, что Муравьев пытался преодолеть механистические представления о культуре.

Последовательно обосновывая мысль о расцвете Древней Руси, Муравьев встал перед необходимостью сформулировать свое отношение к Новгородской республике. Этот вопрос его очень живо волновал. Новгород затронут в целом ряде статей. Муравьев постоянно подчеркивает процветание древнего Новгорода: «Четыре столетия процветал новый Славенский град успехами военными и спокойными выгодами земледелия и торговли. Обитатели крайнего севера, шведы, нормандцы, смотрели на него с почтением и завистью» (II, 5—6). Факт наличия в Древней Руси такого высококультурного государства, как Новгородская республика, сыграл огромную роль в преодолении русской исторической мыслью механистических представлений об историческом процессе как о переходе от «варварства» к «просвещению». ³²

В статье «Древние области Новгорода» Муравьев так описал республиканский способ правления: «Новгород составлял особую и почти независимую область в государстве, производя особенные войны и делая завоевания. Город имел степенных посадников, которые составляли выборный совет. На Ярославле дворе были большие советования народа по знаку колокола, называемые веча, — обычай и право, уничтоженные Великим Князем Иоанном Васильевичем...» (II, 112—113). Наиболее четко Муравьев сформулировал мысль об особом месте, которое занимала в Древней Руси Новгородская республика, в черновом наброске: «Новгород имеет свою историю, отличную от истории государства. Пределы его были пространны несравненно более тех, в которые заключает

³¹ Тюрго А. Р. Избранные философские произведения. М., 1937, с. 58.

³² См.: Макогоненко Г. П. Из истории формирования историзма... — Наст. изд., с. 39—41.

их наместничество. Поморье даже до Сибири составляло пределы республики. Другие правила, другие чувствования, неизвестные в прочей России, не покровительствуемые никаким превосходным градоначальником, уступили власти Иоаннов...»³³

Для уточнения взглядов Муравьева на Новгород необходимо рассмотреть его отношение к проблеме сравнительных достоинств и недостатков различных способов правления.

Непререкаемым авторитетом в России в те годы пользовалась классификация способов правления и их оценка с точки зрения моральных критериев, разработанная Монтескье в «Духе законов». Муравьев тоже усвоил именно эту классификацию, о чем свидетельствует его уже упоминавшаяся статья «Черты правоучения» (1789). Но при рассмотрении этой проблемы необходимо учитывать, что в понятие республики разные просветители вкладывали разный смысл. Следует отметить, что, по мнению современного французского ученого Ж. Варло, в трактате Монтескье, «несмотря на ясно выраженное предпочтение монархическому режиму английского типа, республиканский режим исследован с большим вниманием, интересом, симпатией, чем монархический, он предстает под пером Монтескье как идеальный режим, который несет с собой счастье народам».³⁴ Представление о республике как о прекрасной утопии усвоил, в частности, Карамзин.³⁵

В этой связи крайне интересна статья Муравьева «Полезны и затруднены государственного знания». Муравьев прямо полемизирует именно с утопически-республиканскими идеями: «Целый народ ученых или прелводителей не может существовать нигде, кроме в воображении. Многие из них (древних, — *И. Ф.*) начертали, как Платон, по изволению, вымышленный образ самого лучшего правления. Ликург более сделал: он превратил граждан своих в другой народ, в умствовании созданный» (II, 191—192).³⁶

Муравьев, не ставя под сомнение мысль о превосходстве республиканского способа правления, усвоил идеи тех французских просветителей, которые считали, что такое правление возможно только при наличии самоотверженного правителя — законодателя и добродетельной народной массы.

С точки зрения этих представлений, Новгородская республика была обречена: «В недре его самого (Новгорода, — *И. Ф.*) таились вредные начала разорения: безначалие буйной черни и алчность сильных» (II, 6). Здесь сказалось отчетливое влияние Мабли, который опасался и неограниченного деспотизма и пря-

³³ ГПБ, ф. 499, Муравьев М. Н., № 70, л. 8.

³⁴ Варло Ж. Монтескье. — Вопросы философии, 1953, № 5, с. 128.

³⁵ См.: Лотман Ю. М. Поэзия Карамзина. — В кн.: Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотв. М.; Л., 1966, с. 9.

³⁶ Высокая оценка Ликурга восходит, очевидно, к Мабли. См.: Лотман Ю. М. Радищев и Мабли. — В кн.: XVIII век. Сб. 3. М.; Л., 1958, с. 285, 289, 291, 292.

мого народовластия.³⁷ В «Разговорах мертвых» Гостомысл говорит Ярославу I: «Не счел ли ты их (новгородцев, — И. Ф.) достойными вольности прежде, нежели ум их мог ею пользоваться? Не дал ли ты им своеволия вместо вольности. Вольность без законов существовать не может. Я был свидетелем всех бедствий безначалия. Каждый отделял благополучие свое от общего блага. Каждый хотел быть счастливым один и со вредом для других. Взаимные обязательства гражданина не были установлены. Ужасное право сильного губило всех поочередно» (I, 249—250). Муравьев не отрицал, что установление единовластия имело благие последствия для России, но именно потому, что новгородцы, как князья, так и народ, еще не созрели для добродетельной республиканской жизни. Здесь несомненно также влияние Монтескье, который утверждал, что истинная вольность состоит в добровольном подчинении законам общества. В противном случае в обществе, по мысли Монтескье, царит «право силы» и личность эгоистически противопоставляет свои интересы интересам общества.

Излагая дальнейшие события русской истории, Муравьев неоднократно возвращался к проблеме эгоизма правящей верхушки. Губительные следствия феодальной раздробленности он прямо описывал как результат эгоизма князей: «Князья, которых лучшее звание состоит в том, чтоб устроить благополучие государства, губили оное междуусобиями. Были из них недостойные имени князя и человека (ибо великая порода не защищает от пороков сердца); были такие, которые оскорбляли неистовствами священные права природы и которых история предает омерзению потомства. Удельные князья требовали равной власти и устремлялись к независимости» (II, 23).

Эти причины, по мысли Муравьева, привели к тому, что как раз тогда, когда «в Европе редела тьма невежества от первых лучей просвещения, Россия погрузилась в величайшее несчастье, которое народу приключиться может: в порабощение варваров» (II, 19). Высокий культурный уровень, просвещение оказались недостаточной гарантией для преуспевания, и менее развитый народ оказался более жизнеспособным. Именно с этого момента, по мысли Муравьева, окончательно разошлись пути Европы и России.

Но, последовательно проводя прием сопоставления событий русской и мировой истории, Муравьев подчеркивает и различие: «Сие несчастье, постигшее народ российский в первой его юности, не истребило в нем совершенно внутренней силы, как то случилось при подобном порабощении Рима и Греции северными варварами» (II, 36).

Интересно, что Муравьев отметил и факт обратного влияния менее развитого народа на более развитый. Он пишет о монголо-татарах: «Без сомнения, обращение с татарами имело влияние на характер народа. Присвоение восточных обыкновений изменило

³⁷ Там же, с. 285, 291.

чистоту российских нравов. Заимствовались нечувствительным образом обряды, одеяния, увеселения. Оттуда можно произвести сей недостаток уважения высшего состояния людей к низшему и трудолюбивому, сии изъявления рабского почтения, унижающие человека, обращение к правосудию с приношением даров» (II, 36—37). Эти рассуждения при всей их пафвности тоже свидетельствуют, что Муравьев пытался строить достаточно сложные модели взаимодействия культур. Муравьев особо подчеркнул, что влияние ига более всего коснулось князей: «Князья, утверждаемые на престолах политикою татар, препирались о позорной чести владеть в отечестве, воздыхающем под игом варваров. Междубоие, соединяясь с духом варварства, сделалось еще свирепее» (II, 24). Но, рассуждая о татарах, Муравьев не забывает подчеркнуть, что «татары, ныне полезные граждане, умножают население России и упражняются в миролюбивых трудах земледелия и торговли» (II, 37—38). Муравьев пытается обрисовать взаимодействие двух народов на протяжении столетий их исторического развития и ни в коей мере не переносит отношение к древним завоевателям на современных представителей этой нации.

Набрасывая свой очерк развития русской истории и русской культуры, Муравьев довел его до эпохи царствования Ивана Грозного и событий Смутного времени. Эта эпоха описана им в целом ряде статей, рассмотрение которых выходит за рамки данной работы. Эти статьи интересны как попытка беллетризованного описания исторических событий и характеров исторических деятелей. Теоретические проблемы при описании этого периода Муравьев почти не затрагивает.

Характеристика исторических взглядов Муравьева была бы неполной без выяснения вопроса об его отношении к петровским преобразованиям. Эта проблема, имеющая непосредственное теоретическое значение, затронута Муравьевым в целом ряде статей, из которых наиболее интересна статья «Присвоение европейских нравов». В ней Муравьев развивает популярную в европейской историографии XVIII в. мысль о том, что европейские государства образуют некое единство, систему государств: «...все европейские народы представляют некоторое соединенное общество, признающее некоторые известные правила в мире и войне, сообразующееся с одной общественной пользою и отличающееся от всех других народов одним образом мыслей, просвещением, верою и вежливостью» (II, 131). Муравьева живо волновал вопрос о месте России в этой системе государств. Он утверждал, что именно благодаря деятельности Петра I Россия вошла в это общество в качестве полноправного члена: «Европа приобрела новую страну — и какую страну?» (II, 130). Но в этой же статье Муравьев попытался оценить сделанное Петром в связи с целым рядом сложных вопросов. Муравьев, бесспорно, прекрасно ориентировался в полемике по поводу оценки личности и деятельности Петра, которую вели в течение всего XVIII в. русские и фран-

цузские ученые. Вольтер, в частности, считал, что Петр исключительно силой своего гения извлек из мрака невежества целую огромную страну. Согласно точке зрения Руссо, Петр тоже действовал один и при этом произвольно направил развитие страны отнюдь не идеальным образом: «...хотел сначала создать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создавать русских». ³⁸ Монтескье рассматривал эту проблему глубже: он попытался выяснить, как соотносились действия Петра с положением дел в допетровской России. При этом Монтескье пришел к выводу, который настолько заинтересовал Екатерину II, что она практически дословно перевела его в своем «Наказе»: «Перемены, которые в России предпринял Петр Великий, тем удобнее успех получили, что нравы, бывшие в то время, совсем не сходствовали с климатом и принесены были к нам смешением разных народов и завоеванием чуждых областей. Петр Первый, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобства, каких он и сам не ожидал». ³⁹

Муравьев в своей статье перечисляет все существующие точки зрения, уже этим перечислением подчеркивая их односторонность: «... царствование Петра Великого представляет поводы к важнейшим размышлениям. Один человек перемениет совершенно вид иностранного государства, приобретает толь неодолимую власть над другими и над собою, что заставляет отказаться от обычаев и правов, в которых народы воспитаны были с младенчества, и столь же удобно вливает в них понятия новые и необыкновенные. Какие причины, нравственные и политические, вспомоществовали предприятиям государя? Нашел ли он, как некоторые думают, в самом народе российском неожиданную удобность принять европейские нравы? Или непреодолимое трудолюбие Петрово довольно для изъяснения сего важного происшествия? Государь ограничил себя должностию подражателя, когда мог быть сам зиждителем народного умоначертания. Не последую одеянию и обращения немца и англичанина, россиянин мог участвовать в просвещении их и науках. То, что было похвально в российских нравах, несмотря на внешность, должноствовало бы остаться без перемены. Что в искусствах и упражнении, думают они, ежели гражданин сделался равнодушен к отечеству своему... Сообразен ли был с истинною политикою сей поступок государя Петра I принудить народ к принятию иностранных нравов или сей великий человек сам увлечен был слепым пристрастием к подражанию иностранного? Вот важные вопросы, достойные обратить на себя внимание всякого мыслящего человека» (II, 136—138). Этой фразой статья и заканчивается. Муравьев даже не пытается дать ответ на поставленные вопросы.

³⁸ Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969, с. 183.

³⁹ Наказ ея императорского величества Екатерины втория, данный комиссии о сочинении нового уложения. СПб., 1770, с. 6.

Двойственное отношение к Петру, возможно, объясняется тем, что в своих теоретических представлениях Муравьев вплотную подошел к понятию органического, спонтанного развития и мог увидеть в реформах Петра попытку насильственно миновать какие-то стадии развития. В этой связи представляет интерес пересказ Муравьевым романа известного французского просветителя аббата Бартеlemi «Путешествие Анахарсиса» (1788), который включен в цикл «Тетрадь для сочинений». Но в пересказе концовки романа Муравьев отходит от сюжета Бартеlemi, который описывал, как молодой скиф, вкусив плодов цивилизации в Греции, вернулся на родину и «нашел спокойствие у такого народа, которому известны одни только богатства природы». ⁴⁰ Это же развитие сюжета мы находим и в рецензии на роман, переведенной Карамзиным. ⁴¹ Но, как известно, Геродот в своей «Истории», которая и служит основным источником сведения об Анахарсисе, приводит и другие версии его биографии. По одной из версий его убили соотечественники «во время попытки совершить эллинский религиозный обряд». ⁴² Еще один вариант гласит, что, вернувшись на родину, Анахарсис «поплатился жизнью за попытки эллинизировать своих соотечественников». ⁴³ Муравьев близок к этой версии, хотя и не описывает гибели героя. В своем пересказе Муравьев обратил особое внимание именно на столкновение двух культур, двух образов жизни и на преждевременность попытки Анахарсиса. Анахарсис «уступает нескромному усердию перенести в лоно его (отечества, — *И. Ф.*) учреждения Греков» (I, 201), приглашает племена к культуре и просвещению, к переходу от понятий варварства. Но после его слов «шум неудовольствия пробежал по собранию. Освирепели взоры скифов и колчан за спинами их зазвенел. Опечаленный, Анахарсис оставил времени начать и совершить великое дело просвещения» (I, 202).

Но как бы ни оценивал Муравьев итог петровских преобразований и ту направленность, которую в результате этих преобразований приняло развитие России, он осознавал, что пути назад нет, что Россия прочно вошла в систему европейских государств и ее будущее неразрывно связано с ними. Причем в оценке этого будущего Муравьев был далек от оптимизма. В статье «XVIII век» (1794—1796) ⁴⁴ Муравьев, как и многие его современники на рубеже столетий, попытался подвести итоги века, «отличие» которого составляли «важные политические происшествия, великие

⁴⁰ *Бартеlemi Ж.-Ж.* Путешествие младшего Анахарсиса по Греции. СПб., 1809, т. 6, с. 563.

⁴¹ См.: Московский журнал, 1791, ч. III, кн. 2, с. 211.

⁴² *Геродот.* История. Л., 1962, с. 206.

⁴³ См.: *Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А.* Энциклопедический словарь. СПб., 1890, т. 2, с. 713.

⁴⁴ В статье упомянут Суворов, который «наступает на развалины Праги» (I, 359), а о Екатерине II говорится в настоящем времени. Таким образом, работа над статьей происходила не ранее 1794 и не позднее 1796 года.

шаги к просвещению, сияющие заблуждения, огромные преобразования!» (I, 358), и представить, что сулит будущее. При этом он снова вернулся к мысли о Европе как о системе государств: «Государства европейские, связанные между собой превосходством учреждений, искусств, просвещения, взаимным страхом, пользами купечества, равновесием политики, одинаковыми нравами, приучаются считать себя большими отделениями одного политического сообщества. Но улование общего мира, общего благополучия — сии добродушные сновидения аббата Сен-Пьера, вероятно, никогда не сбудутся. Уже ступились тучи... Но провидение, устрояющее все во благо, не позволяет гаданиям нашим предупреждать неисповедимых определений своих. Пристрастие к тому веку, в котором существуем, представляет нам лестное искушение подумать, что он привлечет на себя любопытство последующих. Воспользовавшись успехами в просвещении веков семнадцатого, шестнадцатого, пятнадцатого, конечно, нам осьмнадцатый должен был представить любопытнейшую картину, которую, может быть, превзойдет последующий: дай бог, чтоб сии успехи соединены были с истинными пользами человечества и добродетелей!» (I, 359—360). Раздумья Муравьева вызваны «Проектом вечного мира» (1716) Шарля Ирины де Сен-Пьера (1658—1743), который был широко известен в кратком и очень вольном изложении Руссо (1761), а также благодаря «Суждению о вечном мире», которое под влиянием Сен-Пьера написал сам Руссо (около 1756 г., издано в 1782 г.).

Так связывались в раздумьях Муравьева прошлое, настоящее и будущее.

Подводя итоги, следует сказать, что исторические работы Муравьева неопровержимо свидетельствуют, каким широким был фронт формирования новых идей в понимании истории. Именно этим они и интересны. Муравьев не был и не считал себя профессиональным историком, но, как выясняется, процесс выработки новых представлений об историческом прошлом и новых методов постижения истории захватывал отнюдь не одних только историков и философов. Решая достаточно локальную педагогическую задачу, Муравьев не только усвоил лучшее из достигнутого европейской научной мыслью, но и в какой-то степени самостоятельно сформулировал целый ряд выводов, которые в те годы еще только осваивались европейской философией. Именно поэтому рассмотрение его работ расширяет и уточняет наши представления об особенностях и закономерностях формирования в России системы взглядов, именуемой историзмом.

Г. Н. МОИСЕЕВА

**К ПОНИМАНИЮ ИДЕЙНОГО ЗАМЫСЛА
«ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ» А. Н. РАДИЩЕВА
(глава «ТОСНА»)**

Раскрытие конкретно-исторического содержания отдельных глав «Путешествия из Петербурга в Москву» занимает значительное место в исследованиях, посвященных творчеству А. Н. Радищева. Глава «Тосна», насколько известно, до настоящего времени с этой стороны не изучалась.

Что имел в виду А. Н. Радищев, когда рассказал читателям о встрече в почтовой избе на станции Тосна со стряпчим «старого покрою», который ехал из Москвы в Петербург «с великим множеством изодранных бумаг»?¹ Из разговора со стряпчим Путешественник узнает, что его собеседник был ранее «регистратором при Разрядном архиве» и «собрал родословную на ясных доводах утвержденную, многих родов Российских». Стряпчий сказал Путешественнику: «Я докажу Княжеское или благородное их происхождение за несколько сот лет. Я возстановлю не редкого в Княжеское достоинство, показав от Владимира Мономаха или от самого Рюрика его происхождение. Милостивый государь! продолжал он, указывая на свои бумаги, все великороссийское дворянство долженствовало бы купить мой труд, заплатя за него столько, сколько ни за какой товар не платят».² Стряпчий удивлен тем, что дворяне «не знают, что им нужно». В Москве он предложил свой труд «компании молодых господчиков... но вместо благопрятства попал в посмеяние».

Путешественник услышал и рассуждение составителя «Родословия родов Российских» о том, что «благочестивый царь Федор Алексеевич российское дворянство обидел, уничтожив местничество. Сие строгое законоположение поставило многия честныя княжеския и царския роды наравне с новгородским дворянством. Но благочестивый же государь император Петр Великий совсем

¹ Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. т. 1, с. 230.

² Там же, с. 231.

привел их в затмение своею Табелью о рангах. Открыл он путь чрез службу военную и гражданскую всем к приобретению дворянского титула, и древнее дворянство, так сказать, затаптал в грязь».³ Далее стряпчий сообщил: «Ныне всемилостивейшая царствующая наша мать утвердила прежние указы высочайшим о дворянстве положением, которое было всех степенных наших востревожило, ибо древние роды поставлены в дворянских книгах ниже всех. Но слух носится, что в дополнение вскоре издан будет указ, и тем родам, которые дворянское свое происхождение докажут за 200 или 300 лет, приложится титул маркиза или другое знатное, и они пред другими родами будут иметь некоторую отличность».⁴

Идейная направленность главы «Тосна» может быть рассмотрена в связи с изданной в 1785 г. Екатериной II «Жалованной грамотой дворянству». Этой «Грамотой» предписывалось составление по каждой губернии Российского государства «дворянских родословных книг», состоящих из шести пунктов: в первом записывались роды, возведенные в дворянское достоинство после 1685 г. (после отмены местничества); со второго по пятый пункты — роды, получившие личное дворянство на гражданской и военной службе, а также дворянские роды иностранного происхождения; в шестом — «древние благородные дворянские роды, то есть коих доказательства дворянского достоинства за 100 лет и выше восходя». В «Грамоте» были перечислены 15 пунктов «неопровержимых доказательств благородства», дававших право на включение в губернскую дворянскую книгу.

Очевидно, в связи с публикацией «Жалованной грамоты дворянству» интерес к родословным книгам значительно возрос. В 1786 г. Г.-Ф. Миллер составил по материалам Разрядного архива, хранившегося в архиве Коллегии иностранных дел, «Родословную книгу князей и дворян российских и выезжих». Она была издана в двух частях в 1787 г. Н. И. Новиковым. В том же году вышла перепечатка этого издания. В 1790 г. появилось «Известие о дворянах российских», подготовленное Г.-Ф. Миллером.

Над составлением родословия своих предков трудился известный историк и публицист М. М. Щербатов. Его интерес к генеалогии был связан с работой над «Историей российской от древнейших времен», первый том которой вышел в 1770 г. В какой-то мере это могло диктоваться сословной гордостью М. М. Щербатова своим происхождением от великого князя Святослава, третьего сына Ярослава Мудрого. М. М. Щербатовым было написано «Краткое историческое повествование о начале родов российских происходящих от великого князя Рюрика».⁵ В «Древней российской вивлиофике» Н. И. Новиков опубликовал его под заглавием: «Родословие княжеских родов Мосальских, Одоевских, Гор-

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ ГБЛ, Эрмитажное собр., № 371.

чаковых, Щербатовых, Репниных, Солнцевых, Засекиных, Чернышевых и проч.»⁶ Под руководством М. М. Щербатова его зять М. Г. Спиридов (товарищ А. Н. Радищева по Пажескому корпусу) предпринял составление «Родословного российского словаря».⁷

Для понимания идейного замысла главы «Тосна» наибольшее значение имеет то обстоятельство, что Екатерина II, занимавшаяся русской историей, также подготовила «Родословник князей великих и удельных рода Рюрика». В 1783—1784 гг. в «Собеседнике любителей российского слова» (части 1—15) были анонимно опубликованы «Записки касательно российской истории». Екатерина II сделала здесь обзор русской истории от древнейшей поры до 1224 г. В те же годы ею был составлен и «Родословник князей великих», но опубликован он был впервые в 1793 г. в пятой части отдельного издания «Записок касательно российской истории» (ч. 1—4, СПб., 1787; ч. 6, СПб., 1794). В том же 1793 г. «Родословник князей великих» вышел и отдельным изданием.

Но «Родословник князей великих», составленный Екатериной II, до его публикации был достаточно хорошо известен в рукописи. Материалы как для «Записок касательно российской истории», так и для «Родословника» готовили императрице видные историки, знатоки древнерусских рукописей Х. А. Чеботарев, А. А. Барсов, И. Н. Болтин и М. М. Щербатов. В ее кабинете были сосредоточены уникальные древнерусские памятники, копии летописей и документальных источников по истории Древней Руси и XVII в.⁸ Располагая первоклассными материалами, Екатерина II охотно сообщала сведения по русской генеалогии. Так, например, рукописную копию «Родословника князей великих» (называемого также «Хронологическим списком» или «Реестром о князьях рода Рюрика») имел А. И. Мусин-Пушкин, который почерпнул ряд ценных сведений для комментирования «Слова о полку Игореве».⁹ Эту рукописную копию «Родословника» А. И. Мусин-Пушкин возвратил в кабинет Екатерины II в 1795 г., что видно из письма к правителю канцелярии В. С. Попову.¹⁰ Многочисленными ссылками на «Родословник» пестрит перевод «Слова о полку Игореве», сделанный для Екатерины II (так называемый Екатерининский перевод).

В «Духовной великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха», напечатанной в 1793 г., А. И. Мусин-Пушкин, стремясь

⁶ Древняя российская вивлиофика. 2-е изд. М., 1789, ч. IX, с. 4—5.

⁷ В свет вышли только две первые части этого словаря. М., 1793—1794. См.: Кулакова Л. И., Западов В. А. А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. Комментарий. Л., 1974, с. 49.

⁸ Историческая коллекция Эрмитажного собрания рукописей. Памятники XI—XVII вв. Описание. Сост. Альшиц Д. Н. М., 1968.

⁹ Дмитриев Л. А. История первого издания «Слова о полку Игореве». М.; Л., 1960, с. 269—289.

¹⁰ Моисеева Г. Н. Спасо-Ярославский Хронограф и «Слово о полку Игореве». Л., 1976, с. 63.

угодить императрице, писал в Предисловии: «Зпратно историю отечественную обогатил вышедший недавно в свет Родословник, помещенный в пятой части Записок касательно истории российской».¹¹

Несмотря на то что в изданиях «Записок касательно российской истории» и «Родословника» не указано имени автора,¹² современникам была хорошо известна их принадлежность перу «венценосного историка». Екатерина II чрезвычайно гордилась своими историческими трудами, о чем поведал в своем «Дневнике» ее статс-секретарь А. В. Храповицкий.¹³ Занятия историей служили для нее средством активной пропаганды своих политических идей. Она «направляла» по продуманному ею руслу историческую мысль XVIII в. и давала уроки «общественного воспитания» на примерах русской истории. В этом контексте уместно вспомнить полемику, возникшую в русской литературе 1780-х годов о русском национальном характере. На вопрос Д. И. Фонвизина: «В чем состоит наш национальный характер?» — Екатерина II безапелляционно ответила: «В остром и скором понимании всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от творца человеку данных».¹⁴

«Образцовое послушание» как исконную национальную черту русских Екатерина II и показывала на материале истории в «Записках» и в драматургии — «Историческое представление из жизни Рюрика», «Начальное управление Олега». Н. А. Добролюбов справедливо писал, что Екатерина II в «Записках касательно российской истории» «дала образец своих взглядов на историю».¹⁵

Эту особенность исторических изысканий императрицы хорошо понял Радищев, противопоставивший взглядам Екатерины II свои передовые общественно-политические идеи, в том числе и в области русской истории. Уже в первой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» — «София» — Радищев, размышляя о русской песне, говорит о том, что в ней отражается характер народа: «Посмотри на русского человека, найдешь его задумчива. Если захочет разогнать скуку или как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обогранный кровью от оплеух, многое может решить доселе гадательное в Истории российской».¹⁶

¹¹ Духовная великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим, названная в летописи Суздальской Поучение. СПб., 1793, с. III.

¹² Имя Екатерины II впервые было названо в переиздании «Записок касательно российской истории» в 1801 г.

¹³ Дневник А. В. Храповицкого 1782—1793. Подлинной его рукописи с биографической статьей и объяснительным указателем Николая Барсукова. СПб., 1874, с. 393, 427.

¹⁴ Фонвизин Д. И. Собр. соч. М.; Л., 1959, т. 2, с. 275.

¹⁵ Добролюбов Н. А. Собр. соч. М., 1950, т. 1, с. 33.

¹⁶ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1, с. 230.

Вопрос о русском национальном характере решался Радищевым, как видно, с позиций, прямо противоположных тем, которые декларировались Екатериною II: не кротость и «образцовое послушание» характеризуют русский национальный склад, а отважность, веселость, смелость. В народе скрыты и зреют такие силы, которых смертельно боялась императрица. Заключительные слова: «Бурлак... многое может решить доселе гадательное в Истории российской» свидетельствуют о том, что это мнение Радищева распространяется не только на историческое прошлое, но и на осмысление современных событий (крестьянской войны под водительством Пугачева) и предвидение будущего.

В главе «Тосна» объектом изображения явилась фигура стряпчего, составителя «Родословия... многих родов российских». Это позволило Радищеву выразить свое отношение к подготовленному Екатериною II «Родословнику князей великих и удельных рода Рюрика».

Обратим внимание на такую деталь: М. М. Щербатов опубликовал в IX ч. «Древней российской вивлиофики» родословие своих предков, происходивших от Святослава Ярославича, третьего сына Ярослава Мудрого. В «Родословнике», составленном Екатериною II, была намечена генеалогическая линия всех русских княжеских фамилий, происходивших от легендарного Рюрика. Вспомним претенциозный рассказ стряпчего: «Я докажу Княжеское или благородное их происхождение за несколько сот лет. Я возстановлю не редкого в Княжеское достоинство, показав от Владимира Мономаха или от самого Рюрика его происхождение».¹⁷

В первой части «Родословника» происхождение князей было изложено в хронологическом порядке: от Рюрика (860 г.) до 1224 г. — битвы на Калке, когда были убиты многие князья.¹⁸ Во второй части материалы были изложены по княжениям: «...на княжении Новгородском были князи рода Рюрика»,¹⁹ там перечислены 47 князей от Рюрика до Михаила Всеволодовича. Затем идут удельные князья городов Изборска, Пскова, Торжка, Ладоги. Далее «княжение Киевское»: от Рюрика до Мстислава Романовича, удельные князья Вышгорода, Турова, Пинска, Слуцка, Берестова, Переяславля, Древлян, Белгорода, Торческа, Триполя и др. Этот список продолжается до «удела Смоленского», где последним «князем Можайским» назван Федор, сын Ростислава Мстиславича.

Но Екатерина II не только занималась «изысканием» происхождения русских княжеских и дворянских родов. В своей «практике» она широко прибегала к созданию новых «князей», «графов» и «благородных» дворян. Кому из современников не было

¹⁷ Там же, с. 230.

¹⁸ Сочинения имп. Екатерины II на основании подлинных рукописей с объяснительными примечаниями акад. А. П. Пыпина. СПб., 1901, т. 10, с. 77—100.

¹⁹ Там же, с. 101—119.

известно, за какие «заслуги» получили титул графа Григорий Орлов, мелкий новгородский дворянин, и трое его братьев. Из каких «владельческих родов» вышли графы Бобринские, как стал «сиятельным князем» и владельцем миллионов крепостных фаворит императрицы Григорий Потемкин. Можно было бы перечислять подобные примеры бесконечно...

В кишиневских заметках по русской истории XVIII в. Пушкин писал о том, как по воле Екатерины II «произошли огромные имения вовсе неизвестных фамилий».²⁰

В главе «Зайцево» Радищев поведал о послужном списке коллежского асессора, который «начал службу свою при дворе истопником, произведен лакеем, камерлакеем, потом мундшенком... Пробыв в мундшенках лет 15, отослан был в Герольдию, для определения по его чину».²¹ Получив дворянство и власть над «сотнями себе подобных» (то есть крепостными крестьянами), асессор и его сыновья, которые по отцу (VIII класс табели о рангах) также стали потомственными дворянами, совершили злодейское преступление. История асессора была как бы наглядным примером к размышлению о «благородных дворянах» екатерининского времени, за права которых так горячо ратовала императрица в «Жалованной грамоте дворянству» 1785 г.

В составлении родословных Екатерины II и, допустим, М. М. Щербатова было коренное и существенное отличие: потомственный рюрикович князь М. М. Щербатов изучал историю своего рода; императрица Екатерина II, не имевшая никакого отношения к русским владельческим родам, преследовала корыстную политическую цель — «историческое» оправдание появления новоиспеченных «потомков» «знатных и благородных дворянских родов» из среды ее приближенных фаворитов. По этому «параметру» она мало отличалась от «стряпчего», который брался доказать «благородное происхождение... от Владимира Мономаха или от самого Рюрика», того, кто хорошо оплатит его труд.

Екатерина II отметила в замечаниях на книгу не только общую революционную направленность сочинения Радищева («сочинитель не любит царей», «грозит царям плахою», «надежду полагает на бунт от мужиков», «он бунтовщик, хуже Пугачева»),²² но и свое собственное сатирическое изображение (в главе «Спасская Полесь»)²³ и полемику с исторической концепцией «Записок касательно российской истории» и «Родословника князей великих и удельных рода Рюрика».

Екатерина II нашла необходимым особо подчеркнуть, в разговоре со статс-секретарем А. В. Храповицким 11 августа 1790 г.,

²⁰ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 томах. М.; Л., 1949, т. VIII, с. 125.

²¹ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1, с. 271.

²² Бабкин Д. С. Процес А. Н. Радищева. М.; Л., 1953, с. 156—164.

²³ Moiseeva G. N. Eine Quelle des Kapitels «Spasskaja Polest» in A. N. Radiščevs «Reise von Peterburg nach Moskau». — Wissenschaftliche Zeitschrift. Karl-Marx-Universität. Leipzig, 1977, N 4, S. 343—347.

который записал ее высказывание о «Путешествии из Петербурга в Москву», что она отвергает содержащиеся в этой книге намеки на ее личность. А. В. Храповицкий писал: «Доклад о Радищеве; с приметной чувствительностью приказано рассмотреть в совете... и объявить, *дабы не уважали до меня касающиеся, понеже я презираю*»²⁴ (курсив мой, — Г. М.).

Это высказывание императрицы показывает с очевидностью, что сатира Радищева попала в цель.

Обличительная сила «Путешествия из Петербурга в Москву», раскрывающая пороки самодержавного строя в России, звучала особенно ярко для современников Радищева, которые видели в этой книге сатирический образ идеолога этой системы — императрицы Екатерины II, выступавшей в официальной литературе и в своих собственных сочинениях в образе «просвещенной и мудрой матери Отечества».

²⁴ Дневник А. В. Храповицкого, с. 344.

Г. Н. ИОНИН

**СПОР «ДРЕВНИХ» И «НОВЫХ» И ПРОБЛЕМА ИСТОРИЗМА
В РУССКОЙ КРИТИКЕ 1800—1810 ГОДОВ**

Проблемы, поднятые известным спором «древних» и «новых»,¹ вновь оказались в поле внимания европейской мысли во второй половине XVIII в. Положения труда И. Винкельмана «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре» (1755) вызвали возражения Лессинга («Лаокоон», 1766) и Дидро («Салон», 1767). Глубокую и плодотворную концепцию развития культур разработал Гердер, откликнувшийся на «спор», в частности, в «Письмах для поощрения гуманности» (1793—1795). Идеи Гердера оказали влияние на развитие европейской поэзии на грани двух веков (Шиллер, Гете и др.), в том числе и на русскую эстетическую мысль.

Уже в 70-е годы XVIII в. русская литература переживает начальный этап обновления (кризис классицизма, приходящие ему на смену литературные направления — сентиментализм и просветительский реализм). Однако осмысление происходящего процесса в критике осуществилось в 1800—1810-е гг. в статьях и книгах, посвященных спору «древних» и «новых». Именно тогда путем сопоставления античной и новой поэзии у нас были сделаны первые шаги к теоретическому определению самого принципа историзма в эстетике и развитию на его основе идей народности и оригинальности национальной литературы.

Спор «новых» и «древних» в русской критике, до сих пор не изученный, историки литературы связывают с борьбой карамзинистов против шишковистов, он трактуется как один из ее эпизодов: «... в начале XX века этот спор прозвучал в России

¹ Литература о «споре» весьма обширна. См., напр.: *Сигал Н. А.* Спор «древних и новых». — В кн.: *Романо-германская филология. Сб. статей в честь академика Шипмарева.* Л., 1957, с. 248—262; *Реузов Б. Г.* У истоков романтической эстетики. Античность и реализм. — В кн.: *Реузов Б. Г.* Из истории европейских литератур. Л., 1970, с. 3—32; *Cioranescu A.* Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle Paris, 1965, t. I, p. 138—139.

в борьбе карамзинистов с шишковистами».² В действительности, наоборот, полемика шишковистов с карамзинистами была эпизодом в споре «новых» и «древних». Впервые в русской печати поднял эту проблему Карамзин.

Еще в 1791 г. в «Московском журнале» он напечатал статью «О сравнении древней, а особливо греческой с немецкою и новейшею литературою», в которой читаем: «Не во многом можно подражать древним; но весьма многому можно у них, или, лучше сказать, посредством их, выучиться. Кто без творческого духа хочет быть поэтом или скоро обработать дарования свои по хорошим образцам, тот может кратчайшим путем достигнуть до того через прилежное чтение новейших поэтов — итальянцев, французов и англичан. Но точно потому, что расстояние между сими и нами столь мало, а между греками и нами столь велико, то последние гораздо удобнее к образованию великого духа и вкуса».³ Есть основания предполагать, что, кратко пересказывая содержание книги Гроддека, которой посвящена статья, Карамзин в сущности знакомил широкого русского читателя с некоторыми важнейшими из идей Гердера. Это прежде всего исторический подход к поэзии древних: «Но какое же есть главное различие между древнею и новою поэзиею, различие, столь затрудняющее всякое сравнение между ими? Яснее всего увидим его, когда сравним обстоятельства, в которых образовалась поэзия древних и наша поэзия. У греков происходит и образуется она во время *детства* и *юности* нации. Гомер беспримерен и неподражаем для того, что он писал и пел в сих обстоятельствах».⁴ Далее в статье содержится намек на широко известную гердеровскую концепцию различных возрастов языка и их соотношения с историей мировой поэзии: «Язык наш есть язык богатый и философский, но для поэзии время его почти прошло».⁵ Вот знакомый нам по трудам Гердера упрек новой литературе в подражательности и призыв к народности: «Мы духом своим живем более в других народах, нежели в собственном своем, грек образовывался среди греков и творения свои брал из самого себя». Напомним, что в «Письмах русского путешественника», рассказывая о встречах с Гердером, Карамзин уже делился размышлениями о возможности учиться у древних сближать поэзию с жизнью и тем самым делать национальный язык «богатым и для поэзии удобным языком».⁶

В рецензируемой книге Гроддека Карамзина, очевидно, привлекла идея зависимости расцвета античной поэзии от свободной и героической гражданской жизни Греции. В монархическом Риме искусство сразу стало украшением и потеряло подлинность. И в новейшее время искусство остается «украшением». Выводы

² История французской литературы. М.; Л., 1946, т. 1, с. 580.

³ Карамзин Н. М. Избр. соч. М.; Л., 1964, т. 2, с. 92—93.

⁴ Там же, с. 91.

⁵ Там же, с. 91—92.

⁶ Там же, т. 1, с. 174—175.

напрашивались сами. После французских событий 1793 г. идеал «Афинской республики» становится для Карамзина неосуществимой утопией. Республиканец в душе, Карамзин с горечью противопоставляет Афины мрачной и «безумной» современности («Афинская жизнь»). Неприятие революции сочетается у него с пассивным отрицанием русской государственности. Чему же теперь Карамзин может научиться у древних? Культуре чувства, внутренней свободе — сентиментальная тенденция побеждает. Но неослабевающий интерес писателя к античности и современности, к истории позволит ему в 800-е годы преодолеть кризис («Марфа Посадница», «История государства Российского»).

Как известно, в 1800-е годы «школа Карамзина» приобретает эпигонский характер. То, о чем мечтал Карамзин в стихотворении «Поэзия», — создание неподражаемой русской литературы — не было осуществлено сторонниками «массового сентиментализма». Но даже в таком виде карамзинизм продолжал декларировать идеи европеизма, духовной свободы. Именно это вызвало реакцию Шишкова. Он выпускает книгу «Рассуждения о древнем и новом слоге» и позднее переводы из Лагарпа двух статей «Сравнение французского языка с древними языками» и «О красноречии». Шишков прямо опирался на Лагарпа и Буало, однако «русифицировал» проблему. Как Лагарп, он ополчается на просветительскую философию, в этом смысле на идею европейского прогресса, который ведет к революции. Шишков, как и Буало, апеллирует к древним, но «образцы» у него русские. По его мнению, три главных источника обогатят нашу словесность: «священные и духовные наши книги», «летописи и все подобные им предания», «народный язык» фольклора. Вместе с тем «архаист» Шишков хотел вернуть нашу литературу к старине, исключить ее из традиций европейской культуры.

В развернувшейся затем полемике противники Шишкова отстаивали идею прогресса, европеизации, те просветительские традиции, которые наследовал XIX век от XVIII в. Но оппоненты (Д. В. Дашков, П. И. Макаров) соглашались с Шишковым в его критике слабых сторон карамзинизма. Таким образом, это был спор и с карамзинистами, и с шишковистами и развитие плодотворных идей и тех и других.

Но возникла необходимость разобраться более основательно в проблемах, затронутых Шишковым и его оппонентами. Вот почему пришлось вернуться к вопросу о древних и новых. Появились переводные и оригинальные статьи по той же проблеме, но уже на материале истории мировой литературы.

Спор «древних и новых», как и столетие назад, был вызван реакцией на классицизм, протестом против него, стремлением преодолеть его противоречия. Но как и столетие назад, на новом витке спирали новые эстетические идеи формировались в тесном соприкосновении с плодотворными идеями классицизма, как их

продолжение. И в процессе развития этих идей классицизм был «снят».

Почти все статьи, посвященные вопросу о «древних и новых», основаны на более широком представлении о природе и об идеалах: природа едина и вместе с тем бесконечно разнообразна, поэтому и искусство безгранично, его пределы раздвигать можно без конца. Эту мысль легко было подкрепить ссылками на Буало, на Батте, Вольтера, Монтескье, Лагарпа. В одной из статей многозначительно процитированы слова Вольтера: «Природа неистощима, гений, бог непрерывно сообщают ей новую жизнь».⁷ Подобная формулировка помогала сделать шаг за рамки теории классицизма. В переводе книги Х. Мейнерса «Главное начертание теории и истории изящных наук» (1803 г.) читаем: искусство должно подражать не одной изящной природе, каждая вещь, хорошая или дурная, имеет свой идеал, «идеалы по многим причинам необходимо должны быть различны не только в каждом порознь людях, но и в разных народах».⁸ Отсюда: объект искусства все время меняется, поэтому и формы искусства должны меняться. Еще Буало писал в «Поэтическом искусстве», что нужно изучать страну и век, в котором живет герой, потому что эти условия накладывают на него свою печать. Теперь эта идея, множество раз повторенная прежде, дает повод для таких выводов, которых классицисты не делали.

Природа неисчерпаема, нравы народа оказывают влияние на искусство, заявлено в «Речи Геллерта о причинах преимущества древних писателей над новыми» (1808).⁹ О единстве и разнообразии природы говорит А. Мерзляков: «... лета, обычаи, нравы изменяются; мнения о красоте и приятности многоразличны по временам и по местам: святые уроки нравственности всегда будут понятны и всегда победоносны во всех веках и народах».¹⁰ Искусство — область возможного, но воображение не творит из ничего, а только «дает новый порядок из частей, находящихся в природе». А объект меняется. Различны религии, различно гражданское устройство.¹¹ У Державина в «Рассуждении о лирической поэзии» читаем: «... песни по содержанию своему были почти у всех одинаковы, а по свойству (характеру) их или по выражению чувств совсем различны. Климат, местоположение, вера, обычаи, степень просвещения и даже темпераменты имели над каждым свое

⁷ Северный вестник, СПб., 1804, ч. III, № 8, статья «Новые замечания на старый спор о древних и новых писателях», с. 140.

⁸ Мейнерс Х. Главное начертание теории и истории изящных наук. Б. м., 1803, с. 48.

⁹ Сочинения и переводы, издаваемые Российской Академией. СПб., 1808, ч. III, с. 127—128.

¹⁰ Мерзляков А. Слово о духе, отличительных свойствах поэзии первобытной и о влиянии, какое имела она на нравы, на благосостояние народов. М., 1808, с. 28.

¹¹ О различии поэзии древней с новейшею. — Амфион, М., 1815, октябрь—ноябрь.

влияние». ¹² Жуковский в статье «О поэзии новых и древних» пишет: «... образы и явления природы не одни и те же в различных климатах... с изменением обстоятельств общежития изменяются для поэта и самые предметы». ¹³ О. Сомов на этой же мысли основывает свою концепцию: неожиданность в поэзии определена новизной предмета, «мы восхищаемся произведениями древних поэтов, потому что видим в них природу, отличную от нашей, природу разнообразную и полную жизни». ¹⁴ А. Бестужев: «Все образцовые дарования носят на себе отпечаток не только народа, но века и места, где они жили». ¹⁵ К. Рылеев: «Истинная поэзия в существе своем всегда была одна и та же... она различается только по существу и формам, которые в разных веках приданы ей духом времени, степенью просвещения и местностью той страны, где она появлялась». ¹⁶ Пушкин: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию — которая более или менее отражается в зеркале поэзии». ¹⁷ Можно сказать, что эта идея в рассматриваемый нами период не вызывала спора, даже больше — была «общим местом» всех теоретических рассуждений.

В связи с нею еще раз вставал вопрос о подражании природе и подражании образцам, о правилах и гении. Мы знаем, что в эстетике этих лет существовали диаметрально противоположные мнения: от требования подражания образцам до утверждения полной творческой свободы и права следовать лишь одной природе, внешней и внутренней (вдохновению гения). Возможно ли примирение между столь разными принципами? Но в статьях о древних и новых есть соприкосновение, даже стихийная диалектика этих двух точек зрения. Ведь уже у Буало и позднее у Батте, затем Монтескье и даже у Лагарпа мы встречаем заявления о том, что правила — это приведенный в порядок опыт. Правила необходимы, но они не догма, а обобщение опыта, новый опыт создает новые правила (предшествует правилам). Вкус един и бесконечно разнообразен, как природа. Правила нужны как обобщение опыта мировой поэзии, они нужны как осознание внутренних общих законов творчества, но они не должны выступать в качестве рецептов, когда принципы одного поэта навязываются другому, когда вкус одного века, одного народа объявлен обязательным для другого века и другого народа.

¹² Державин Г. Р. Соч. СПб., 1864—1883, т. 1—9 (в дальнейшем — Державин, с указанием тома), т. 7, с. 251.

¹³ Вестник Европы, М., 1811, ч. 55, с. 209.

¹⁴ Сомов О. О романтической поэзии. СПб., 1823, с. 17.

¹⁵ Бестужев (Марлинский) А. А. Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 года. — В кн.: Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика. М.; Л., 1951, с. 546.

¹⁶ Рылеев К. Ф. Несколько мыслей о поэзии (отрывок из письма к NN). — В кн.: Декабристы, с. 558.

¹⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти томах. М.; Л., 1949, т. 11, с. 40.

Отсюда стихийно диалектическое решение вопроса о подражании образцам. И в этом случае, казалось бы, мы знаем, существовали диаметрально противоположные точки зрения: нужно следовать образцам, и нужно следовать одной природе. Но при обсуждении «древних и новых» подражание воспринималось не как рабское копирование образцов, а как создание нового в соответствии с духом времени, с историей, нравами и обычаями народа, в соответствии с гением поэта. Это и была идея учиться у образцовых поэтов оригинальности.

В комментариях к трактату Лонгина И. И. Мартынов не отвергает правила, если они лишь управляют тем неповторимым, что дала поэту природа.¹⁸ Неожиданную опору для новой эстетики дает сам переводимый Мартыновым ритор Лонгин: он допускает подражание как форму соревнования с образцом, как «заем» вдохновения для создания оригинальных произведений. В примечании к этому месту Мартынов, высоко оценив Державина, Хераскова, Княжнина, Дмитриева, Карамзина, прямо наносит удар «рабским подражателям» последнего.¹⁹ В «Московском Меркурии» (1803 г.) сразу же появилась рецензия, в которой несколько раз повторено, что истинно возвышенный поэт ни в чем не обязан риторике — «единственно простым, естественным выражением великой мысли, как будто вдохновенной, неожиданно приводит в невольный восторг, торжествует над холодным, сомневающимся слушателем».²⁰ Мерзляков в «Слове о духе, отличительных свойствах поэзии первобытной...» утверждает: нужно подражать образцам, но это значит творить новое, т. к. объект всегда нов.²¹ И. Левитский за подражание, но «подражатель достиг своей цели, когда произведение его имеет вид совсем новый».²² Н. Язвицкий уже прямо отвергает правила: основа искусства — язык страстей, чувство.²³ И. Муравьев-Апостол различает вкус к изящному, который «неизменно принадлежит вообще всем векам, всем просвещенным народам», и вкус, «который особенно составляется по характеру каждого народа, по нравственным его свойствам и по образу правления».²⁴ О. Сомов отказывается от правил: в природе нравственной и физической многое нравится безусловно, так должно быть и в поэзии. Сомов отличает поэзию подражательную от оригинальной, народной.²⁵ По мнению Кюхельбекера, уж если лучшие поэты Франции подражали, то подражать можем и мы, но для

¹⁸ О высоком или величественном. Творение Дионисия Лонгина. СПб., 1803, с. 47.

¹⁹ Там же, с. 102—103.

²⁰ Московский Меркурий, 1803, III, август, с. 129.

²¹ Мерзляков А. Слово о духе, отличительных свойствах поэзии первобытной... с. 28.

²² Левитский И. Курс российской словесности для девиц. СПб., 1812, ч. 1, с. 99.

²³ Язвицкий П. Введение в науку стихотворства. Б. м., 1811, с. 6—7.

²⁴ Сын Отечества, 1813, № 44, с. 221.

²⁵ Сомов О. О романтической поэзии, с. 2.

этого нужно различать, кому подражать. Главное же — создавать оригинальную, русскую, народную поэзию. Ясно, что Кюхельбекер говорит о творческом, а не рабском подражании, которое в сущности не противоречит созданию оригинальной народной литературы.²⁶ Рылеев утверждает: правила истинной поэзии всегда одни и вместе с тем различаются, как различаются искусства разных времен и народов. Следовательно, единство правил — верность природе, времени, неподражительность, народность искусства.²⁷ Пушкин скажет о Д. Давыдове: он дал мне почувствовать, что возможно быть оригинальным. Впоследствии Пушкин найдет свое «правило» подражания: открывать новые миры, стремясь по следам гения.

Собственно вопрос о «древних и новых» в 1800—1810-е годы имел несколько аспектов. Среди новых писателей есть авторы, творившие в тех же формах, что и древние. Это направление в литературе позднее будут называть «классицизмом» или «ложноклассицизмом» (Пушкин). Но есть произведения в таких формах, какие древним были неведомы. Эта литература впоследствии будет названа романтической, но в значительной мере, как будет видно далее, она включает в себя произведения реалистического характера. Была и иная классификация: не разделяя произведения на группы, указывали в новой литературе две тенденции — подражительность и оригинальность.

Принцип такого противопоставления — древнего происхождения. Еще Перро видел прогресс искусства в создании новых форм. Буало же в новой литературе признал существование не только старых античных, но и новых форм, особенно выделяя роман. Противопоставление старых и новых форм в новой литературе, оригинальности и подражательности делалось позднее много раз и в статьях о древних и новых. Заметим, что Пушкин видел различие между классицизмом и романтизмом прежде всего в различии форм.²⁸

Соотношение двух указанных групп «новых» писателей с «древними» неодинаково, как и соотношение подражательности и оригинальности новых с оригинальностью древних. О «новых», заимствовавших античные формы, особенно в высоких и средних жанрах, чаще всего говорится: они выше древних в «искусстве», но древние ближе к «природе», в них больше гения, творчества («изобретения»). Объясняется это тем, что древние были верны природе, а новые им подражали. Уже римляне в этом отношении поставлены ниже греков как подражатели. Примеров подобных суждений можно привести множество.

В «Рассуждении Вартона»,²⁹ в частности, говорится: древним

²⁶ Кюхельбекер В. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последние десятилетия. — Мнемозина, 1824, ч. II, с. 41—44.

²⁷ Рылеев К. Ф. Несколько мыслей о поэзии. ..., с. 557.

²⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 11, с. 36.

²⁹ Вестник Европы, февраль, 1805, ч. XIX, № 3, с. 186—187.

трагикам мы можем противопоставить Корнелия и Расина, но Расин заимствовал главные красоты у Еврипида; римские чувства Корнелия взяты из Лукана и Тацита. В другой статье: Гомер поэтическим духом превосходит Вергилия, Вергилий — совершенством («Сравнение Гомера с Вергилием»).³⁰ Гомер больше описывает людей, характеры, нравы, в этом его преимущество перед Вергилием. Гомер произвел Вергилия и, видимо, сам не нуждался в образце. В статье «Взгляд на историю пастушеской поэзии древних»³¹ читаем: Фонтенель, враг простоты, конечно, критиковал Феокрита; Вергилий красивее и наряднее; Феокрит натуральнее и обильнее; Феокрит — поэт образцовый; Вергилий — подражатель, который умеет казаться образцовым. В «Науке стихотворства» Рижского есть глава о героических одах, «о их различии относительно к разным временам и народам». У древних содержание оды было шире, цель «ближе к сердцу», средства «действительнее». Гораций уступает Пиндару в парении.³² В «Речи Геллерта»: древние творили свободно, следуя одной природе, а не правилам, мы же, стараясь, чтобы не погрешить против какого-нибудь правила, теряем какую-нибудь красоту, или угашаем дар духа, или удерживаем его в достохвальной смелости даже до того, что часто, «делая правил неудачный приклад», впадаем в погрешности.³³ Древние отличаются изобретением: не знакомые с правилами, не имея руководителей, они шли прямо к предмету, прокладывая к нему естественную стезю. Новые, избирая совсем другой предмет, шли к нему прежней стезей *древних*. . . им приходилось сбиваться, и «новейшие, привыкнув держаться известного пути, не осмелились прокладывать нового: грозные правила удерживали их железными оковами!». ³⁴ Вот почему у новых нет силы гения и простоты. Подражая искусству, они сделались обработаннее, утонченнее, отойдя от чувства, они руководились рассудком, отойдя от природы, отдали преимущество искусству.³⁵ Муравьев-Апостол особенно ополчался на французский классицизм, публикуя свои письма во время войны с Наполеоном. В одном из писем (диалог Неотина и Ахреонова) Неотин полагает, что французы сумели, подражая древним, довести до совершенства свою литературу и язык. Ахреонов (и Муравьев-Апостол) не согласен: у французов нет свободного гения (он один дает право на «первоседалище во храме муз»). Французы все подражатели, и это плохо. Главный порок французского вкуса *embellir la nature* — украшать природу. Расин и тот изнежен. Что же другие? «Генри-

³⁰ Московский Меркурий, 1803, ч. III, с. 28.

³¹ Вестник Европы, 1805, ч. XXII, август, № 16.

³² Рижский И. Наука стихотворства. СПб., 1811, с. 242—243.

³³ Сочинения и переводы, издаваемые Российской Академиею. СПб., 1808, ч. III, с. 119—120.

³⁴ Труды общества любителей российской словесности при имп. Московском университете. М., 1812, ч. IV, с. 152.

³⁵ Там же.

ада» Вольтера — «уродливая рапсодия» — холодная в стихах декламация».³⁶ Французскую литературу О. Сомов отделяет от античной как подражательную от оригинальной, народной, при этом указывает на сословную ограниченность французской подражательной поэзии.³⁷ Кюхельбекер, разграничивая тоже романтическую и классическую поэзию позднейших европейцев, считает, что родоначальниками последней более были римляне, нежели греки. В этой поэзии больше стихотворцев, чем поэтов, нужно отличать «роскошного, громкого Пиндара» от прозаического стихотворца Горация, «исполина между исполинами» Гомера от ученика его Вергилия. Истинные поэты Расин, Корнель, Мольер против воли должны были подчиниться правилам, принятым в литературной среде того времени. «Под именем вкуса, Аристотеля, природы» поклонялись в этой среде жеманству, приличию, посредственности.³⁸ Любопытный вариант дает Рылеев: подражание французских классиков в том случае, если сюжет взят из античности, «заменило изучение духа времени, просвещения века, гражданственности и местности страны того события, которое поэт желал представить в своем сочинении».³⁹ Рылеев считает превосходными античные трагедии Корнеля, Расина и Вольтера. Пушкин признает «истинный гений» Корнеля, «великую народность» трагедий Расина, но в целом французскую поэзию, подчиненную «корану» Буало, называет «лижеклассической», рожденной в «передней» монархов и аристократов.⁴⁰

Интересно заметить одну особенность: общее строгое суждение о классицизме и подражательности новой литературы не распространялось на произведения низких жанров, сатирические, шуточные. Здесь «новые» равны «древним», а иногда их превосходят. Таким образом, выделена та линия во всей европейской литературе нового времени и некоторые произведения низших жанров классицизма (комедия, сатира, комическая поэма, басня), где литература ближе всего соприкасалась с низкой действительностью. Особенно часто в число «помилованных» попадали Мольер и Лафонтен, причем Лафонтену отдавалось предпочтение. Приведем примеры.

У «новых» есть над «древними» «малые победы» — «мелочный род»: Грессе и др. («Новые замечания на старый спор о древних и новых писателях»).⁴¹ Мольер лучше Аристофана, Плавта; Свифт, Лесаж, Сервантес лучше Лукиана. Феокрит хуже Лабрюйера («Рассуждения Вартона»).⁴² Муравьев-Апостол выделяет Лафонтена как единственного неподражаемого поэта, несмотря на то

³⁶ Сын Отечества, 1813, № 44, с. 226.

³⁷ Сомов О. О романтической поэзии, с. 13.

³⁸ Декабристы. М.; Л., 1954, с. 552.

³⁹ Там же, с. 557.

⁴⁰ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 11, с. 38.

⁴¹ Северный вестник, СПб., 1804, ч. III, № 8, с. 140.

⁴² Вестник Европы, 1805, ч. XIX, февраль, № 3, с. 187.

что он подражал. Пушкин выделяет сказки Лафонтена и «Орлеанскую девственницу» Вольтера, правда, относя их к чисто романтической поэзии.⁴³

Что касается литературы, свободной от классических форм, то она объявлена достижением «новых». Круг произведений, вносимых в эту группу, поражает пестротой, трудно подчинить их какому-то принципу.

Карамзин в стихотворении «Поэзия», упомянув древних поэтов, из «новых» перечисляет Оссиана, Шекспира, Мильтона, Юнга, Томсона, Геснера, Клопштока. Вся литература, представляющая классицизм, отвергнута. Эта смелая точка зрения была принята не сразу. В статье «Новые замечания на старый спор о древних и новых писателях» в числе «неклассиков» названы Буало, Томсон, Поп, Блумфильд, Данте, Рабле, Ариосто, Сервантес, Фильдинг, Ричардсон, Свифт. Были такие поэты, которые писали в жанрах, знакомых древним, но при этом создавали нечто совсем новое, хотя без Гомера не было бы и их (Мильтон). Клопшток, Утц, Рамлер, Геснер, Виланд, Лессинг, Галлер, Энгель восприняты критически.⁴⁴ И. Мартынов, перечисляя оригинальных новых поэтов, среди них называет Ломоносова (сильное воображение), Мильтона и Клопштока (творческий дух), Вольтера (остроумие), Юнга (глубокомыслие), Делиля (чувствительность), Лагарпа (тонкость вкуса), Винкельмана (высокий ум).⁴⁵ Левитский в числе гениев называет Шекспира, Клопштока, Расина и Корнеля, Ломоносова, Хераскова и Державина.⁴⁶ В статье «О древней и новой поэзии» как оригинальные поэты поставлены рядом Корнель, Расин, Ариосто и Виланд, Данте и Мильтон, Шекспир и Шиллер.⁴⁷ Муравьев-Апостол считает, что французские классики подражали не только древним, но и новым оригинальным поэтам. В числе последних Данте, Ариосто, Тассо, Кальдерон и Лопе де Вега. Национальные литературы гордятся Сервантесом, Виландом, Лессингом, Гете, Шиллером, русские — Державиным.⁴⁸ Сомов очень подробно рассматривает немецкую литературу с точки зрения оригинальности и народности. Из русской литературы он выделяет «Слово о полку Игореве», Державина, Жуковского, Пушкина.⁴⁹ Кюхельбекер в таком же контексте называет Гете, Гомера, Пиндара, Расина, Шекспира, из восточных — Фирдоуси, Гафиса, Саади, Джамии.⁵⁰

Но на этом вопрос о «древних и новых» не кончался. Идея классиков о превосходстве древних и о сохранении ими для по-

⁴³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 11, с. 38.

⁴⁴ Северный вестник, СПб., 1804, ч. III, № 8, с. 123—137.

⁴⁵ О высоком или величественном. Творение Дионисия Лонгина, с. 47.

⁴⁶ Левитский И. Курс российской словесности для девиц. СПб., 1812, ч. 1, с. 46.

⁴⁷ Аврора, М., 1805, т. 1, № 1, с. 30.

⁴⁸ Сын Отечества, 1813, № 44, с. 226.

⁴⁹ Сомов О. О романтической поэзии, с. 69—70, 95—97.

⁵⁰ Декабристы, с. 552—553.

следующей литературы значения нормы и образца вела не только к догматизму (идеальный вкус и правила). Она была очень плодотворна. Понадобилось напомнить о ней и в начале 1800-х годов, а потом еще раз в 1810-е годы. Дважды было опубликовано «Рассуждение Вартона», переведенное из английского журнала «Adventurer» (1752—1754). Мы отстаем, читаем в нем, от древних в поэзии, живописи и красноречии, — во всех искусствах, требующих дарования, а не навыка, и превосходим в сочинениях забавных, шуточных, остроумных.⁵¹ Факт действительного превосходства древних не только над классиками, подражателями, но и над гениями нового времени в высоких жанрах трагедии и эпопеи и т. д. требовал объяснения. И вот в русской печати является историческая в своей сути концепция античной Греции как поры детства человечества. Здесь были использованы и некоторые идеи теоретиков классицизма (напр., Лагарпа), и теория Шиллера о наивной и сентиментальной поэзии. Идея эта будет развита в зарубежной эстетике — до Гегеля, Маркса, на русской почве — до Белинского, который мог опереться не только на немецкую, но и на русскую эстетику. В журнале «Чтение для вкуса, разума и чувствований» в переводе из Лагарпа говорится о наивном характере античной поэзии: «... у нас разум должен следовать за стихотворством весьма близко, а у греков его часто теряли из виду. Причина сему та, что они имели чем обойтись и без него, а мы не можем... быть столь великими музыкантами, чтобы нам позволено было несколько минут забвения».⁵² Мерзляков говорит о наивном характере древней поэзии, о ее преимуществе перед поэзией нового времени, украшенной философией.⁵³ Близок к этой идее и Рижский в рассуждениях о синкретизме лирической поэзии древних, о слиянии у них лирического и музыкального искусства.⁵⁴ То же у Язвицкого: «В стихотворстве, может быть, гораздо более чувствований, когда оно находилось в своем первобытном состоянии...»⁵⁵ Стихотворство, разделившись с музыкою, весьма много потеряло».⁵⁶ Эта идея, восходящая к Гердеру, органически вошла в «Рассуждение о лирической поэзии» Державина.⁵⁷ «В младенчестве человеческого рода всякая мысль была картина, всякое чувство было сильно, натурально и переходило непринужденно из сердца в язык», «сама истина тогда сильнее чувствовалась», «хотя об ней менее рассуждали».⁵⁸ Античность — неповторяющаяся ступень: младенец должен стать юношей, взрослым. «На

⁵¹ Вестник Европы, 1805, ч. XIX, февраль, № 3, с. 175—176.

⁵² Чтение для вкуса, разума и чувствований. М., 1791, ч. 1, с. 302.

⁵³ Мерзляков А. Слово о духе, отличительных свойствах поэзии первобытной и о влиянии, какое имела она на нравы, на благосостояние народов, с. 16.

⁵⁴ Рижский И. Наука стихотворства.

⁵⁵ Язвицкий Н. Введение в науку стихотворства, с. 25.

⁵⁶ Там же, с. 27.

⁵⁷ Державин, т. 7, с. 597—598.

⁵⁸ Аврора, М., 1805, т. 1, № 1, с. 20—21.

сей степени образования живые, разительные картины часто вынуждены уступить место холодным о вещах понятиям». ⁵⁹ У новых поэтов есть преимущества: глубже, величественнее стали идеи, духовность чувств (отношение к женщине), шире и богаче кругозор. «Если уже греки из тесного круга своей национальной истории могли почерпнуть столько предметов для своих эпопей, од и трагедий, то сколь богаче должны быть мы». ⁶⁰ В целом ряде статей говорится, что «новые» превосходят «древних» в сфере идеалов и уступают в «вещественности», в целостном ощущении природы, в наивности, в «реализме» (Ф. Шиллер). Кстати пришлось указание Вартона, что мы превосходим древних только в низких жанрах, в комедии, сатире. Эта мысль «подтверждала» концепцию Шиллера, выделившего в сентиментальной поэзии сатиру, предпочитавшего комедию трагедии. Отсюда мог следовать вывод об исторически непреодолимом разладе между идеалом и действительностью в сознании людей нового времени и об отсутствии такого разрыва в гармоническом сознании и искусстве древних, возникшем в условиях гражданской свободы. В 1810-е годы эта мысль выражалась не с пессимистической грустью о том, что античная утопия невозможна в современной действительности, а с тайной уверенностью, что, наоборот, пришло для России время напряженной гражданской жизни, борьбы за свободу. Главными факторами, питавшими эту уверенность, были, конечно, война 1812 г. и подымающийся декабризм.

Идея превосходства античной поэзии над современной несла в себе сгусток гражданских аллюзий и ассоциаций. «Античный народ — не только чернь, но все сословия, превыше всего ставили свободу, участвовали в правлении, были просвещены науками, вкусом. Вот почва для процветания искусства». ⁶¹

Древние оказываются нашими учителями: новые, учась у них, должны преодолеть не только свою рассудочность, но и свой идеализм, свою погруженность в идеальное, свою мечтательность и вернуться на почву реальности. Будущее объединит наивное и сентиментальное искусство. Эта очень глубокая мысль впоследствии «незримо» присутствует в статьях литераторов декабристского круга, потом у Надеждина и Белинского. В 1810-е годы все активнее звучат требования не только оригинальности, но и верности внешней природе, призывы запечатлеть обстоятельства, век, климат, нравы, обычаи, фольклор, народный характер. Статья «Фридрих Шиллер» («Аврора») — отклик на шиллеровскую теорию наивной и сентиментальной поэзии и возможного синтеза наивного и сентиментального начал: «Шиллер со степени идеального взирал на мир настоящий». Шиллер доказал, что идеи и идеал можно сов-

⁵⁹ Там же, с. 22.

⁶⁰ Там же, с. 29.

⁶¹ Труды общ. любит. рос. словесности при Моск. унив. М., 1812. ч. IV, с. 152.

местить с поэзией: «...перед зеркалом души его предстояла не только идея внешней красоты, как она, может быть, находилась в душе какого-либо греческого художника, но и идея гармонии, возвышающей все наши внутренние чувства... Он видел всего человека, как внутреннего, так и внешнего, нераздельно в идеальной форме, как только философ представлять может». ⁶² Очень интересно, что критика «унылого романтизма», субъективизма прозвучала из уст Жуковского в статье «О поэзии древних и новых», которая воспроизводит применительно к романтической поэзии концепцию Шиллера о «наивной и сентиментальной поэзии». «Новые» уступают «древним» в том, что слишком удалились «из чувственного мира» в мир мысленный, где нас окружают одни идеалы. Жуковский понимал, что надо, по словам Гете, обратиться более к «объекту».

К такой трактовке новой поэзии присоединялась концепция романтизма как поэзии средневековья, когда в отличие от времени язычества преобладает идеал над вещественной природой. Основа «средневекового романтизма» — понятия, введенные христианством, предметы — события первых веков, нравы тогдашних европейцев, подвиги рыцарей, защитников невинности и карателей злобы, а отличительное свойство — склонность к понятиям отвлеченным, унылая мечтательность и стремление к лучшему, блаженному миру. О. Сомов против такого узкого понимания романтической поэзии. Но и он признает: «Все, что мы, по нашим понятиям, представляем в виде отвлеченном, греки облекали в чувственные формы и отражали близко к понятиям первобытных веков». ⁶³ Рылеев учитывает это противопоставление: «Наша поэзия более содержательная, нежели вещественная: вот почему в нас более мыслей, у древних более картин; у нас более общего, у них частностей». ⁶⁴ Неясность и невещественность «унылого романтизма» вызывают критику Кюхельбекера (статья «О направлении нашей поэзии»). Выход — в народности, неподражательности. Пушкин-реалист разрешал эту проблему в первых главах «Онегина», где и откликнулся на статью Кюхельбекера (IV глава).

Мы видели, что в большинстве оригинальных работ 1800—нач. 1820 годов о проблеме древних и новых в центре внимания — русская литература. Шла переоценка ценностей. Пересматривались репутации Сумарокова и Хераскова, проходили испытания временем Ломоносов, Кантемир, Фонвизин, Державин, Крылов, Карамзин, Жуковский. Статьи о «новых и древних», поэтики и даже примечания к переводным теоретическим трудам (Лонгин, Батте) в сущности были заготовками будущих критических обзоров (А. Бестужев — Белинский), положивших начало созданию истории русской литературы (цикл статей Белинского о Пушкине).

⁶² Аврора, 1805, т. 1, № 1, с. 76.

⁶³ Сомов О. О романтической поэзии. . ., с. 18—25.

⁶⁴ Рылеев К. Ф. Несколько мыслей о поэзии. . ., с. 558.

С. И. НИКОЛАЕВ

ЭЛОГИУМ И ПРОПОВЕДЬ

(Проблемы изучения перевода «*Adverbia moralia*»

С. Х. Любомирского 1730 г.)

Ни один польский поэт XVII в. не был так популярен в переходный период русской литературы, как великий коронный маршал Станислав Хераклиуш Любомирский (1642—1702) — поэт, политик, переводчик и дипломат. Ни Петр Кухановский, племянник Яна из Чернолесья, ни С. Твардовский, ни В. Коховский, ни М. К. Сарбевский, чьи произведения были известны в России в оригиналах и переложениях, не могли сравниться с ним по количеству переведенных сочинений и множеству их списков.

В 1677 г. в Посольском приказе были переведены фрагменты его панегирика «Польская Муза», посвященного Яну III Собескому.¹ В 1730 г. с латинского языка переведены «*Adverbia moralia*». Очевидно, к первой четверти XVIII в. относится и перевод основного его сочинения на польском языке «Беседы Артаксеса и Эвандра». Этот перевод, сохранившийся в единственном

По композиции настоящий сборник состоит из двух разделов, продолжая тем самым традицию, сложившуюся в последних выпусках серии «XVIII век». Первый раздел полностью посвящен заглавной теме, т. е. вопросу о развитии исторического мышления в русской литературе конца XVIII—начала XIX в. Что касается раздела второго, то он по отношению к первому вовсе не занимает подчиненного положения, не представляет собою приложенных к исследованиям по заглавной проблеме «материалов и сообщений». Тема второго раздела соответствует теме серии. Это весь XVIII век, это писатели, произведения, жанры, которые формировали русскую литературу начиная с петербургского барокко и кончая сентиментализмом. Такая композиция объясняется тем, что сборники данной серии — единственное в советской науке издание, специально посвященное XVIII в. Сейчас, когда у нас и за рубежом заметно повысился интерес к первому столетию новой русской литературы, когда в этой области науки появилось много новых имен, необходима оперативная информация о вводимых в научный обиход фактах и идеях. Давать такую информацию, оценивать эти идеи и факты и призвана серия «XVIII век». — *Ред.*

¹ ЦГАДА, ф. 79, кн. 177, л. 481—485.

известном нам списке, носит название «Розмовы или беседы двух мудрых персон».²

В настоящее время известно 13 списков перевода «Adverbia moralia» 30—80-х годов XVIII в.³ Для настоящей работы изучено 6 списков. Полное текстологическое исследование и публикацию перевода мы намереваемся сделать в будущем. Задача этой работы — назвать основные проблемы, связанные с изучением этого перевода.

Русский перевод «Adverbia moralia sive de virtute et fortuna libellus» («Мировулия Тассалина притчи нравоучительныи о добродетели и фортуне с латинского языка на славенский переведены 1730-го году») известен в отечественной науке давно. В 1908 г. два списка перевода и польские издания 1688 и 1691 г. указал А. И. Соболевский.⁴ Однако оригинал был указан еще раньше А. Х. Востоковым, а позднее А. И. Артемьевым.⁵ После А. И. Соболевского перевод долгое время не привлекал внимания исследователей. В 1955 г. Д. И. Чижевский в небольшой заметке, посвященной нашему памятнику, обратил внимание на анаграмму (Mirobulius Tassalinus — Lubomirius Stanislaus) и впервые в русистике назвал автора — С. Х. Любомирского.⁶ В 1977 г. Н. Д. Численко прочла доклад об этом переводе на кафедре классической филологии филологического факультета ЛГУ.⁷ Этим и ограничивается историография вопроса.

² ЦГАДА, ф. 187, оп. 1, № 99. Рукопись описана, см.: *Пушкарев Л. И.* Обзор коллекции рукописных книг собрания ЦГАЛИ в ЦГАДА. — ТОДРЛ, т. XXVI. Л., 1971, с. 335. Оригинал и автор не указаны.

³ ГПБ, Q.XIV.24; собр. Вяземского, Q.XXX; собр. Михайловского, Q.229; Соловецкое собр., 31/1490; Собр. СПб. Духовной академии, № 160. ГБЛ, собр. Румянцева, 280. ГИМ, собр. Уварова, № 703/607. ЦНБ УССР — 4 списка, см. шифры: *Петров Н. И.* Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве. М., 1896. Вып. 2 (№ 188—191), с. 61. Библиотека Казанского университета, № 21395 (см.: *Артемьев А. И.* Описание рукописей, хранящихся в библиотеке имп. Казанского университета. СПб., 1882, с. 307—309). Библиотека Барнаульского краеведческого музея, без шифра, инв. № 2744 (см.: *Гузнер И. Н., Ситников А. А.* Библиотека Кольвано-Воскресенских горных заводов XVIII в. — В кн.: Вопросы истории книжной культуры. Новосибирск, 1975, с. 37). Для настоящей работы изучены списки ГПБ и ГБЛ. Большую помощь в разыскании списков нам оказали Б. А. Градова и А. М. Панченко. Текст перевода цитируем по списку ГПБ Q.XIV.24 с указанием номера притчи и листов рукописи.

⁴ *Соболевский А. И.* Из переводной литературы Петровской эпохи (Библиографические материалы). — Сб. ОРЯС, 1908, т. XXXIV, № 3, с. 26.

⁵ *Востоков А. Х.* Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музея. СПб., 1842, с. 400; *Артемьев А. И.* Описание рукописей... Казанского университета, с. 307. Оба указали 2-е изд. 1691 г.

⁶ *Suževskýj D.* Zu den polnisch-russischen literarischen Beziehungen. Stanisław Herakliusz Lubomirski in russischer Übersetzung. — Zeitschrift für slavische Philologie, 1955, Bd XXIII, H. 2, S. 256—260.

⁷ *Численко Н. Д.* Латинские притчи Ст. Х. Любомирского в русском переводе 1730 г. — В кн.: Тезисы докладов всесоюзной научной конфе-

«*Adverbia moralia*», написанные в 1666 г. и изданные в первый раз в 1688 г. под именем Миробулия Тассалина, пользовались необычайным успехом; всего было девять изданий — шесть на латинском и три на польском языке в переводе А. Х. Лапчинского (первое издание 1714 г.). Об этом произведении С. Х. Любомирского охотно писали разные исследователи, но не много, в общей сложности не более полутора десятков страниц. В основном это общие замечания об изысканной форме «*Adverbia moralia*». Говорилось также о том, что в этом сочинении Любомирский показал пилигрима, странствующего в лабиринте мира в поисках истины и мятущегося между добродетелью и страстями. При этом исследователи не скупчились на похвалы. Ч. Хэрнас назвал «*Adverbia moralia*» «последним выдающимся произведением новолатинской литературы», а Э. Андьял «одним из самых глубоких и самых ценных произведений славянского барокко».⁸ Однако эти вполне заслуженные и справедливые похвалы не только привлекают наше внимание к этому сочинению, но, не подкрепленные конкретным анализом, наталкивают на мысль, что вещь еще не прочтена и не исследована. Для того чтобы предложить свою, одну из возможных, интерпретацию перевода, обратимся к 1666 г., к тому времени, когда произведение было создано.⁹ Конкретная ситуация, в которой были написаны «*Adverbia moralia*», поможет уяснить и смысл перевода.

Обратимся к началу 60-х годов XVII в. В 1662 г. кн. С. Х. Любомирский — 20-летний молодой человек, только что вернувшийся из обязательного для магнатов путешествия по Европе, обласканный французским и испанским королями, австрийским императором, принятый папой Александром VII. Он прекрасно образован, знает пять языков, поклонник Монтеня и кавалера Д. Марино, которого уже перевел на польский. Карьера начинается блестяще, но на семью вскоре обрушивается удар судьбы.

Поездка за границу, по мысли его отца Ежи Любомирского, имела не столько образовательную, сколько дипломатическую цель: сын должен был представлять интересы отца при европейских дворах. Уже тогда Е. Любомирский, крупнейший польский магнат и прославленный военачальник, пытался противопоставить себя королю. Вернувшись в июне 1662 г. в Польшу, Станислав сразу попал в водоворот политических событий. Великий коронный маршал Ежи открыто выступил против короля; приговор

ренция «Проблемы античной истории и классической филологии». Харьков, 1980, с. 190—191.

⁸ *Hernas Cz. Barok. Warszawa, 1976, s. 478; Angyal A. Die slavische Barockwelt. Leipzig, 1961, S. 199.*

⁹ 1-е издание вышло в 1688 г., 1666 г. указан самим С. Х. Любомирским в 3-м изд., которое он подготовил незадолго до смерти и издал уже под своим именем. См.: *St. Lubomirii Repertorium opuscula latina, sacra et moralia. Varsaviae. A. D. 1701, p. 308.* Здесь же (с. 419) раскрыта и анаграмма, содержащаяся в последних стихах всей книги.

сейма 1664 г. был суров: конфискация имущества и изгнание. Отца представлял на этом суде его старший сын Станислав. Так Станислав стал свидетелем возвышения и падения своего отца. Однако этим дело не окончилось. Маршал Ежи бежал в Силезию и под лозунгом защиты « шляхетских вольностей » начал готовить второй по силе « рокош » (бунт) в истории Польши. Бунт, начавшийся в 1666 г., в том же году и окончился. После нескольких побед над королевскими войсками Ежи Любомирский просит прощения у короля Яна Казимира, получает амнистию, но возвращается в Силезию, где и умирает в январе (по другим сведениям — в феврале) следующего года. Полной его реабилитации С. Х. Любомирский добился позднее, в 1669 г.

Судьба отца, крупного магната, вознесенного судьбой и ею же сброшенного, послужила поводом С. Х. Любомирскому, как указывали некоторые польские исследователи,¹⁰ для написания общепhilosophических размышлений, щедро приправленных стоической философией.¹¹ Что есть человек? Как ему идти по праведному пути и где этот путь? Что брменная слава и что « постоянство » (*constantia*)? Следует тут же отметить, что эти темы, вообще популярные в барокко, в это время актуализировались. В наступлении и торжестве контрреформационного барокко после шведского « потопа » сыграло роль и недавнее изгнание ариан (антиринитариев) из Польши. Хотя нельзя сказать, что актуальны только эти мотивы. Ни христианский оптимизм, ни пессимизм в своих крайних проявлениях не могут быть признаны доминантой эпохи.¹²

Для своих размышлений С. Х. Любомирский избирает изысканную и изощренную форму. Вот как начинается произведение:

Ad vos loquor
O mortales!
Qui ad cognitionem conditionis
Humanae,
velut mutaturi, ad fontem Narcissi,
imo
Speculatores propriae vilitatis,
ad Speculum laboriosae miseriae animo
acceditis.
En
Primus ad vitam accessus,
Sufficiens ad mortem gradus
Est.¹³

¹⁰ См.: *Morawiecki St.* Stanisław Herakliusz Lubomirski. Kilka kart z młodych lat oligarchy, 1661—1667. — In: *Sprawozdanie dyrekcji gimnazjum III w Krakowie za r. 1901.* Kraków, 1901, s. 7—13. *Chrzanowski J.* Stanisław Herakliusz Lubomirski (Próba wyjaśnienia sprzeczności). — *Myśl narodowa*, 1930, N 10, s. 150—153.

¹¹ Ср.: *Кланицаи Т.* Что последовало за Возрождением в истории литературы и искусства Европы. — В кн.: *XVII век в мировом литературном развитии.* М., 1969, с. 93—95.

¹² *Панченко А. М.* Два этапа русского барокко. — *ТОДРЛ*, т. XXXII, Л., 1977, с. 100.

¹³ *Mirobulii Tassalini Adverbia moralia.* Varsaviae, 1688, p. 7.

К вам глаголю,
 О смертныи!
 Иже к познанию состояния человеческого,
 аки пременитися имущии
 при источнике наркисове,
 или паче
 созерцатели собственной худости,
 ко зеркалу многотрудной бедности
 душою приступаете. //
 Се
 первый к житию приступ,
 довольный к смерти степени
 есть.

(I, л. 3—3 об.)

Однако в определении жанра мнения исследователей разделились, вернее, они полны недомолвок.

Некоторые вовсе не затрагивают этого вопроса. Ч. Хэрнас пишет, что «трудно отнести „Adverbia“ к прозе или поэзии. Несомненно, они основаны на принципах риторической прозы, но поэт создает не торжественную речь, а моралистический монолог».¹⁴ Э. Андьял,¹⁵ и А. А. Морозов¹⁶ называют «Adverbia» стихотворениями, хотя Э. Андьял и оговаривается, что это «свободные стихи». Другие пишут, что Любомирский дал здесь образцы элогического стиля.¹⁷

Действительно, здесь мы имеем дело с элогиумом — паралитературным жанром, популярным в XVII в., а потом забытым. Этот жанр, описываемый почти исключительно в риториках, высоко оценивался современниками.¹⁸ Так, французский иезуит Пьер Лаббе писал, что «элогиум — цвет и суть элоквенции» (с. 155), «это сила, дух, душа и суть панегирика... пятая субстанция, суть сути, цвет цветов, влага влаги, золото золота, металл металла. Чем для химиков есть золото золота, тем для элогистов элогиум: панегирик панегириков» (с. 158). Различные виды элогиумов Б. Отвиновская объединила в четыре группы: религиозные, исторические, панегирические и медитативные (с. 161). Одним из мастеров религиозных элогиумов был, например, «Буало барокко» Эмануэле Тезауро.

О метрической природе элогиума Б. Отвиновская пишет, что это «неметрическое поэтическое произведение» (с. 172). Теоре-

¹⁴ *Hernas Cz.* Barok, s. 478.

¹⁵ *Angyal A.* Die slavische Barockwelt, S. 197.

¹⁶ *Морозов А. А.* Новые аспекты изучения славянского барокко. — Русская литература, 1973, № 3, с. 22.

¹⁷ *Pelc J.* Obraz-słowo-znak. Wrocław, 1973, s. 200; *Морозов А. А., Софронова Л. А.* Эмблематика и ее место в искусстве барокко. — В кн.: Славянское барокко. М., 1979, с. 29.

¹⁸ Обстоятельную работу посвятила элогиумам Б. Отвиновская, где она привлекла богатый материал из риторик XVII в. См.: *Otwinowska B.* Elogium — «flos floris, anima et essentia» poetyki siedemnastowiecznego panegiryzmu. — In: *Studia z teorii i historii poezji.* Wrocław, 1967, s. 148—184. Далее ссылки в тексте с указанием страницы.

тики XVII в. указывали, что элогиум — «свободная поэзия» (*libera poesis*, с. 154), что писать элогиум следует «наподобие стихов» (*ad instar versus*, с. 165), однако стихи могут быть разной величины в зависимости от требований смысла и сочетать следует стихи разной длины. Непременное требование к элогиуму — «краткий и острый стиль» (терминология В. К. Третьяковского) и обилие концептов, хотя бы по одному на три стиха, при этом необходимо следить, чтобы один концепт вытекал из другого.

«*Adverbia moralia*», полностью отвечающие этим требованиям, мы относим к медитативным элогиумам. 15 рассуждений Любомирского — это 15 небольших эмблематических трактатов, где полностью соблюдена «триада» эмблемы — изображение, надпись и подпись (*imago, inscriptio, subscriptio*).

«*Adverbia*» отчетливо разделяются на две части: первые тринадцать рассуждений посвящены выяснению добродетелей: благочестие, великодушие, воздержание, милосердие, смирение и т. д., причем всегда в сопоставлении с антонимом, например: «Притча 10. 0. Смирение возносит, гордость низвергает и оуждает», «Притча 11. РАДИ. Щедролюбие хвалит, благодеяние разделяет, неблагодарствие уничтожает» и т. д. Приведем пример подобного уяснения и объяснения аксиом Любомирским: «Притча первая. К или КО. Начало состояние человеческое и его слабость изъясняет и учит. . .»

Что убо есть человек?

Животное.

Бедное, неблагополучное,

безопасное,

сметите естества, узник греха,
орудие злобы, цель фортуны.

Корабль

известен разбиения

и смерти корысть

известнейшая.

Что же есть жизнь?

Пища бедности человеческая,

губа неблагополучия и беззаконий,

пламень вождения,

дым, воздух, ветр,

прах, сень //

и ничто же.

К чесому

убо родихомся?

Поистинне

не к злодеянию,

ниже

к пированию,

ниже

к питию,

ниже

к играм,

ниже

к роскошам,

ниже

к веселию,

ниже

к плясанию, //

ниже

к музыке,

ниже

к светлому украшению,

ниже

к собранию богатств,

ниже

к насыщению последних,

ниже

к снабдению благодарных,

ниже

к победам суетным,

ниже

к временной славе,

ниже

к прочим тщетным,

и скоропреходящим. //

Но

к чесому убо!

Ко

доброму житию.

Первые 13 «Притч» — подготовка, как нам кажется, к двум заключительным, важнейшим, в которых и заключаются размышления Любомирского, связанные с событиями 1666 г.: «Притча 14. ИЗ. Фортуну з добродетелию ровняет и оныя лщине показывает и учит, яко оной верити мало долженствуем», «Притча 15. СЕ. Чести суету и бедствия начальников от добродетели отступивших и в чом праведная честь состоит учит». Человек, добившийся власти и «отступивший от добродетели» — «игралище Фортуны». И в XV «притче» Любомирский дает грандиозный, из 72 имен, каталог «кесарей почтенных или паче убиенных», так или иначе «избоденных, убиенных, усеченных, разтерзанных, низверженных». Таков итог размышлений Любомирского «о временной славе мира сего», это и итог его размышлений о 1666 г., о судьбе своего отца.

Таким образом, мы связываем написание «*Adverbia moralia*» с ситуацией переворота, шумного возвышения и столь же шумного падения «счастливица», вознесенного на колесе Фортуны и сброшенного с этого колеса.¹⁹ И несмотря на общечеловеческий смысл этого сочинения (и ему подобных), в эпохи социальных катаклизмов и перемен актуализируется именно связь с конкретным событием.

Аналогичный пример можно найти и в истории русской поэзии XVII в. Откликом на свержение царевны Софьи и падение ее фаворитов были опять-таки «нравоучительные» «Рифмы краесогласнии о прелести суетного сего мира и буйстве, како мир другом своим, ихже прелщает в мале, зле ругается вечно», написанные в 1691 или 1692 г. Так же как и Любомирскому, переворот дал повод для рефлексии неизвестному автору этого сочинения, из которого читатель «буйство мира, яко вся, яже в нем сущая, суетна, изменна, непостоянна, скоропреходна, паче же и окаянна, удобь познати может».²⁰ Характерно, что и русский поэт воспользовался редкой и изысканной для своего времени формой: пятистишие (6+6+6+3) с пятым холостым стихом. Отметим и то, что в подобных спекулятивных рассуждениях конкретный повод, по которому они написаны, *expressis verbis* не обозначен. Это свойственно поэтике как барокко, так и классицизма.

Так мы предлагаем и русский перевод 1730 г. понимать как отклик на современные события. А события этого года давали много поводов к таким размышлениям.

¹⁹ Колесо Фортуны изображено на гравюре к XIV «притче». Этот сюжет популярен в эмблематических и гадательных сочинениях. См., например, «*Fortuna albo szczęście*» («Фортуна или счастье») Я. Гавиньского (Kraków, 1690). Очевидно, перевод этой книги был в библиотеке кн. Д. М. Голицына. См.: Материалы для истории имп. Академии наук. СПб., 1887, т. IV, с. 180.

²⁰ Папченко А. М. Стихотворный отклик на свержение царевны Софьи. — В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1974. М., 1975, с. 87.

1730 г. уже начался трагически. Дворянство, съехавшееся на свадьбу Петра II, неожиданно оказалось на его похоронах — 19 января во втором часу ночи император скончался. Подобная неожиданность, внезапность смерти и наступивших событий привели к смятению умов. Современники отмечают прежде всего чувство неуверенности у всех, беспокойства, «беспамятства». Говоря словами Петра Буслаева, «в алтерацию многие пришли несколько в молчании пребыли».²¹ А. С. Демин считает образ ослепшего, обеспамятевшего героя характернейшей чертой литературы этого времени.²²

Колесо Фортуны вертелось все быстрее и быстрее: провал планов верховников, воцарение Анны Иоанновны, скорое падение (в апреле) временщиков кн. Долгоруких и появление новых фаворитов. Можно полагать, что «Adverbia» были переведены уже после стремительных событий начала года.

Кто он, герой «Притч» Любомирского? Судя по XIV и XV «притчам», это человек, находящийся в непосредственной близости к трону, оказавшийся высоко вознесенным случаем, Фортуной, которая

сего низлагает от престола,
 онаго скипетром уязвляет,
 сего тернием венчает,
 онаго богатствы погубляет,
 сего навета погтми терзает,
 онаго златыми удавляет оковы. //
 Сия ли есть временщиков слава?
 Сия ли щасливцов радость?

(XIV, л. 67 об.—68)

Коликих	
Из мучителей	царей содела?
Из царей	слугами?
Из развращенных	началников?
Из начальников	последними?

(XIV, л. 69)

Если в первых 13 «притчах» преобладает «наставление» нравственное, то в двух последних — политическое. Подобных сочинений, в том числе эмблематических, много было переведено в петровскую эпоху. Почти полностью этот репертуар представлен в библиотеке кн. Д. М. Голицына, где наряду с новейшими сочинениями по политическим наукам, в основном на французском языке, находим и ряд переводных, в том числе и старопольских, произведений, проникнутых стоицизмом. Например, «Притчи эфические, егда блаженство житейское во обыкновении или в делах добродетели», «Како нам противо самих себе воздержатися»,

²¹ Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв. Л., 1970, с. 393.

²² Демин А. С. Русская литература второй половины XVII—начала XVIII в. М., 1977, с. 254—267.

«Разум Сенекин или лутчия решения сего философа», «Андрия Максимиана Фредра наказание правоучительная» и др.²³

Кн. Д. М. Голицын и его судьба для нас представляют определенный интерес как пример человека, о котором идет речь в переводе, при этом мы делаем упор на заключительные притчи. Вот некоторые его характеристики, принадлежащие иностранцам: «У него было достаточно ума, но было много и злости, тщеславие невыносимое и гордость беспримерная» (де Лирия),²⁴ «он красноречив, смел, предприимчив, исполнен честлюбия и хитрости, замечательно воздержен, но надменен, жесток и неумолим» (Рондо).²⁵ Эти характеристики совпадают не только между собой, но и сходны с тем «игралищем Фортуны», которое описывает Любомирский в XIV притче. Замечательно охарактеризовал Голицына Д. А. Корсаков: «... двулицый Янус, стоящий на рубеже двух эпох нашей цивилизации — московской и европейской. Одним лицом своим он вдумчиво глядит в былое Руси, другим — самонадеянно приветствует ее грядущее».²⁶ «Важный и угрюмый» (Рондо) Голицын не был, да и не хотел быть фаворитом, но «временщиком» (в значении *fortunatus*) он был, когда же его попытка «ухватить фортуна за власы» не удалась, он отошел от борьбы, «всю суету отринувши», произнеся известную фразу: «Трапеза была уготована, но приглашенные оказались недостойными».²⁷ Видно и из дальнейшей его жизни, что он хорошо знал «науку двойной жизни», которую провозглашали писатели барокко, да и сам Любомирский.²⁸ Из круга, о котором идет речь и которому может быть адресован перевод, нужно, конечно, исключить таких откровенных авантюристов, временщиков-фаворитов, как кн. Долгорукие.

Не следует забывать, что перед нами несомненно элитарное произведение. Переводчик, следуя за оригиналом, стремился сохранить изысканную форму, хотя рукопись, конечно, не может передать богатых возможностей типографского набора. В латинском издании используются четыре вида шрифтов, образующих

²³ Материалы для истории имп. Академии наук, с. 186, 188, 181.

²⁴ Сын отечества, 1839, т. XII, с. 108.

²⁵ Рондо К. Характеры некоторых русских вельмож. — ЧОИДР, 1861, кн. 2, отд. 4, с. 5.

²⁶ Корсаков Д. А. Из истории русских деятелей XVIII в. Казань. 1891, с. 222.

²⁷ Там же, с. 226.

²⁸ Любомирский сформулировал это следующим образом: «Я дурно жпл и хорошо, пример вам подаю: Вкусил я вдосталь мира и все-таки в раю». Постулату «двойной жизни» чужды цинизм и неискренность. Например, их не следует видеть в завещании Любомирского, которое он заканчивает такими словами: «С радостью оставляю все блага земные для лицезрения в вечности бога», а перед этим «земные блага» тщательно сосчитаны: «Трижды 120 000 и 8495 золотых и 2 гроша pro moneta currenti все золотом и серебром» (*Pollak R. Od Renesansu do Baroku. Warszawa, 1969, s. 256—257*). Сенека тоже оставил огромное состояние.

то прихотливые фигуры, то совершенную форму квадрата. Кстати говоря, издание было типографским шедевром, типографской неожиданностью своего времени.²⁹ Гравюры были выполнены по рисункам Тильмана Гамерини (1630—1706 гг.), голландца по национальности, придворного архитектора С. Х. Любомирского, считающегося крупнейшим архитектором в Польше во второй половине XVII в. В переводе, правда, лишь в двух из просмотренных нами списков (ГПБ, Q. XIV. 24 и списке Казанского университета, № 21395) тщательно перерисованы с двукратным увеличением все 16 гравюр оригинала, в том числе и с фронтисписа.

Что можно сказать о жанре рассматриваемого произведения? Пока не удалось обнаружить каких-либо сведений о восприятии перевода на русской почве. Данными, которые обычно используются при изучении рецепции любого произведения,³⁰ мы не располагаем. Единственно, из чего мы можем исходить, — это только из самого факта перевода, что обрекает нашу реконструкцию восприятия на неполноту, несмотря на то что перевод, даже такой пословный, как наш, это уже интерпретация и самая прямая форма комментария. Поэтому, избегая дефинитивности, попытаемся определить направление, в котором шло изменение (если таковое было) жанра. Этот момент мы акцентируем потому, что в изучаемую, как и в предшествующую, эпоху жанр определял стиль восприятия.³¹

Необходимо сделать следующую оговорку. В данном случае положение осложняется тем, что мы не имеем генеалогических указаний в переводе. Например, в театральных адаптациях польских поэм XVII в. («Дафны» С. Твардовского, «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо—П. Кохановского) в петровскую эпоху указание есть уже в заглавии — «действие», «диалог», налицо была и жанровая трансформация. С переводом «Притч» сложнее. Вряд ли «притчи» указывают определенно на жанр (само такое указание было бы неопределенно). По нашему мнению, это попытка, и довольно удачная, перевода заглавия «*Abverbia moralia*» (дословно «правоучительные наречия» или «присловья»). Видеть в переводе «Притч» некие русские элогиумы нет оснований и прежде всего потому, что уже теоретики XVII в. писали о том, что на национальных языках элогиумы невозможны, возможно лишь использование элогиального стиля.³² Это подтверждается, кстати, тем, что в русской поэзии XVII в. нам известно одно стихотворение

²⁹ *Pollak R.* Od Renesansu do Baroku, s. 259, przyp. 48. Польское издание (перевод Лапчинского) выглядит гораздо беднее. Оно набрано одним шрифтом, нет в нем и гравюр.

³⁰ Примерный обзор их и характеристику см.: *Głowiński M.* Style odbioru. Kraków, 1977, s. 116—137.

³¹ См.: *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М., 1979, с. 55—79, особенно с. 62—67.

³² *Otwinowska B.* Elogium..., s. 172—174. Ср.: *Панченко А. М.* Протопоп Авакум как поэт. — Известия АН СССР. Сер. лит. и яз., т. 38, 1979, № 4, с. 300, прим. 1.

с этим названием, но в греческой его форме. Это «Елогион» Симеона Полоцкого в «Орле Российском».³³ Однако это обычное панегирическое стихотворение, довольно большое (246 стихов), написанное изосиллабическими стихами и не имеющее ни одного признака элогиума. Вообще поиски жанрового соответствия «Притч» в русской поэзии того времени бесперспективны хотя бы потому, что «Притчи» затерялись бы в общей массе стихотворений, а это в свою очередь лишило бы перевод качества элитарной исключительности, к тому же никакой метрической константы в переводе не обнаруживается. В русском переводе мы имеем дело с ритмической прозой.

Представляется, что «Притчи» Любомирского воспринимались как жанр красноречия, здесь существенна и риторическая природа элогиума — «цвета и сути элоквенции». Мы считаем, что «Притчи» следует рассматривать в ряду таких жанров, как правоучительная («совещательная») проповедь, слово, поучение.³⁴ Дело не только в том, что мы можем подыскать сходные слова и поучения современных авторов о добродетели. Прежде всего форма отвечает требованиям проповеди. В «Притчах» выделяется и «фема», и «экзордиум», и «наррация», и «конклюзия». В начале каждой «Притчи», кстати, обозначено, что она «учит», «хвалит», «разделяет», «показует», «изъявляет». Например: «Притча первая. К или КЮ. Начало состояние человеческое и его слабость изъяняет и учит, яко человек родится точию ко доброму житию». Надпись (*inscriptio*), с которой начинается каждая притча, следует понимать как «фему» (тему).³⁵ Слова *data damus*, открывающие XI притчу, передают «туне прияли, туне и отдаем или данное даем». Обратим внимание на перевод. Если текст, как правило, переводится пословно, то надписи — «объяснительно», пространно. Это различие ясно, например, из различия в передаче слов *ad bene vivendum* в притче I. В заглавии и в заключительных строках их русский адекват — «ко доброму житию». А вот как выглядят они в надписи: «человек родится на добро, не на худо».

Приведем образец «наррации» из XV «притчи»:

Но что же суть человеческии чести?

Разве сень.

Что достоинство?

Разве совершенное суетныя надежды человеческия

воздаяние,

скрытая беда,

поджога гордости,

суеты зеркало,

³³ Орел Российский. Творение Симеона Полоцкого. Сообщил Н. А. Смирнов. СПб., 1915, с. 14—24.

³⁴ В данном случае эти термины мы употребляем как взаимозаменяемые.

³⁵ В списке ГПБ. Q.XV.24 перевода надписей нет. Цит. по: Артемьев А. И. Описание рукописей... Казанского университета, с. 308—309. Из известных нам списков только в этом есть переводы надписей, список датирован 1755 г.

краткий да острый». О стиле в другом месте: «В исчислении доводов» приличны «делная ясность штиля и сильная его важность, которая познавается или чрез восклицания или чрез вопрошения».³⁶ «Краткий и острый стиль» — это как раз *stylus acutus vel argutus et concisus, brevis, laconicus* элогиумов.³⁷ Высокий стиль «Притч правоучительных» — результат того, что они были отнесены к правоучительному, или советательному, роду красноречия.

Мы уже говорили, что в элогиуме сочетаются строки разной длины, а это вместе с употреблением различных шрифтов служит обозначению интонации. Графически выделенные синтаксические аналогии, факультативные анафоры создают ритм прозы, в этом принимает участие и такой вторичный стиховой признак, как нерегулярные звуковые повторы. Этот эстетический элемент в переводе выполняет важные функции. Наглядным примером может послужить, кроме цитированных фрагментов, упоминавшийся грандиозный каталог погибших цезарей, в котором ритм задается параллелизмом синтаксических конструкций, а следование тактов один за другим в одной интонации создает впечатление безысходности.

Бытование перевода в духовной среде (об этом свидетельствует изучение рукописей и его близость к жанрам красноречия) позволяет предположительно очертить тот круг, в котором перевод возник. Неизвестный переводчик принадлежал, по нашему мнению, к староцерковной партии, во главе которой некогда стояли Димитрий Ростовский и Стефан Яворский. Налицо признаки этого — творческая независимость, элитарность, эрудиция, даже идея «оправдания делами» (см. притчу X). Это клерикально-консервативное направление после смерти Петра I оживилось.

Д. М. Голицын, о котором уже упоминалось, мог быть в той или иной степени причастным к возникновению перевода. Это, во-первых, сторонник староцерковной партии. Это, во-вторых, знаток и ценитель польской литературы, в частности поэзии. Это, наконец, главный герой 1730 года, а именно 1730 годом перевод датирован во всех списках.

Такое хронологическое постоянство (ведь дата перевода в рукописной традиции очень часто утрачивается), быть может, не случайно. Многозначные аллегории притч Любомирского читатель XVIII в. продолжал соотносить с обстоятельствами воцарения Анны Иоанновны, когда была окончательно удалена от власти русская аристократия и ее глава — Д. М. Голицын.

³⁶ Цит. по: *Петров Н. И.* Иеромонах Ефрем Диаковский, киевский гомилет и проповедник второй половины XVIII в. — ТКДА, 1893, № 7, с. 460, 457.

³⁷ Кроме работы Б. Отвиновской, см.: *Rynduch Z.* Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku. Gdańsk, 1967, s. 82—85 и др. О том, что в элогиумах следует употреблять высокий стиль, говорит и Порфирий Крайский в своем курсе риторики 1733—1734 гг. См.: *Вомперский В. П.* Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. М., 1970, с. 201.

С чисто художественной точки зрения это переводное произведение также «уместно» как раз в этот период. По стилю «Притчи» Любомирского — реликт вкусов и эстетических пристрастий полонофильской партии конца XVII в.

Случайно получилось так, что время перевода совпадает с условной границей древней и новой литературы. «Притчи», с одной стороны, и «Езда в остров Любви» — с другой (единственное художественное сочинение, напечатанное в 1730 г.), символически обозначают эту границу. Оба барочных сочинения, созданных в одно время («Притчи» в 1666 г., а роман П. Тальмана в 1663 г.), были переведены с большим опозданием. Противостояние этих переводов на русской почве очевидно, начиная от культурной ориентации (консервативное полонофильство и ориентация на страны Западной Европы). Достаточно напомнить, что Тирсис «поехал в одну землю, которая называется Роскошь»,³⁸ а в «Притчах», напротив, утверждается, что «родихомся поистине... не к роскошам». Противостоят друг другу «простое русское слово» Третьяковского и «глубокословная славенщизна» переводных «Притч».

После 1730 года польская поэзия в оригинале или переводе уже выходит за пределы чтения аристократии и интеллигенции. Если в 1735 г. Третьяковский в «Эпистоле» еще неопределенно высказался о польской поэзии:

Чрез тебя гласит стихом польская спесиво,
Иногда ж весьма умно и весьма учтиво,³⁹

то С. Г. Домашнев в 1762 г. просто отказывает ей в праве на существование: «Польский язык не был способен к стихам; и хотя на нем оные и пишут, однако никто себя отменно не оказал».⁴⁰ Богатство польской поэзии пришлось заново открывать уже русскому романтизму.

³⁸ Езда в остров Любви. Переведена с французского на русский Василием Третьяковским. 2-е изд. СПб., 1778, с. 3.

³⁹ Третьяковский В. К. Избранные произведения. М.; Л., 1963, с. 393.

⁴⁰ Домашнев С. Г. О стихотворстве. — В кн.: Материалы для истории русской литературы. Изд. П. А. Ефремова. СПб., 1867, с. 189.

С. А. КИБАЛЬНИК

ОБ ОДНОМ ФРАНЦУЗСКОМ ИСТОЧНИКЕ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ТРЕДИАКОВСКОГО

Эстетические взгляды В. К. Тредиаковского сложились под влиянием французской литературы и эстетики. Особенно интенсивным это влияние было в 1727—1730 гг., когда поэт находился во Франции. «Французский период жизни поэта, — писал П. Н. Берков, — несомненно сыграл определенную роль в его судьбе и вместе с тем в истории русской литературы: ведь Тредиаковский открыл для своего времени французскую жизнь и французскую литературу».¹ Влияние французской культуры отразилось на всем поэтическом, филологическом и переводческом наследии Тредиаковского.

В недавно опубликованной статье И. Ф. Мартынова «Тредиаковский и его читатели-современники» содержится любопытное известие о конволюте, первую часть которого составляет печатный экземпляр первого издания «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» В. К. Тредиаковского, а вторую — анонимная рукописная риторика без названия на латинском языке.² На внутренней стороне верхней крышки переплета владельческая запись: «Сия книга брегадира Ивана Маслава. Подарена от Академии секретаря господина Тредиаковского в Санктпетербурхе в 1741 году».

Содержание риторики дает веские основания для того, чтобы считать ее сочинением французского автора: примеры на латинском и французском языках представляют собой отрывки из произведений или целые произведения древнеримских и французских писателей, часто упоминаются какая-то академия и академики и приводятся цитаты на французском языке из речей, произнесенных в академии (л. 1, 3, 5, 39 ркл.). Это подтвер-

¹ *Berkov P. N* Des relations littéraires franco-russes entre 1720 et 1730: Trediakovskij et l'abbé Girard. — *Revue des études slaves*, t. 35, 1958, p. 7.

² *Мартынов И. Ф.* Тредиаковский и его читатели-современники. — В кн.: *Венок Тредиаковскому*. Волгоград, 1976, с. 82.

ждается и данными палеографии: бумага, на которой записан текст риторики, произведена в Париже.³

По манере изложения материала и по характеру записей можно заключить также, что рукопись является конспектом лекционного курса. Естественно предположить, что «*Articulus unicus de rhetoricae definitione*» представляет собой конспект Тредиаковского лекций по риторике, прослушанных им в Париже в промежутке между 1728 и 1730 годами. Но рукопись не является автографом Тредиаковского. Сравнение почерка, которым написана риторика, с почерком писем поэта на французском языке И.-Д. Шумахеру от января 1731 г. дает слишком существенные расхождения, чтобы можно было считать эти тексты написанными одной и той же рукой.

Вполне возможно, впрочем, что Тредиаковский слушал эти лекции или хотя бы некоторые из них, а затем использовал конспект, принадлежавший другому лицу. Во всяком случае содержание риторики с несомненностью обнаруживает факт знакомства Тредиаковского с этими лекциями. Например, комплекс примеров, которыми автор иллюстрирует положения своей риторики, показывает, что она оказала некоторое влияние на литературные симпатии и переводческую практику русского поэта.⁴

Основным источником примеров в риторике служат речи Цицерона. Из других «древних» автор цитирует Вергилия, Сенеку, Ливия, Лукана, Саллюстия. В главе «О чтении» он рекомендует

³ Приводим описание конволюта: БАН, Тек. пост. № 41. Конволют в четверть листа (48+86). Состоит из двух частей: 1) л. 1—48 — печатный экземпляр «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» В. К. Тредиаковского. СПб., 1735; 2) л. 49—135 — рукопись без названия на латинском языке с примерами на латинском и французском языках, которая начинается с обозначения одного из ее разделов: «*Articulus unicus de rhetoricae definitione et huiusce tractatus divisione*» (Статья особая об определении риторики и здесь же трактат о ее разделении). Скоропись, почерк один. Листы 48, 134, 135 без текста. На титульном листе «Нового и краткого способа» надпись рукой автора: «Тредиаковского». Здесь же, а также на 11-й странице «Способа» печать библиотеки казанских историков литературы М. П. и Н. М. Петровских. Обычный экземпляр первого издания «Способа» меньше по формату, чем рукопись. Поэтому при создании конволюта 2, 3, 4 и 5 листы трактата Тредиаковского были надставлены. Остальные листы, очевидно, были взяты из корректурных листов издания и обрезаны специально для конволюта по формату рукописи. Автограф «Тредиаковского» на титульном листе «Способа» стоит на надставленной части листа. Следовательно, конволют был сделан самим Тредиаковским или по его заказу. Переплет картонный с таким же корешком. Филигрань на бумаге «*Articulus unicus de rhetoricae definitione*» — гербовый щит с изображением двух грифонов и короной наверху. Эта филигрань зафиксирована в «*Watermarks mainly of the 17-th and 18-th centuries*» by E. Heawood (*Hilversum* (Holland), 1950) под номером 714, что дает: Париж, 1728 год.

⁴ Примеры в риторике почти всюду даются без указания на их источник и автора. За помощь в работе по атрибуции примеров выражаю признательность М. В. Разумовской.

читать латинские речи Ювенка и Коссарция,⁵ речи «господ академиков», а также латинские панегирики Плиния Младшего, Сенеки, Паката и Мамертина (л. 39). Интересно, что, собираясь в 1748 г. читать лекции по риторике в Петербургской академической гимназии, Тредиаковский планировал «для экзерциции в латинском стиле... читать и толковать своим слушателям орации и панегирики из латинских историков: Мамертина, Назария, Авзония и Паката. Иногда же вместо их панегириков по Цицероновой орации».⁶ Как и для автора риторики, Цицерон для Тредиаковского был наибольшим авторитетом в области ораторского искусства. «Невозможно не иметь такова об его красноречия мнения, — писал он в «Разговоре об Ортографии», — что бог нарочно восхотел и благоволил поставить в Цицероне меру человеческого красноречия...»⁷

Из «новых» в риторике часто цитируются речь Э. Флешье на смерть Тюренна,⁸ речь на смерть принца Конде. Упоминаются несколько раз со всевозможными похвалами и цитируются «Приключения Телемака» Фенелона, целиком приводится сонет второстепенного французского поэта XVII века Ж.-В. Барро «Grand Dieu! que tes jugemens sont remplis d'équité», неоднократно цитируются «Поэтическое искусство» и сатиры Буало, «Энеида» в переводе Ж. Сегре. В экземплярный фонд риторики входят также произведения Пьера и Тома Корнеля, Расина. Из теоретических руководств автор ссылается на Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана. Приводятся в риторике и цитаты из христианской литературы: Евангелия, Иоанна Златоуста, Иеронима, Тертуллиана, Киприана, Августина.

Таким образом, многие примеры представляют собой произведения или отрывки из произведений, которые впоследствии Тредиаковский перевел на русский язык. Это «Поэтическое искусство» Буало, «Приключения Телемака» Фенелона и сонет Ж.-В. Барро (в переводе Тредиаковского «Боже мой! твои судьбы правости суть полны»). Большинство же других примеров взяты из авторов, которые в представлении Тредиаковского занимали самое высокое место в иерархии писателей.

В «Эпистоле от Российския поэзии к Аполлину» Тредиаковский восхваляет Вергилия, Сенеку, Расина, обоих Корнелей, Буало. Знал и высоко ценил переводчик «Древней истории» и «Римской Истории» сочинения Плиния Младшего, Ливия, Лу-

⁵ Имеются в виду, очевидно, «Речи и оды» французского иезуита Габриэля Коссара, профессора риторики в Коллеж де Клермон (*Cossart G. Orationes et carmina. Paris, 1675*).

⁶ *Пекарский П. П. История Академии наук в Петербурге. СПб., 1873, т. 2, с. 124—125.*

⁷ *Тредиаковский В. К. Разговор между Чужестранным человеком и Российским об Ортографии старинной и новой. СПб., 1748, с. 176.*

⁸ Ср. л. 4, 17 об. рукописи и *Fléchet E. Recueil des Oraisons funèbres. Paris, 1788, p. 87.*

кана, Саллюстия и патристику. Высоко оценивал Тредиаковский перевод Сегре «Энеиды». Похвалы многим другим цитируемым в риторике авторам разбросаны по всем произведениям Тредиаковского.⁹

По составу «*Articulus unicus de rhetoricae definitione*» представляет собой риторику обычного типа. Она состоит из пяти традиционных частей риторики: книга I — «Об украшении», книга II — «Об изобретении», книга III — «О расположении и порядке речи», книга IV — «О памяти», книга V — «О действии оратора, то есть о голосе и жесте». Автор ориентируется прежде всего на дворянское сословие. Обычна формула: «Молодой дворянин должен...» (л. 3). Часто в риторике пренебрежительно говорится о плебейх, часты насмешливые замечания о языке улицы и рынка. Через весь курс проходит мысль о делении речи «на обыкновенную, коей народ в повседневной речи пользуется... без мысли, без искусства, без убранства» и «украшенную, которая обладает красотой, стройностью и достоинством, что достигается искусством, соразмерностью периодов и блеском фигур...» (л. 2).

Существенно для автора понятие меры: «Следует остерегаться, чтобы метафора не стремилась стать длиннее, чтобы сравнение не было слишком далеким, чтобы не чрезмерно возвышенна или снижена была речь» (л. 9). Рекомендую такие фигуры, как аллюзия и градация, автор предостерегает, чтобы смех не оказался пошлым, подобным уличным шуткам (л. 13, 14). Выше всего он ставит латинских и французских поэтов: «Французские имеют больше блеска, латинские — больше силы и, возможно, составлены более ярким языком» (л. 32).

В творчестве Тредиаковского можно обнаружить некоторые эстетические идеи и представления, чрезвычайно созвучные этим лекциям. Так, в «Речи к членам Российского собрания» Тредиаковский призывал равняться на язык «знатнейшего и искуснейшего» дворянства: «Украстит оной в нас двор ея величества, в слове науचितвейший и богатством наивеликолепнейший. Научат нас искусно им говорить благоразумнейшие ея министры и премудрейшие священноначальники... Научит нас и знатнейшее и искуснейшее дворянство».¹⁰

Речь дворянства привлекала Тредиаковского именно как речь украшенная, искусная: «С умом ли общим употреблением называть, какое имеют деревенские мужики, хотя их и больше, нежели какое цветет у тех, которые лучшую силу знают в языке? Ибо годится ль перенимать речи у сапожника или у ямщика? А однако все сии люди тем же говорят языком, что и знающие

⁹ См.: там же, с. 187, 579; Тредиаковский В. К. Слово о богатом, различном, искусном и несхотственном витийстве. СПб., 1745, с. 49.

¹⁰ Тредиаковский В. К. Речь к членам Российского собрания. СПб., 1735, с. 13.

(то есть которые или хорошее имеют воспитание, или при дворе обращаются, или от знатных рождены, или в науках и в чтении книг с успехом упражнялись), но не толь исправным способом, природным языку, коль искусные. Первые говорят так, как они для нужды могут, но другие, как должно и с рассуждением».¹¹

Тредиаковский резко выступал против «площадных», «рыночных» и «подлых речений»,¹² «подлого употребления», против «нестройной и безрассудной черни».¹³ Совпадение некоторых идей, представленных в филологических трудах Тредиаковского, с эстетическим направлением «Articulus unicus de rhetoricae de finitione» достаточно ярко, на мой взгляд, для того, чтобы сделать вывод об определенном влиянии риторики неизвестного французского автора на эстетические взгляды русского поэта. Разумеется, в становлении этих идей в творческом сознании Тредиаковского участвовали и многие другие обстоятельства его эстетического развития, но среди других факторов следует иметь в виду и этот.

Можно заметить, что совпадения, отмеченные выше, относятся не к французскому периоду творчества Тредиаковского, а к несколько более позднему времени. Судя по характеру его сочинений, написанных во Франции, эстетическая позиция, представленная в риторике, не могла быть близка ему в этот период. Тредиаковский находился тогда под сильным влиянием французской поэзии стиля «регентства» и, по меткой характеристике Л. В. Пумпянского, «примыкал к той культуре литературной „мелочи“, которая была знаком распада „великого вкуса“ XVII века».¹⁴ Существенные расхождения с эстетическим направлением риторики имеет также и перевод романа П. Тальмана «Езда в остров Любви», осуществленный Тредиаковским «простым русским словом, то есть каковым мы меж собою говорим». Феномен этот может быть объяснен тем, что Тредиаковский не слушал рассматриваемых здесь лекций, а лишь изучал их позднее по чьим-то записям. Впрочем, возможно, что дело здесь в каких-то других, индивидуальных особенностях его эстетического развития.

Так или иначе интерес и, по всей видимости, глубокое изучение Тредиаковским этой риторики несомненны. И они могут быть объяснены прежде всего исходя из того, что теоретическая и практическая риторика занимали весьма существенное место в его литературной деятельности. В 1745 году он, первый из рус-

¹¹ Тредиаковский В. К. Разговор об Орфографии, с. 315.

¹² Тредиаковский В. К. Предыяснение об иронической пиме. — В кн.: Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков. 2-е изд. М., 1938, с. 89.

¹³ Тредиаковский В. К. Разговор об Орфографии, с. 325.

¹⁴ Пумпянский Л. В. Тредиаковский. — В кн.: История русской литературы. М.—Л., 1941, т. 3, с. 217—218.

ских в Академии, стал профессором латинской и российской элоквенции.¹⁵ В течение некоторого времени — с 11 июля 1748 г. по 23 февраля 1749 г. — Тредиаковский читал лекции по элоквенции в академической гимназии.¹⁶ В планы его входило и составление руководства по риторике.¹⁷ Добрую треть оригинального литературного наследия Тредиаковского составляют произведения, написанные в ораторских жанрах: речи, слова, рассуждения.

Риторика была для него универсальной наукой. В «Слове о витийстве», этой своеобразной «Риторике» Тредиаковского, он писал о том, что все науки и искусства есть не что иное, как «Царица Элоквенция, на разных и разным образом престолах сидящая и лучами величества своего повсюду сияющая».¹⁸ Даже Поэзия, эта «живопись словесная», есть не что иное, «как токмо сама Элоквенция, в другую одежду наряженная, на другом месте посаженная, другою честью возвеличенная, другим способом обогащенная».¹⁹

Впрочем, вполне возможно, что причина столь пристального внимания Тредиаковского к этой риторике коренится в имени ее составителя. Чьи же лекции слушал или изучал по записям Тредиаковский? В сочинениях его трудно обнаружить ссылки на какие-либо французские наставления по риторике. Такой ссылкой можно было бы считать следующее место из «Речи о чистоте Российского языка»: «Что же еще страшит нас? Риторика? Помогут нам в ней премногие творцы греческие и римские, а наипаче хитрый и сладкий в слове Марк Туллий Цицерон. Помогут французские Балзаки, Костарды, Патрю и прочие бесчисленные».²⁰ Но речь здесь идет не о теоретической риторике, а об ораторском искусстве (см. ниже ссылку на «слова» и «речи» «Главного нашего Командира» — барона Корфа), и поэтому Тредиаковский ссылается не на теоретиков ораторского искусства, а на прозаиков XVII в. Ж. Л. Гез де Бальзака, П. Костара и О. Патрю.²¹

Пожалуй, единственным указанием на возможного автора «*Articulus unicus de rhetoricae definitione*» является следующее свидетельство о Тредиаковском Г.-Ф. Миллера: «Он очень также хвалился, что в Парижском университете был слушателем зна-

¹⁵ Пекарский П. П. История Академии наук в Петербурге, т. 2, с. 101.

¹⁶ Там же, с. 123.

¹⁷ Тредиаковский В. К. Речь о чистоте Российского языка. — Сочинения и переводы. СПб., 1752, т. 2, с. 10.

¹⁸ Тредиаковский В. К. Слово о витийстве, с. 39.

¹⁹ Там же, с. 41.

²⁰ Тредиаковский В. К. Речь о чистоте Российского языка, с. 17.

²¹ Впрочем, возможно, здесь имеется в виду также и сочинение Ж. Л. Гез де Бальзака, адресованное П. Костару «Парафраз или о великом красноречии» (*Balzac J. L. Paraphrase ou de la grande éloquence. A Monsier Costar. Discours sixième. — Oeuvres diverses. Paris, 1658, p. 121—147*).

менитого Роллена».²² О том, что Тредиаковский «красноречию и истории учился у славного Роллена», сообщает в своем словаре и Н. И. Новиков.²³ Л. В. Пумпянский сомневался в этом, ссылаясь на то, что в годы пребывания Тредиаковского во Франции Роллен уже не преподавал в Парижском университете.²⁴ Действительно, к этому времени за склонность к ясенизму Роллен был принужден оставить университет.²⁵ Но Тредиаковский мог слушать его и не в университете. Рассказ его, известный нам по передаче Миллера, в этом случае является не ложным, а только неточным, если неточности не допускает сам Миллер.

Слава Роллена в годы пребывания Тредиаковского в Париже гремела по всей Франции, так как в 1726—1728 гг. вышел его быстро ставший знаменитым «Трактат об образовании», и Тредиаковский, можно полагать, испытывал желание послушать у знаменитого профессора элоквенции риторику, эту «царицу наук». Такая возможность у него была: Роллен в эти годы преподавал риторику в Коллеж де Франс (тогда *College Royal de France*), который был открытым учебным заведением.²⁶ Рукопись «*Articulus unicus de rhetoricae definitione*» является, по видимому, записью именно коллежских лекций. Изложение риторики в ней имеет несколько упрощенный, школьный характер. По словам самого автора, она предназначена «для начинающих» (*Rhetorica tyrosinium* — л. 2). Предположение о том, что Тредиаковский слушал в Париже лекции Роллена, хорошо согласуется также и с тем глубоким поклонением, с которым он относился к последнему на протяжении всей своей жизни.

Тредиаковский переводил сочинения Роллена в течение тридцати лет и перевел двадцать шесть томов его «Древней» и «Римской истории», а также четырехтомную «Историю римских императоров», написанную учеником Роллена Ж.-Б. Кревье. В своих оригинальных сочинениях Тредиаковский много цитировал и восхвалял Роллена. В предуведомлении к первому тому перевода «Римской истории» он демонстрирует великолепное знание биографии Роллена: называет его учителя, характеризует окружение, приводит мнения о нем знатнейших людей Франции. «Шарль Роллен есть другой Демостен по греческому, а Цицерон другой по латинскому языку»,²⁷ — пишет Тредиа-

²² Цитата в переводе с немецкого по кн.: Материалы для истории Академии наук. История Академии наук Г.-Ф. Миллера с продолжением И. Г. Штриттера (1725—1743). СПб., 1890, т. 6, с. 172.

²³ Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772, с. 217.

²⁴ Пумпянский Л. В. Тредиаковский, с. 217.

²⁵ См.: Rivarol O. Discours sur la vie et les ouvrages de Rollin. Paris, 1819; Первов П. Очерк жизни Роллена. — В кн.: Роллен III. Трактат об образовании. М., 1908.

²⁶ См. о нем: Lefranc A. Histoire du Collège de France. Paris, 1893.

²⁷ Роллен III. Римская история от создания Рима до битвы Актийския. то есть по окончание Республики... Пер. с французского. СПб., 1761, т. I, с. 11.

ковский. В предуведомлении к восьмому тому «Римской истории» он помещает «Похвалу Роллену» Клода де Боза в собственном переводе.²⁸

Естественно предположить, что за этим постоянным и глубоким поклонением стоит нечто большее, чем заочное восхищение: личное знакомство или отношение бывшего студента к своему профессору, например, а возможно даже и отношение ученика к своему учителю. Это предположение становится особенно вероятным вследствие того, что третья книга «Трактата об образовании» Роллена «О риторике», изданная в 1726 году,²⁹ обнаруживает некоторые совпадения с «*Articulus unicus de rhetorica definitione*».

Как и в лекциях, у Роллена большинство примеров приводится из речей Цицерона. Особые главы в «Трактате» посвящены Титу Ливию, Сенеке, Иоанну Златоусту, Киприану, Августину, то есть авторам, которые широко цитируются и в риторике. В лекциях неоднократно приводятся цитаты из Евангелия — у Роллена глава третьего раздела «О трех родах красноречия» посвящена красноречию Писания. Из других авторов Роллен цитирует Вергилия, Плиния Младшего, Саллюстия, Фенелона, Расина, Пьера и Тома Корнеля, речи членов Французской Академии,³⁰ словом, всех тех писателей, примеры из которых приводятся и в риторике.

Широко цитируются и анализируются в трактате надгробные речи Ж.-Б. Боссюэ и Э. Флешье на смерть Тюренна.³¹ Это совпадение особенно показательно: ораторская культура Франции XVII века насчитывает десяток имен не меньшего значения, чем Э. Флешье, поэтому вряд ли является простой случайностью то, что из его довольно объемистого сборника надгробных речей³² и Ролленом, и автором риторики в качестве примера избирается одна и та же.

В обоих сочинениях почти исключительно цитируются лишь латинские и французские авторы. В первой книге трактата Роллена — «О греческом языке» — приводятся цитаты из древнегреческой литературы, но большей частью по-латыни. И в риторике, и в трактате встречается специфическое для Роллена разделение книг на главы, а глав на статьи (*articles* — у Роллена, *articuli* — в лекциях). В других французских риториках

²⁸ См. оригинал: *de Boze C. Eloge de Rollin*. — Dans: *Niceron J.-P. Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres dans la république des lettres*, t. XLIII. Paris, 1745, p. 217—239.

²⁹ *Rollin Ch. De la manière d'enseigner et d'étudier les belles-lettres par rapport à l'esprit et au coeur*, t. 2. Livre 3. De la Rhétorique. Paris, 1726.

³⁰ Сам Ш. Роллен был членом Академии изящной словесности и надписей.

³¹ См. вторую — «О композиции» — и третью — «О чтении и объяснении авторов» главы книги «О риторике».

³² *Recueil des oraisons funèbres prononcées par F. Fléchier. Nouvelle édition. Paris, 1705, p. 385.*

того времени это разделение не встречается.³³ Правда, его можно найти в риториках более позднего времени,³⁴ но там оно, возможно, появилось не без влияния трудов Роллена и в этом случае может рассматриваться как еще одно свидетельство их популярности. Кроме того, сходны до некоторой степени и эстетические позиции авторов. Роллен, как и автор риторики, выступает против грубости, дурного вкуса и, с другой стороны, кудрявости.³⁵ По словам Тредиаковского, Роллен природною простотою уврачевал французское красноречие, смертельно уязвленное кудреватым витийством.³⁶

Прямых совпадений между этими двумя текстами очень мало: лишь некоторые примеры. Но это и естественно, поскольку они существенно различаются между собой по теме, предназначению, статусу (с одной стороны, устные лекции, с другой — подготовленная к печати работа), языку и, немного, по времени создания. Совпадения же в содержании и структуре текстов позволяют, на мой взгляд, предполагать, что «*Articulus unicus...*» является записью тех самых лекций Роллена, о знакомстве с которыми, по свидетельству Миллера, упоминал Тредиаковский.

Л. В. Пумпянский писал о «Трактате об образовании» Роллена, что «эта книга... оказала большое влияние на Тредиаковского и, собственно, образовала его литературные взгляды».³⁷ Действительно, несмотря на известную самостоятельность и оригинальность эстетических представлений Тредиаковского, в них совершенно отчетливо чувствуется общее ориентирующее влияние ролленовской дидактической эстетики. Если наше предположение верно, то воздействие «*Articulus unicus...*» на эстетические взгляды Тредиаковского является проявлением этого же влияния.

О французском периоде жизни Тредиаковского мы знаем очень мало. Известно, что в Париж он прибыл «во окончании 1727 года».³⁸ О своих занятиях в Парижском университете сам Тредиаковский писал так: «В Университете при щедром благодетелей моих содержания обучался математическим и философским наукам, а богословским также в Сорбоне».³⁹

³³ См., например: *Bary R. La Rhétorique française.* Paris, 1653; *Gibert B. De la véritable éloquence ou refutation des paradoxes sur l'éloquence.* Paris, 1703; *Morinière C. De la science qui est en dieu. Avec une lettre sur l'étude et l'usage de la Rhétorique.* Paris, 1718; *Buffier C. Traités philosophique et pratique de l'éloquence, t. I—II.* Sixième édition. Paris, 1734.

³⁴ См.: *Gibert B. La rhétorique ou les règles de l'éloquence.* Paris, 1742; *Crevier J.-B. Rhétorique française.* Paris, 1765.

³⁵ См. главу 3, § 6 «Об Ораторских Предосторожностях».

³⁶ *Роллен Ш. Римская история, т. 1.*

³⁷ *Пумпянский Л. В. Тредиаковский, с. 251.*

³⁸ *Чистович И. А. Заметка о В. К. Тредиаковском.* — ИОРЯС, 1859, т. 8, вып. 2, стб. 157.

³⁹ *Пекарский П. П. История Академии наук в Петербурге, т. 2, с. 8.* В науке укоренилась традиция говорить об обучении Тредиаковского

Сложность изучения французского периода биографии Тредиаковского заключается в крайней скудости документальных материалов. «Едва ли можно надеяться, — писал П. Н. Берков, — сделать какое-нибудь значительное открытие в советских архивах, которое прольет нам свет на годы, которые Тредиаковский провел в Париже: личные архивы писателя исчезли в результате двух пожаров, опустошивших его дом; едва ли можно рассчитывать больше на работу в государственных архивах, так как поэт отправился за границу по собственной инициативе и не считался посланным официально. Возможно, существуют какие-то данные в архивах Сорбонны, но только в том случае, если он числился студентом, а не был просто вольнослушателем».⁴⁰

В этой ситуации П. Н. Берков предложил другой метод изучения французского периода биографии Тредиаковского — гипотетический,⁴¹ и его работа «О французско-русских литературных отношениях 1720—1730 гг. Тредиаковский и аббат Жирар» была хорошим доказательством определенной его эффективности. В этом смысле «*Articulus unicus de rhetoricae definitione*» также представляет интерес, так как дает основания для некоторых гипотез относительно деятельности Тредиаковского во Франции.

С собственных слов поэта нам известно, что в Париже он «содержал публичные диспуты в Мазаринской коллегии»⁴²⁻⁴³ (Коллеге Мазарини, — *С. К.*). В то время в Коллеге Мазарини элоквенцию преподавал другой знаменитый теоретик ораторского искусства, автор множества известных трудов по риторике Бальтазар Жибер. Жибер был ярким противником Роллена. В своих сочинениях,⁴⁴ а также в ответе на публичное письмо Роллена⁴⁵ он обвинял последнего в нарушении предписаний аристотелевской «Поэтики» и в отходе от античных образцов. Poleмика Жиберы с Ролленом получила самый широкий резонанс в литературных кругах Франции. Поэтому диспуты Тредиаковского в Коллеге Мазарини, вполне возможно, были посвящены этой полемике или по крайней мере затрагивали ее.

в Парижском университете как об обучении в Сорбонне (см., например: *Пумпянский Л. В.* Тредиаковский, с. 217; *Тимофеев Л. И.* Василий Кириллович Тредиаковский. — В кн.: *Тредиаковский В. К.* Избр. произв. М.; Л., 1963, с. 5. Но Сорбонной во времена Тредиаковского называли лишь теологический факультет Парижского университета. Тредиаковский же, по его собственному свидетельству, приведенному выше, обучался как в Сорбонне, так и на других факультетах.

⁴⁰ *Berkov P. N.* Des relations littéraires franco-russes... , p. 7.

⁴¹ *Ibid.*, p. 8.

⁴²⁻⁴³ *Пекарский П. П.* История Академии наук в Петербурге, т. 2, с. 8.

⁴⁴ *Observations adressées à M. Rollin sur son traité De la manière d'enseigner et d'étudier les belles-lettres.* Paris, 1727; *Terense, Cicéron, César, Salluste, etc., justifiés contre la censure de M. Rollin, avec des remarques sur son traité De la manière d'enseigner,* t. I—III. Paris, 1728.

⁴⁵ *Réponse à la lettre de M. Rollin.* Paris, 1727.

В. Е. ХОЛШЕВНИКОВ

ЗАМЕТКИ О РУССКОМ СТИХЕ XVIII ВЕКА

1. Почему Тредиаковский предпочитал ямбу хорей

Мнение Тредиаковского о том, какими стихотворными размерами следует писать русские стихи, с годами менялось. Как известно, в 1744 году, в предисловии к книге «Три оды парافрастические псалма 143», он признал (несомненно, под влиянием поэтической практики Ломоносова и Сумарокова), что ямб ничуть не хуже хорей, равноправен ему.¹ Однако раньше, в знаменитом трактате 1735 года «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», положившем начало тоническому стихосложению в России, он не только считал, что русский стих трехсложных стоп «принять никак не может» (371), но даже из двусложных принимал фактически один хорей. В «Правиле I» он утверждает, что «стих героический российский состоит в тринадцати слогах», и доказывает это «употреблением, от всех наших старых стихотворцев принятым» (370), то есть сложившейся еще в русской силлабике традицией. Но, в отличие от силлабического, новый «тонический» тринадцатисложник «состоит... в шести стопах» (там же). Ученый педантически перечисляет все известные двусложные стопы: спондей, пиррихий, хорей, ямб. Перечислив же, формулирует следующее, весьма важное положение: «Однако тот стих всеми числами (то есть ритмом, — В. Х.) совершен и лучше, который состоит токмо из хореев или из большей части оных; а тот весьма худ, который весь ямбы составляют или большая часть оных. Состоящий из спондеев, пиррихийев или из большей части оных есть средней доброты стих» (370).

Эти слова многократно цитировались, хотя интерпретировались не одинаково. Б. В. Томашевский, например, комментирует их следующим образом: «...никакого жесткого правила Тредиаковский не вводит... можете писать, как хотите, но лучше, если все

¹ Тредиаковский В. К. Избр. произв. М.; Л., 1963, с. 421. В дальнейшем все цитаты приводятся по этому изданию, страницы указываются в тексте.

стопы будут хоренческие».² Таким образом, обязательной, по Б. В. Томашевскому, остается у Тредиаковского лишь равносложность, а хорейность — лишь желательной («можете писать, как хотите»).

Такое толкование, думается, грешит чрезмерным буквализмом. Впрочем, формулировки Тредиаковского, действительно, неясны. Странно, что перечень стоп начинается со спондея и пиррихия — стоп вспомогательных. Стих, состоящий только из спондеев и пиррихий или хотя бы «из большей части оных», отыскать у самого Тредиаковского не так-то просто, хотя понятие «средней доброты» предполагает как будто бы не столь редкое употребление. Однако если внимательно прочитать весь трактат и соотнести «Правило I» с другими местами, в которых Тредиаковский свои требования к новому русскому стиху формулирует более четко и категорично, тогда и «Правило I» станет яснее. Вот еще два важных для нас определения.

«*Чрез падение* [разумеется]: гладкое и приятное слуху чрез весь стих стопами прехождение до самого конца. Что чинится тем, когда первый слог всякой стопы долгий есть, а по крайней мере нескольких в стихе стоп» (Определение VIII, 369). «Стих героический не красен и весьма прозаичен будет, ежели сладкого, приятного и легкого падения не возымеет. Сие падение в том состоит, когда всякая стопа, или, по крайней мере, большая часть стоп, первый свой слог долгий содержит» («Правило IX», 375). Так как долгим слогом Тредиаковский называл ударный (см. «Королларий 2», 368), то нельзя не признать, что здесь выражается не предпочтение хорю, а требование его — как и требование того, чтобы все стихи писались одним размером, а не сочетанием любых двусложных стоп. Оценка же ямба как «весьма худого» есть не пожелание избежать его, а решительное отрицание. Как мог открыватель и проповедник нового способа к сложению стихов допускать в нем «весьма худой» размер?

В том же «Правило IX» Тредиаковский трижды приводит метрическую схему тринадцатисложника и один раз — одиннадцатисложника (375—376), подчеркивая, что «надлежит мерять стих... стопами, а не слогами», и все четыре раза дает схему хорей — со сверхсхемным сильным местом перед цезурой, о котором будет сказано далее. Присмотримся к схеме переделанного на хорейский лад (что тоже не случайно!) стиха Кантемира.³

1		2		3		4		5		6		
—	—	—	⤴	—	⤴	—	—	⤴	⤴	—	⤴	
Ум	толь	сла	бый	плод	тру	дов	крат	ки	я	на	у	ки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

² Томашевский Б. В. *Стилистика и стихосложение*. Л., 1959, с. 318.

³ Первый стих первой сатиры в первой редакции читался так: Уме слабый, плод трудов неодолюй науки! (*Кантемир Англох*. Собрание стихотворений. Л., 1956, с. 361).

Цифры под слогами обозначают их счет, знак // пресечение (цезуру), числа над вертикальными чертами — номера стоп. Любопытно, что в схеме первой стопы обозначен спондей — —, а в схеме пятой пиррихий ∪∪, как делали вслед за Третьяковским почти все русские стиховеды вплоть до наших дней, что не мешало им определять стих по основному размеру. Анализ всех приводимых в трактате многочисленных примеров показывает, что хотя в «Правиле I» ученый приводит все четыре двусложные стопы как, на первый взгляд, равноправные и даже начинает со спондея и пиррихия, на самом деле он считает две названные вспомогательными, а размерами только хорей и ямб.

Одиннадцатисложные «пентаметры» отличаются от тринадцатисложных «эксаметров» тем, что в первом полустишии у них одной стопой меньше, второе же полустишие одинаково — шесть слогов, то есть три полных стопы.

Подтверждением решительной приверженности Третьяковского к хорейм — и только к хорейм — являются все многочисленные примеры, приводимые им в трактате и в приложениях к нему. Всего таких стихов 560 — «эксаметров» и в меньшем количестве пентаметров. Только в 25 из них, с точки зрения современной акцентуации, хорей нарушен. Но почти все они подпадают под действие главы «О вольности, в сложении стиха употребляемой», именно § XI о «двойном» и «сомненном» ударении, например «цвѣты» и «цветы́» (379; ударения поставлены Третьяковским). Отметим, что в ряде случаев Третьяковский, видимо, считая ударение «сомненным», обозначает его, как в рифме — Индия́-поззия́, пременя́тся-укра́сится, — так и в середине стиха — самья́, саму́ю и т. п. Только 5 случаев кажутся в наше время весьма «сомненными» — 4 в «эксаметре» и 1 в пентаметре. Вот эти примеры:

- 1 Ин греми, рази, пора // *противна* противный...
- 2 Воды, пропасть и шумя // *пена кипит* бела...
- 3 Непрерывно веселясь // с другом *любви* в туке...
- 4 Спрятывается то сам // в *густую* аллею...
- 5 Всей о госпожа // *румяности* властна...

Любопытно, что все нарушения приходятся на второе полустишие и поразительно похожи на аналогичные «синкопы» (сдвиги ударения на соседний слог), встречающиеся во многих стилизациях под фольклор (и только в таких стилизациях!), написанных чередованием четырехстопных и трехстопных хореев (давно было замечено, что если цезурованный стих тринадцатисложного «эксаметра» Третьяковского разделить на два стиха, получится именно этот размер — различие здесь только графическое).

Негде ворону унести // сыра часть случилось...

(Третьяковский)

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали...

(Жуковский)

Для убедительности приведем всего только три примера стихов с подобными «синкопами» разных поэтов, но не в обычном начертании, а соединив два стиха в один цезурованный, как у Тредиаковского:

Там с кувшином за водой // Маша проходила,
Томный взор потушив свой, // *Со мной* говорила...
(Кольцов)

Свечерело. Дрожь в ногах, // Стужа злее на почв;
Заворочался в саях // *Михайло* Иваныч...
(Некрасов)

Опанасе, наша доля // Машет саблей ныне, —
Залумело Гуляй-Поле // *По всей* Украине...
(Багрицкий)

Напрашиваются два вывода. 1. Тринадцатисложный цезурованный хорей Тредиаковского ритмически вопреки не раз высказанному мнению звучит превосходно; неуклюж он на наш слух по словарю и синтаксису. Легкий хорей с чередованием стопностей 4—3—4—3 Жуковского и последующих поэтов вряд ли к нему восходит, но ритмически почти тождествен. 2. Тредиаковский, возможно, лучше, чем мы предполагаем, знал русское народное поэтическое творчество, которое сам объявил источником своего «нового способа» стихосложения (см. 383—384).

Итак, Тредиаковский в 1735 году забраковал ямб и стремился теоретически и практическими примерами утвердить хорей. Но возникает вопрос: почему для него в это время столь безусловно «всеми числами совершен и лучше» хорей и столь же несомненно «весьма худ» ямб?

Думается, эти оценки неизбежно вытекали из двух требований Тредиаковского к новому стиху. Они сформулированы (и очень решительно) в разных параграфах, возможно, поэтому их не сопоставляли; но если их соединить, то все становится ясным.

Первое, уже упоминавшееся, требование, чтобы и в тринадцатисложном «эксаметре», и в одиннадцатисложном «пентаметре» второе полустипие состояло из шести слогов, т. е. из трех стоп.

Второе — отношение к рифме. Как это ни кажется парадоксальным, но Тредиаковский, столь любивший «драгой берег Сенски» (76), знавший и высоко ценивший французскую культуру и хорошо писавший стихи по-французски, решительно отверг мужскую рифму и обычное во французской поэзии чередование мужских и женских рифм. Доказательству неприемлемости мужских рифм посвящен целый раздел «Заключение о сочетании стихов» (381—383). Рифмы должны быть только женскими — здесь ученый безоговорочно следует традиции, установившейся в русской силлабической поэзии.

Итак, второе полустишие из шести слогов (трех полных стоп) с неизменной женской рифмой. Составим простую схему.

— — — — — — || — — | — — | — —

Логика Тредиаковского ясна. При женской рифме шесть слогов, то есть три полных стопы, требуют хорея и только хорея: — ∪ | — ∪ | — ∪. Появление в таком трехстопии с женской рифмой ямбической стопы сделало бы стих аритмичным, «весьма худым». Если мы внимательно присмотримся к приведенным выше схемам Тредиаковского из «Правил IX» и к многочисленным стихотворным примерам, то увидим, что там наряду со стопами хорея часто встречаются пиррихии, реже — спондеи, как и во всей последующей русской поэзии. Тредиаковский понимал, что они не ломают размера и неизбежны в русском языке, в котором нередки трех- и четырехсложные слова. (Оговариваюсь: говоря об основоположнике стопной теории, я, естественно, пользуюсь его «стопной» терминологией).

Но если второе полустишие хореично, то первое тоже должно быть таким же, ибо стих един, а полустишие — лишь часть его. Однако тут мы встречаем противоречие: если сильные места должны следовать через слог, то, казалось бы, естественно при обязательной женской рифме писать ямбами: все ударения будут падать на четные слоги, сохраняется и женская рифма, и тринадцать слогов.

∪ — | ∪ — | ∪ — | ∪ || — | ∪ — | ∪ — ∪

Такое решение вопроса, кажущееся нам совершенно естественным, не было, однако, приемлемым для Тредиаковского. Почему? Полагаю, что ответ найти легко, если вдуматься в «Правило III», посвященное пресечению. Тредиаковский требует, чтобы на цезуре непременно была пауза в декламации: «... когда в два приема стих читается, то весьма он приятен гажется» (371). И далее: «И понеже отдохнуть надлежит на пресечении, того ради речение, в котором находится пресечение, не должно соединено быть разумом сочинения грамматического с речением, которое начинает второе полстишие» (372). Если же слова по обе стороны цезуры оказываются грамматически связанными (подлежащее и сказуемое, определение и определяемое и т. д.), то Тредиаковский приводит ряд примеров, как, прибегая к инверсии, разделить их другим словом и тем самым вызвать паузу, позволяющую «отдохнуть» дыханию. Например, стих

Стихотворчеству нас бог // научает токмо

он советуе изменить так:

Стихотворчеству нас бог // токмо научает

Говоря нашим языком, Тредиаковский требует, чтобы цезура была сильной, то есть каждое полустишие было синтагмой, было интонационно обособлено. Но если так, то цезура при ямбе окажется внутри четвертой стопы и разорвет стих на две ритмически не подобные части: ямбическую и хорейскую.

Рассуждения Тредиаковского во всех параграфах приводят к выводу, что он считал полустишия значительно более автономными, чем русские поэты, начавшие уже вскоре после 1735 г. писать александрийским стихом. Тем более в XIX в. Стихотворение «Выхожу один я на дорогу...» прекрасно во всех отношениях, в том числе и ритмически, и никто не осудит Лермонтова за то, что необычная цезура после третьего слога неуместна, потому что делит пятистопный хорей на две части: хорейскую и ямбическую. Но педантический ум Тредиаковского вряд ли мог принять пресечение внутри стопы, делящее стих на разноразмерные полустишия, и вдобавок гиперкаталектическую (паращенную на один слог) концевую стопу.

Выход был найден. Первое полустишие было тоже хорейским, но перед цезурой появлялся дополнительный, гиперметрический, ударный слог. И этот слог (если придирается к терминологии Тредиаковского, нарушавший шестистопность «эксаметра») нисколько не мешал, ибо столкновение двух ударных по обе стороны цезуры только усиливало дорогое слуху ученого стихотворца пресечение и интонационную обособленность полустиший.

И тут мы должны отдать должное слуху Тредиаковского. Выше уже приводились примеры того, как близок по звучанию хорейский «эксаметр» чередованию трех- и четырехстопных хореев многих русских поэтов. Тредиаковский не был талантливым поэтом. Синтаксис и фоника его стихов порой режут наш слух, но ритмическое чутье его было безукоризненным. Не забудем, что он положил первый камень в основание современного тонического стиха, что он создал русский «дактило-хорейский» гекзаметр. И согласимся с тем, что при предпосылках, положенных в основу трактата 1735 г. (тринадцатисложность, двусложная стопа, женская рифма и сильная цезура), хорей был единственным возможным размером.

Чем внимательнее мы вчитываемся в трактат 1735 г. и другие теоретические произведения Тредиаковского, тем более утверждаемся в мысли, что не напрасно его так высоко оценили Радищев и Пушкин.

2. Ритмические пристрастия Державина

Еще в 1910 г. А. Белый в своих знаменитых статьях о русском четырехстопном ямбе¹ заметил, что у всех поэтов третий икт (сильное место в третьей стопе) несет в среднем минимум ударе-

¹ В дальнейшем четырехстопный ямб обозначается сокращенно Я4.

ний — иначе говоря, максимум пиррихтев; ударна приблизительно половина третьих иктов, от 40 до 60% (у поэтов XVIII в. обычно больше половины, в XIX в. — меньше). Что же касается первых двух иктов, то поэты XVIII в. предпочитали пиррихий на 2-й стопе (На лаковом полу моём, А. Белый назвал такое ритмическое строение музыкальным термином *andante*); поэты же XIX в., начиная с Пушкина, чаще пропускали ударения не на 2-й, а на 1-й стопе (Напоминают мне онé; по А. Белому — *allegro*).²

Б. В. Томашевский в статье о четырехстопном ямбе «Евгения Онегина» подтвердил справедливость наблюдений А. Белого.³ Важным нововведением Б. В. Томашевского было сопоставление реального ритма «Евгения Онегина» с теоретически рассчитанной частотой встречаемости каждой из шести основных ритмических форм Я4. Такое сопоставление показывает ритмические пристрастия поэта: одни формы встречаются чаще теоретически рассчитанных, других поэт явно избегает.

Вот их перечень с нумерацией, предложенной Г. А. Шенгели и принятой большинством русских стиховедов (чтобы не рисовать длинных схем, обозначим буквой Я, ямб, ударный икт, буквой П, пиррихий, безударный; все примеры — из Державина). I. ЯЯЯЯ (Глагол времён, металл звон), II. ПЯЯЯ (Не позабудь её представить), III. ЯПЯЯ (На лаковом полу моём), IV. ЯЯПЯ (Златая плавала луна), V. ППЯЯ (не употребительна), VI. ПЯПЯ (Неизъяснимый, непостижимый), VII. ЯППЯ (Протянута без оборн), VIII. ПППЯ (не употребительна).

Подсчеты средней ударности каждого икта дают более обобщенную характеристику ритмических особенностей поэта или литературной школы, чем подсчеты по формам. Так, пиррихий на 1-й стопе встречается во II и VI формах, на 2-й стопе — в III и VII, а на 3-й — в IV, VI и VII.

В этой статье даются оба вида подсчетов: более подробные, по формам, позволяющие лучше судить об индивидуальных свойствах ритмики поэта, и более обобщенные, по ударности иктов, удобные для сопоставления ритмики поэтов и литературных школ и для построения наглядных графиков. Надо помнить при этом, что подсчеты по шести ритмическим формам легко сводятся в обобщенные по трем иктам простым сложением форм, обратное же действие невозможно.

Начнем анализ с более обобщенных данных по средней ударности иктов. Четвертый икт всегда ударен — это константа. За редкими исключениями сумма пиррихтев на первых двух иктах меньше, чем на одном третьем, — он самый слабый и самый устойчивый. Наиболее изменчива и колеблется в значительных пре-

² Белый А. Символизм. М., 1910, с. 263.

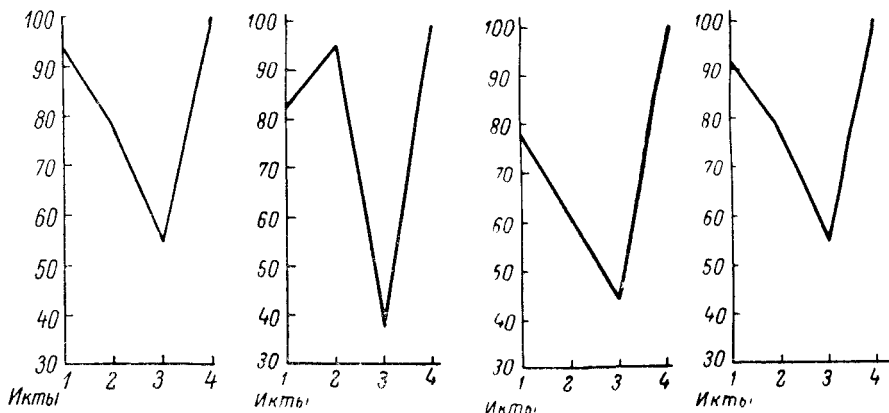
³ Томашевский Б. Ритмика четырехстопного ямба по наблюдениям над стихом «Евгения Онегина». — В кн.: О стихе. Л., 1929. В дальнейшем ссылки на эту статью в тексте, сокращенно: Том, Я4.

делах средняя ударность первых двух иктов, определяющая поэтому характер ритма Я4. Сосредоточим свое внимание на них.

К. Ф. Тарановский в своем капитальном исследовании русских двусложных размеров, в главе, посвященной Я4, приводит графики ударности иктов, дающие наглядную характеристику ритма поэтов XVIII в. и постов от 20-х годов XIX в. (ниже — графики 1—2).⁴ Сопоставим их с графиками расчетной модели Я4 по А. В. Прохорову (№ 3) и Я4 од Державина (№ 4). Графики показывают среднее количество ударений (в процентах от общего количества стихов), приходящихся на каждый икт.

На графиках 1—2 ясно видны закономерности, отмеченные еще А. Белым, о которых уже говорилось. Однако, если взглянуть пристальнее, возникают некоторые вопросы. Различия между графиками 1 (средняя по XVIII в.), 3 (теоретическая модель Я4) и 4 (оды Державина) настолько малы, что их можно считать не выходящими за пределы случайных колебаний.

График 1 Я4 поэтов XVIII в. График 2 Я4 поэтов от 20-х гг. XIX в. График 3 Расчетная модель Я4 График 4 Я4 Державина



Если удовлетвориться сопоставлением ритма од Державина с теоретической моделью русского Я4, то напрашивается вывод, что ритмические особенности державинских од — явление случайное, вторичное. Просто поэт подбирал нужные ему слова так, чтобы они укладывались в строки Я4, а их ритмические свойства рождались автоматически из свойств русского языка. Но все ли действительно так просто?

Есть ли способ проверить, были ли у Державина свои ритмические пристрастия или же его ритмы автоматичны? Постараемся применить два приема. Присмотримся сначала к таблице 1, показывающей употребительность форм Я4 в одах Державина двух периодов: 1779—1784 гг. и 1788—1791 гг. (всего

⁴ Тарановски К. Руски дводелни ритмови. Београд, 1953, с. 76, 77, 84.

ТАБЛИЦА 1

Формы Я4 в одах Державина

Ода	I	II	III	IV	VI	VII	Итого
Первый период							
1. На см. кн. Мещ.	40 (46%)	1 (1%)	16 (18%)	31 (35%)	—	—	88 (100%)
2. Фелица	53 (20%)	14 (5%)	66 (26%)	113 (44%)	14 (5%)	—	260 (100%)
3. Благ. Фел.	13 (27%)	2 (4%)	9 (19%)	23 (48%)	1 (2%)	—	48 (100%)
4. Решем.	32 (27%)	5 (4%)	25 (21%)	50 (42%)	8 (6%)	—	120 (100%)
5. Вид. мурзы	56 (31%)	7 (4%)	42 (23%)	71 (39%)	6 (3%)	1	183 (100%)
6. Бог	36 (33%)	2 (2%)	23 (21%)	45 (41%)	4 (3%)	—	110 (100%)
Итого:	230 (29%)	31 (4%)	181 (22%)	333 (41%)	33 (4%)	1 (0.1%)	809 (100%)
Второй период							
7. На см. гр. Румянц.	28 (27%)	4 (4%)	37 (36%)	28 (27%)	7 (6%)	—	104 (100%)
8. Ос. ос. Очак.	47 (39%)	4 (3%)	21 (18%)	45 (38%)	3 (2%)	—	120 (100%)
9. Изобр. Фелицы	96 (21%)	39 (8%)	110 (24%)	178 (38%)	35 (8%)	6 (1%)	464 (100%)
10. На ков. франц. воз.	86 (27%)	18 (6%)	67 (21%)	125 (39%)	22 (7%)	2 (0.6%)	320 (100%)
11. На вз. Изм.	170 (45%)	13 (3%)	65 (17%)	119 (31%)	11 (3%)	2 (0.5%)	380 (100%)
Итого:	427 (30%)	78 (6%)	300 (22%)	495 (35%)	78 (6%)	10 (0.7%)	1388 (100%)
Всего:	657 (30%)	109 (5%)	481 (22%)	828 (38%)	111 (5%)	11 (0.5%)	2197 (100%)
12. На счаст.	52 (24%)	9 (4%)	51 (23%)	97 (44%)	8 (4%)	3 (1%)	220 (100%)

около 2200 стихов). Вот перечень од. Первый период: «На смерть князя Мещерского», «Фелица», «Благодарность Фелице», «Решимость», «Видение мурзы», «Бог»; второй период: «На смерть графини Румянцовой», «Осень во время осады Очакова», «Изображение Фелицы», «На коварство французского возмущения», «На взятие Измапла». Так как в небольших произведениях возможны значительные отклонения от средних данных, брались оды не менее 100 стихов. Исключения сделаны только для знаменитой оды «На смерть князя Мещерского» и «Благодарности Фелице», тесно примыкающей к «Фелице». Стихотворение «На счастье» стоит отдельно по причинам, о которых — ниже.

Таблица 1 показывает относительную устойчивость ритмики Державина в обоих периодах. Высок процент I, полноударной формы: поэт любил ударения в Я4. Порой он вдобавок насыщает стих сверхсхемными ударениями; кажется, только у Державина можно встретить такие строчки, как «Поляк, турк, перс, прус, хин и шведы», но их анализ выходит за пределы нашей темы. Устойчиво высок процент III формы — отмеченного А. Белым *andante*. Неожиданно мало редкой формы VII, которая воспринимается слухом как значительно усиленная форма III (ср.: ЯПЯЯ и ЯППЯ); в первом периоде всего 1 стих на 6 од, 809 стихов. Во втором периоде 10 стихов, но статистическая достоверность столь малых чисел сомнительна. Достоверно понижается удельный вес самой частой IV формы — с 41 до 35%.⁵

Теперь сопоставим средние суммарные данные по формам од Державина с суммарными данными по одам Ломоносова и «Евгению Онегину» (см. Том, Я4, 106; там же цифры А. Белого).

ТАБЛИЦА 2

Употребительность форм Я4 у Ломоносова, Державина и Пушкина, в %

	I	II	III	IV	VI	VII
Ломоносов	23	2	24	47	2	2
Державин	30	5	22	38	5	0.5
Пушкин	27	7	10	47	9	0.5

Главное отличие Пушкина от поэтов XVIII в. — избегание любимой ими III формы. Интересно, что по формам II и VI Державин стоит как раз посредине между Ломоносовым и Пушкиным, а по явной антипатии к редкой форме VII совпадает с Пушкиным: в 4 раза меньше, чем у Ломоносова. Зато значительно ниже обычного употребительности самой частой IV формы. Таблица 2 заставляет усомниться в том, что ритмика Державина автоматична.

⁵ Достоверность проверялась с помощью критерия χ^2 .

Б. В. Томашевский применял еще более убедительный метод доказательства того, что поэт умышленно избегает одних форм и предпочитает другие: это наблюдения над «изомерными ритмами», то есть над ритмами, «состоящими из одинаковых ритмических элементов и отличающимися только их расстановкой.

Пример изомерных ритмов:

Не повторял потом безбожно...
Кого не утомят угрозы...

Ясно, что эти оба стиха Пушкин мог написать с одинаковой легкостью. Если первый из них встречается в четыре раза чаще второго, то потому, что Пушкин его предпочитал» (Том, Я4, 102).

Дальше, на с. 120, Б. В. Томашевский приводит примеры изомерных ритмов III и IV форм. Из них видно, что этим термином исследователь называл стихи, составленные из слов с одинаковым количеством слогов, но в другом порядке, независимо от того, можно ли их в данном стихе поменять местами (Устремленъ на нѣх живѣй — и — На нѣх устремленъ живѣй) или такая замена недопустима (соединиться с ним должна — и — должна соединиться с ним: исчезает рифма).

Сузим пределы методики Б. В. Томашевского, будем считать изомерными только те стихи, в которых возможна перестановка, не разрушающая размера и не сдвигающая рифмующегося слова.

В таблице 3 приведены державинские стихи как III формы, обрабатываемые в I и IV, так и стихи I и IV форм, обрабатываемые в III.

Таблица весьма показательна. Удивляет большое количество изомерных ритмов в III форме — 142 стиха из 481, т. е. 29%. В то же время стихов I и IV форм, вместе взятых, которые поэт мог бы обратить в III, только 72 из 1485 (ср. табл. 1), т. е. 5% — приблизительно в 6 раз меньше. Это значит, что из семи случаев, когда поэт стоял перед выбором порядка слов, он в шести избирал III форму (Сошла со облаков жена, а не Со облаков сошла жена) и лишь в одном предпочитал I или IV (Висел на левую бедру, а не На левую висел бедру). Предпочтение форме III несомненное. И в полном согласии с табл. 1 усиливается избегание IV формы: в первом периоде стихов III формы можно было обратить в IV лишь немного больше, чем в I (25 и 21); во втором периоде — вдвое больше (64 и 32); что же касается обратного превращения, то соотношение IV и I форм остается одинаковым.

Я не хочу этим сказать, что Державин осознавал и мог четко сформулировать все то, что здесь изложено. Творческий процесс лишь частично осознан и в значительной мере интуитивен — и у разных поэтов эта мера различна. Но мы можем утверждать, что Державин несомненно предпочитал звучание одних ритмических форм звучанию других и что вкусы его эволюционировали, хотя и в незначительных пределах (с уверенностью это можно сказать только об усилившемся избегании IV формы Я4).

Т А Б Л И Ц А 3

Изомерные ритмы Державина

Ода	Кол-во стихов в оде	Всего III форм.	Из III формы			Изомеры III форме		
			изом. I форме	изом. IV форме	итого	I форма	IV форма	итого
Первый период								
1. На см. кн. Мещ.	88	16	6	3	9	1	1	2
2. Фелица	260	66	8	9	17	6	5	11
3. Благ. Фел.	48	9	1	1	2	1	3	4
4. Решем.	120	25	2	3	5	1	3	4
5. Взд. мурзы	183	42	2	6	8	2	1	3
6. Бог	110	23	2	3	5	1	1	2
Итого:	809	181	21	25	46	12	14	26
Второй период								
7. На см. гр. Румян.	104	37	2	7	9	2	2	4
8. Ос. ос. Оч.	120	21	2	4	6	1	2	3
9. Изобр. Фел.	464	110	10	27	37	9	9	18
10. На ков. франц.	320	67	10	14	24	4	6	10
11. На вз. Измаила	380	65	8	12	20	4	7	11
Итого:	1388	300	32	64	96	20	26	46
Всего:	2197	481	53	89	142	32	40	72

Возникает вопрос: можно ли объяснить такие ритмические пристрастия поэта? Думается, что в значительной мере можно, если сопоставить ритмику Державина с особенностями его поэтического стиля и сопоставить с ритмикой пушкинского Я4.

Общим местом стало утверждение, что Я4 у Пушкина достиг небывалой легкости звучания не только по сравнению с Я4 XVIII в., но даже в сопоставлении с предшественниками — Жуковским и Батюшковым. График 5 наглядно объясняет это.

У Пушкина и поэтов его школы ясна тенденция к симметричности стиха: 1-й и 3-й икт слабые, 2-й и 4-й — сильные. Получаются как бы две волны подъема: от 1-го ко 2-му икту — подготовительный, менее сильный — и от 3-го к 4-му — мощный, от самого слабого к самому сильному (см. график 5). Как известно, симметричные формы и в пространственных, и во временных искусствах воспринимаются обычно как более легкие.

Конечно, и у Пушкина встречаются асимметричные стихи: «И кланялся непринужденно почти тождественно ломоносовскому «Извоблила Елисавет». Но ведь мы читаем не отдельные

строчки, а целое стихотворное произведение; и через какое-то количество строк наш слух начинает все более ясно ощущать преобладание тех или иных ритмических ходов, причем своеобразие ритма гораздо легче уловить, чем объяснить, потому что эстетическое восприятие еще более интуитивно, чем творчество.

Б. В. Томашевский был теоретически совершенно прав, когда спорил против утверждения А. Белого, что Я4 состоит из двух диподий, т. е. из стоп, соединенных попарно. В самом деле, в I, III, VII формах Я4 нет никакой симметричности, нет и пезуры на 2-й стопе, значит, нельзя говорить о диподийности всего Я4. И в то же время в утверждении А. Белого есть доля истины, но лишь применительно к стиху Пушкина и последующих поэтов XIX в. Тонкий слух поэта-теоретика уловил преобладание симметричных форм стиха.

Прямо противоположен пушкинскому ритм державинского Я4. Асимметричность; второй икт слабее первого (следствие предпочтения III форме); вместо двух волн подъема — одночленность, акцентная выделенность конца и начала стиха.

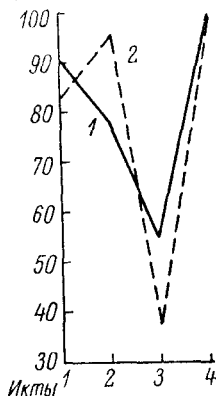


График 5

Я4 Державина и поэтов от 20-х гг. XIX в.

1 — Державин.
2 — от 20-х гг. XIX в.

Мы привыкли воспринимать легкость пушкинского стиха как достоинство и иногда неоправданно переносим такую оценку на поэзию XVIII в. Но легкость стиха в XVIII в. была принадлежностью преимущественно анакреонтики, любовной «песни» и других низких и средних жанров, в которых Я4 встречается реже. Заторможенный, затрудненный, асимметричный ритм (*andante* А. Белого) был в оде достоинством, ибо ода и легкость — две вещи несовместные. Такой ритм находил полное соответствие в высоком стиле оды, определявшемся и лексикой, уснащенной славянизмами, и множеством риторических фигур, и, что для нас особенно существенно, обилием инверсий; все это в совокупности и создавало патетический тон торжественной декламации, тот «язык богов», который противостоял обычным формам речи, «низкому» стилю.

Присмотримся с этой точки зрения к «изомерным ритмам» III формы у Державина. Вот, например, все восемь стихов из «Видения мурзы»: В серебряной своей порфире, Блестаючи с высот, она, И в крепком погружена сне, Лишь веяли одни зephyры, Сошла со облаков жена, На жертвенном она жару, Божественны ее черты, Курение мастик бесценных.

В XIX в. поэт, вероятно, написал бы «В своей серебряной порфире», «Со облаков сошла жена», «Она на жертвенном жару»

и т. д., — и стих несомненно выиграл бы в «естественности» синтаксической структуры и приобрел легкость звучания — и потерял в затрудненности (и ритмической, и синтаксической), столь важной для высокого стиля.

Наконец, в некоторых стихах при «естественном» синтаксическом строе семантически важные, поэтически эффе́ктные слова оказывались в середине стиха, на самом незаметном месте. Державин любит выносить такие слова в начало стиха: *В серебряной... порфире, Блистаючи... она, И в крепком... сне, На жертвенном... жару, Божественны... черты.*⁶ Таким образом, стихи такого строения, как «На жертвенном она жару» воздействуют на читателя одновременно и ритмически (асимметричная, затрудненная форма), и стилистически (сильная инверсия), и семантически (важные для поэта слова располагаются на ритмически сильных местах).

Все сказанное не значит, что Державин стремился каждый стих выделить так же сильно, как только что приведенный. Это вообще вряд ли возможно. Среди стихов III формы Я4, изоритмичных I и IV, есть синтаксически нейтральные, например: «Ничто от роковых кохтей»; возможно, здесь поэта привлекло ритмическое звучание, а может быть, инверсия «От роковых ничто кохтей» показалась слишком сильной; может быть, слово «ничто» было ему нужнее, чем «роковых», и он поставил его первым. Возможны разные объяснения, поэтому лучше воздержаться от гадательных предположений. Некоторые стихи I и IV форм Я4 на первый взгляд прямо противоречат тому, что здесь сказано, например: «Мои безмолвствуют уста». Казалось бы, Державин должен был написать «Безмолвствуют мои уста» — появилась бы III форма, выдвинулось бы на первый план слово «безмолвствуют». Но поэт захотел иначе.

В поэзии мы редко встречаемся с абсолютными законами, гораздо чаще — с тенденциями. Важно то, что названные здесь тенденции выражены достаточно отчетливо.

Приведем здесь стихи III формы, изоритмичные I и IV, и обратные — пусть читатель сам попытается уяснить, что в каждом случае было важнее поэту.

Стихи III формы. Ничто от роковых кохтей, На то, чтоб умереть, родимся, В которую стремглав свалимся, Без жалости все смерть разит, Где пиршеств раздавались клики, Исчезла и моя уж младость, Не столько восхищает радость, Не столько легкомыслен ум, Желанием честей размучен («На см. кн. Мещ.»); Там плов и пироги стоят, Ты здраво о заслугах мыслишь, Но богу правосудну боле, Достойным воздаешь ты честь, Поэзия

⁶ Во время обсуждения в Пушкинском Доме моего доклада, содержавшего основные положения этой статьи, на тенденцию Державина к вынесению семантически важных слов в начало стиха обратил мое внимание В. Э. Вацура. Пользуюсь случаем поблагодарить его и других коллег, принявших участие в обсуждении доклада.

тебе любезна, Дстойное тебя одной, За здравие царей не пить,
Не щелкает в усы вельмож, И сажей не мараеет рож, Ты ве-
даешь, Фелица! правы, Чтоб страшной, нелюбимой быть, Кто
благодарно велик, как бог, Добро лишь для добра творишь, За
них я от тебя желал, Почувствовать добра приятство, Небесные
прошу я силы, Невидимо тебя хранить («Фелица»). Примеры
из «Видения мурзы» приведены выше.

Стихи II формы. Благословляй судеб удар («На см. кн.
Мещ.»); Как укрощать страстей волнение, Не дорожа твоим по-
коем, Где ветерок едва дышит, И забавляюсь лаем псов, Но на
меня весь свет похож, Где отличен от честных плут («Фелица»);
Вострепещи, мурза несчастный, Превознесу тебя, прославлю
(«Вид. мурзы»).

Стихи IV формы. Богатств стяжание минет («На см. кн.
Мещ.»); Храпя обычаи, обряды, Твоих всех милостей зойлам,
Всегда склоняешься простить, Князья наседками не клохчут,
Прошу великого пророка («Фелица»).

Из остальных од примеры не приводятся; читатель может до-
полнить примеры и проверить статистические выкладки.

Утверждение, что асимметричный державинский Я4 соответ-
ствует характеру высокого одического стиля, казалось бы, легко
можно проверить сопоставлением с Я4 в легких жанрах. Однако,
к сожалению, это не так.

Во-первых, в анакреонтических и других «легких» стихотво-
рениях Я4 встречается не столь часто. Во-вторых, суммируя
строчки ряда небольших стихотворений, мы не можем утвер-
ждать, что эта сумма равнозначна одному крупному произве-
дению. Быть может, Державин любил ритмически выделять за-
чины и концовки; для крупных вещей это не существенно,
в сумме ряда мелких может изменить картину. Наконец, «лег-
кие» жанры (термин «низкие» здесь уже вряд ли уместен) рас-
цветают у Державина во второй половине 90-х годов и в XIX в.
Можем ли мы поручиться, что в это время ритмические вкусы
поэта не изменились?

Правда, есть крупное произведение «низкого» жанра — «На
счастье», 1789 г. Данные по всем столбцам таблицы 1 совпадают
с другими одами. Но «На счастье» — случай особый. Это не лег-
кая поэма типа «Душеньки», а то, что по аналогии с прои-ко-
мической поэмой можно бы назвать прои-комической одой. Это
ода наизнанку, в которой одические ритмы ощущались, быть мо-
жет, как одно из целого ряда нарочитых несоответствий — вроде
неожиданного смешения высокого и низкого слогов. Поэтому от
соблазнительных сопоставлений одического и неодического Я4
придется, к сожалению, отказаться.

Однако и сказанного, думаю, достаточно, чтобы утверждать,
что ритмы Державина не были автоматическими. Ритмические
пристрастия поэта достаточно определены и связаны с общим
стилем его од.

В. Д. РАК

ПЕРЕВОДЧИК В. А. ПРИКЛОНСКИЙ

(материалы к истории тверского «культурного гнезда» в 1770—1780-е годы)

На основании разысканий в архиве типографии Сухопутного шляхетного кадетского корпуса Д. Д. Шамрай указал, что скрывшимся под криптонимом «Я. Б.» переводчиком книги Лесажа «Похождение Естеванилла Гонзалеца...» (т. 1—2. СПб., 1765—1766) был прапорщик л.-гв. Измайловского полка Василий Приклонский.¹ Позднее в архиве Московского университета Н. А. Пенчко обнаружила сведения о юноше, носившем эти имя и фамилию: в 1758 г. он учился в Благородной гимназии при университете и в июле был награжден серебряной медалью, 22 апреля 1760 г. решением Конференции переведен в своекоштные студенты, имея в это время чин капрала, а 29 апреля отмечен как отличившийся на ежегодном торжественном акте. В биографической справке, составленной Н. А. Пенчко для указателя к публикации документов, это лицо идентифицировалось как брат Михаила Васильевича Приклонского, директора университета в 1771—1784 гг.; сообщалось о его участии в журнале «Полезное увеселение» (1760—1761) и «Трудах Вольного экономического общества» (1774), однако роман Лесажа не упоминался.²

Предложенная Д. Д. Шамраем атрибуция вызвала, по-видимому, сомнения у составителей «Сводного каталога», и поэтому, очевидно, в описании книги криптоним не расшифрован, а формулировка аннотации прозрачно намекает на возможность ошибки. В «Указателе имен» этой библиографии криптоним также не раскрыт.³ В том же указателе приводятся отчество и

¹ Шамрай Д. Д. Цензурный надзор над типографией Сухопутного шляхетного кадетского корпуса. — В кн.: XVIII век, сб. 2. М.; Л., 1940, с. 325.

² Документы и материалы по истории Моск. ун-та второй половины XVIII века. М., 1960, т. I, с. 114, 116, 168—171, 368.

³ СК, № 3652; а также т. 5, с. 202.

даты жизни Василия Приклонского, установленные по материалам семейного архива директора Московского университета.⁴ Василий Васильевич, сообщается в этом источнике, младший брат Михаила Васильевича, родился 8 сентября 1739 г. В 1750 г. он поступил в Сухопутный шляхетный корпус, откуда был выпущен в 1759 г. в чине прапорщика. Служил он в Измайловском полку и в его составе участвовал в войне с Пруссией. В день своего двадцатидвухлетия, 8 сентября 1761 г., он был смертельно ранен под г. Колбергом и умер 22 сентября.

Таким образом выяснилось, что было два Василия Приклонских и что тот из них, который учился в Москве, не состоял в родстве с директором университета. Факты, опубликованные Д. Д. Шамраем, почти идеально, на первый взгляд, согласуются с биографией петербургского В. В. Приклонского. Недоумение может, правда, вызвать продолжительная задержка с печатанием перевода, который, как явствует из сопоставления дат, вышел в свет лишь через четыре года после его смерти; но в XVIII в. длительные промедления с публикацией имели место неоднократно, и в этом случае естественно не усмотреть ничего необычного или подозрительного. Итак, хотя загадка криптонима не разъяснилась и сомнения не устранены, но найдено по крайней мере лицо, которое фигурирует в документах архива типографии, — так заключили составители «Сводного каталога» и сочли возможным прекратить на этой стадии свои разыскания. Остановились они, однако, на полпути, поскольку потеряли из поля зрения московского Василия Приклонского, приписав по недоразумению сотрудничество в «Полезном увеселении» его петербургскому однофамильцу и тезке.⁵ Между тем самое беглое ознакомление с его университетским окружением подсказало бы необходимость дальнейших поисков и дало им направление.

Одновременно с этим Приклонским в университете учился Яков Иванович Булгаков, подписывавшийся в «Полезном увеселении» литерами «Я. Б.» и много переводивший с французского языка как в эти годы, так и впоследствии. Примечательно, что он обращался к сочинениям Лессаж: его прозаический перевод поэмы «Влюбленный Роланд» был выполнен по прозаическому переложению французского писателя. Естественно предположить, что криптоним, под которым вышло «Похождение Естеванилла Гонзалеса», образовали инициалы Булгакова, а Приклонский лишь представил по его поручению рукопись в типографию и вел там деловые переговоры.

Проверка этой гипотезы дала результаты, далеко выходящие за рамки первоначально поставленной цели. В архиве Я. И. Бул-

⁴ СК, т. 5, с. 184; Ювеналий (Войков И. Г.) Краткое историческое родословие благородных дворян Приклонских. М., 1796, с. 7. Ссылка на этот источник содержится в уточнении к № 5644 СК (т. 5, с. 297).

⁵ СК, т. 5, с. 184.

гакова, хранящемся в Отделе рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, оказалась переписка семьи Приклонских с Булгаковыми.⁶ Письма самого Приклонского содержат богатый фактический материал, представляющий его в совершенно неожиданном свете. Вместо безвестного студента, напечатывавшего в годы учения несколько небольших прозаических переводов, на сцену выступает человек, вложивший много сил в развитие образования в Тверской губернии, автор капитального краеведческого труда, плодовитый переводчик, чья судьба сложилась, однако, так, что его имя было доселе скрыто во тьме забвения.

Василий Андреевич Приклонский родился 21 июля 1746 г.⁷ Происходил он из дворян Кашинского уезда Тверского наместничества (до 1775 г. Угличская провинция Московской губернии). Основным источником биографических сведений о нем вплоть до конца 1770-х годов служит краткий формулярный список, составленный им самим для Я. И. Булгакова, который хлопотал по его делам в Герольдии.⁸

В Благородную гимназию Московского университета Приклонский был определен в сентябре 1757 г. Учился он успешно, как о том свидетельствуют приведенные выше факты из университетского архива. К ним следует добавить, что в феврале 1760 г. в связи, очевидно, с окончанием гимназии он был записан в Измайловский полк и тогда же произведен в капралы. Несколько его переводов с латинского языка, напечатанных в 1760 г. в «Полезном увеселении», были выполнены несомненно как учебные упражнения,⁹ в их числе два диалога Луккиана, две идиллии Теокрита, десять небольших рассказов из популярной и многократно переиздававшейся в XVIII—XIX вв. школьной латинской хрестоматии.¹⁰ На следующий год в жур-

⁶ Герасимова Ю. И. Архив Булгаковых. Материалы Я. И. и И. М. Булгаковых. — Записки Отдела рукописей Гос. биб-ки СССР им. В. И. Ленина, 1968, вып. 30, с. 77, 79—82.

⁷ Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. СПб., 1895, т. 2, с. 132; Чернявский М. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 г. Б. м., б. г., л. 155 (№ 960). В этих же книгах указывается, что отец Приклонского умер 25 апреля 1745 г. Следовательно, одна из дат неточна.

⁸ Письмо к Я. И. Булгакову от 23 февраля 1777 г. — ГБЛ, ф. 41, карт. 122, ед. хр. 27, л. 2 об. В дальнейшем указываются в скобках в тексте дата письма, номер картона, единица хранения и лист. Все письма, кроме оговоренных в скобках, адресованы Я. И. Булгакову.

⁹ 29 апреля 1760 г. Конференция определила, что 12 дворян и 12 разночинцев на казенном коште будут записываться только французским и немецким языками, а 76 студентов — преимущественно латынью. — Документы и материалы по истории Моск. ун-та..., т. 1, с. 170—171.

¹⁰ [Heuzet J.] Selectae è profanis scriptoribus historiae, quibus admista sunt varia honeste vivendi praescepta ex iisdem scriptoribus deprompta. P. 1—2. Parisiis, 1727. Отметим неопознанный в СК (№ 1195) русский перевод этой хрестоматии: Выбранные из языческих писателей истории, к которым присоединены частного жития различные правила из тех же писателей взятая. Переведенная в пользу общества с латинского языка Иваном Соколовым. Ч. 1—2. СПб., 1764—1765.

нале были помещены два сатирических диалога его собственного сочинения, написанных по образцу «Разговоров в царстве мертвых» Луккиана, также, возможно, в качестве учебных заданий.

В годы совместной учебы в гимназии, а затем университете сложились дружеские отношения между Приклонским и Булгаковым, перешедшие в родственные, когда Приклонский женился на сестре Булгакова Мавре Ивановне.

Булгаков вышел из университета 24 марта 1762 г. Очевидно, приблизительно в то же время окончил курс обучения и Приклонский. По всей вероятности, он сразу поступил на военную службу, и в ближайшие месяцы последовало несколько повышений его в чине: в мае — производство в подпрапорщики, в июне — в каптенармусы, в июле — в сержанты и, наконец, в августе — в первый офицерский чин прапорщика, в котором он пребывал до 27 апреля 1764 г., когда стал подпоручиком. Последний интервал непосредственно и с минимальным разрывом предшествует выходу первого тома «Похождения Естеванилла Гонзалеца». Таким образом, не остается сомнений, что именно В. А. Приклонский представил в типографию рукопись; находит логическое и простое объяснение и криптионим, за которым, безусловно, скрылся Я. И. Булгаков.

В армии Приклонский прослужил менее пяти лет. Какие-то обстоятельства, которые он не называет, поскольку они, конечно, были Булгакову известны, побудили его снять военный мундир. В январе 1767 г. он был, по его словам, «отставлен тем же чином по злости Василия Ивановича Суворова, нашего подполковника, который утаил, что я в подпоручичьем чину более году служил, и чрез то лишил меня награждаемого при отставке чина» (122, 27, 2 об.).

Поселившись в своем имении, находившемся в сельце Щопотово, Приклонский провел двенадцать лет в обыденных заботах и развлечениях помещика. Хозяйством он занимался, кажется, серьезно и старался вводить у себя различные новшества, которые рекомендовала агрономическая наука того времени. Вдумчивым наблюдателем, хорошо осведомленным экономистом и знатоком сельского хозяйства своего края он показал себя в обширной статье «Ответы на заданные от Вольного экономического общества вопросы, касающиеся до земледелия и внутреннего деревенского хозяйства по Кашинскому уезду».¹¹

В 1777 г. Приклонский, убежденный сторонник «публичного» образования дворянских детей в противовес домашнему, «где учителя без выбору, метода обучения не сведома, воспитание не наблюдаемо» (И. М. Булгакову, 1777; 123, 7, 6), предпринял попытку учредить в Кашине дворянское училище. Однако царившие вокруг косность и невежество задушили его затею на корню.

¹¹ Труды Вольного экономического общества, 1774, ч. 26, с. 1—91.

Провинциальная трясина и повседневные хлопоты по хозяйству не заглушили у Приклонского интереса к литературе. В свободные часы он занимался переводами, относясь, в духе своей эпохи, к этим упражнениям лишь как к способу полезного и приятного препровождения праздного времени,¹² но не оставляя тем не менее мысли о том, чтобы издать плоды своих трудов. На этот предмет он даже вступал в переговоры с московскими книгопродавцами. «А у меня теперь также есть немало моих переводов, — извещал он Булгакова 8 июня 1777 г., — но на свой кошт за небытием моим в городе отдать печатать нельзя, а Ридигер с Вебером¹³ не берут, отговариваясь, что в Москве печатать дорого. И так лежат они у меня без пользы» (122, 27, 5 об.). Неудача обескуражила Приклонского: «Я две книжки потерял, трудясь над ними несколько месяцев, — жаловался он шурина 2 ноября 1777 г. — Типографщики печатать на свой кошт не хотят, мне своими деньгами нечем. А сие то сделало, что я более году как переводить не принимался» (122, 27, 19—19 об.). Не могла не расхолодить его и пропаша беловых рукописей у Вевера (2 дек. 1777; 122, 27, 25 об.) и у А. А. Тейльса (29 янв. 1778; 122, 28, 5 об.).

Расшевелила Приклонского и возвратила ему вкус к литературным занятиям переписка с Булгаковым.

Летом 1777 г. вышел из печати первый том «Влюбленного Роланда». Внутри семьи это было, без сомнения, воспринято как примечательное событие, Приклонский был явно взбудоражен. Приняв близко к сердцу интересы друга и родственника, он отдает распоряжение крепостным из каждой поездки в Петербург привозить от Булгакова несколько экземпляров книги, которую обещает помочь распространять в провинции (15 сент. 1777; 122, 27, 13 об.). Последовали хлопоты и размышления о причинах слабого успеха — все это обстоятельно излагается в письмах, переживается, напоминает о лежащих без движения собственных переводах. Булгаков, со своей стороны, подливает масла в огонь, делясь с зятем планами на будущее. В это время его внимание привлекает многотомное собрание под заглавием «Французский путешественник» (*Voyageur français*), издававшееся плодовитым компилятором Жозефом де Ла Портом. Задумывая новое переводческое предприятие и желая удостовериться в литературных достоинствах и познавательной ценности выбранных им книг, Булгаков ищет рецензии и просит Приклонского просмотреть имевшийся у того комплект «Энциклопедического журнала» (*Journal encyclopédique ou universel*), что тот охотно исполняет (там же). Заходит речь и об участии в переводе Приклонского, который в ответ на последовавшее пред-

¹² В письме к Я. И. Булгакову от 25 янв. 1778 г. говорилось: «Я, писав или переводя, препровождаю единственно мое время» (122, 28, 3).

¹³ Речь идет о Х. Л. Вевере, содержателе книжной лавки Московского университета.

ложение пишет 2 ноября 1777 г.: «Рад бы охотно помочь тебе в переводе „Французского путешественника“, хотя не 4 томами в год. Ибо и самая наша спокойная жизнь имеет свои хлопоты и попечения. Но все сие есть будущее» (122, 27, 19 об.).

Затрагивается, естественно, в переписке вопрос о судьбе тех уже выполненных переводов Приклонского, которые не удалось издать в Москве. Булгаков, очевидно, советует попытаться их пристроить в Петербурге и предлагает свои услуги в качестве посредника в переговорах с книгоиздателями. Приклонский готовностью и радостью соглашается: «Напечатанием моих переводов был бы я тебе очень благодарен. Они невелики: 1-е „Мурат и Туркия, африканская повесть“, переведена с французского и состоит in 4^{to} в 184 стран. мелким письмом писанные. 2-е периодические статьи 47, выбранные из „Journal étranger“, из „Recueil pour l'esprit et pour le coeur“ и из прочих. Писаны в лист на 180 стр. 3-е „Похождение рублевиково“, также in 4^{to} на 318 стр.» (2 дек. 1777; 122, 27, 25 об.). Перечень этот неполный, позднее объявятся еще переводы: «„Voyage du prince Fan-Férédin“ я к тебе пришло при случае и думаю, что напечатать она годится. Будучи сама роман, осмеивает все романы, хотя не очень остро, но с солью. Ее половина и набело переписана. О „Dictionnaire de l'avocat“, что он весь переведен, я и не слыхивал, пожалуй, справься и отпиши, когда и где печатан и окончен ли? О напечатании списка живописцам предложение тебе сделал потому, что, переведа его для одного картинного охотника и приметя, что многие у меня берут его списывать, думал, что нет ничего в России о живописцах по-русски изданного» (2 авг. 1778; 123, 1, 11).

Получив первые три рукописи, Булгаков их прочитывает и начинает действовать. «Похождение рублевиково» вызывает, однако, у него серьезные замечания, которые он сообщает зятю, на что тот отвечает 25 января 1778 г.: «„Рублевика“ писал я давно и сам признаюсь, что поправки требует. Я много доволен объяснением погрешностей и прошу, если он не нанесет Вам труда, его поправить или с ремарками назад возвратить. Впрочем, любезной друг, все отдаю в твою полную волю» (25 янв. 1778; 122, 28, 3). Желание увидеть свои труды напечатанными у Приклонского так велико, что он готов на крайне умеренные условия: тираж не более 500 экземпляров (122, 28, 3) и небольшой гонорар книгами. «Что касается до моих манускриптов, — пишет он 12 февраля 1778 г., — я не желаю оными причинить тебе убытку и в полную твою власть отдаю. Даже я на то соглашусь, чтобы отдать книгопродавцу из 30 экземпляров или и менее. Мелкие переводы пускай печатаются в „Утреннем свете“, я не желаю прибыли, а буду одним тем доволен, что издадутся в свет и мне один или 5 экземпляров прищлется» (122, 28, 9 об.). Тем не менее дела продвигаются очень медленно. Приклонский сам идет на уступки: «О манускриптах моих ты за-

молчал, — тревожится он 15 марта 1778 г., — пожалуй уведоми, пожалуй скажи. А я бы из 10 экземпляров отдал, чтобы были напечатаны. Периодическими же сочинениями кланяюсь „Утреннему свету“ и, не имея подать денег на содержание гофшпиталья, я приумножаю его листочки, следственно и доходы» (122, 28, 17—17 об.). Наконец, через месяц — первая радость: «„Утренним светом“ и тем, что мои переводы начали издаваться, я весьма доволен, но сожалею, что опоздал, ибо некоторые из оных, как-то „Бозальдаб“, „4 степени“, предупредили перевести до меня» (26 апр. 1778; 122, 28, 24).

В полном хронологическом согласии с этим письмом в мартовском номере «Утреннего света» за 1778 г. обнаруживаются три перевода из периодического издания «Recueil pour l'esprit et pour le coeur» (1764—1765) и его продолжения «Nouveau recueil pour l'esprit et le coeur» (1766—1772):

О дружбе (с. 267—274): De l'amitié. — Nouveau recueil, 1766, t. 2, p. 353—362.

Пастух и философ (с. 275—277): Le berger et le philosophe. — Recueil, 1764, t. 1, pt. 2, p. 205—208. Оригинал: басня английского писателя Джона Гея (J. Gay. The Shepherd and the Philosopher).¹⁴ Ранее этот же французский перевод публиковался в журнале Choix littéraire, 1758, t. 16, p. 103—106.

Саладин и Фатма (с. 278—282): Salaeddin et Fatmé. — Nouveau recueil, 1766, t. 1, p. 10—16. Концовка на с. 282, начиная словами «или очистить сердце и душу нашу...», принадлежит Приклонскому.

Кучное расположение переводов в «Утреннем свете» представляет дополнительное свидетельство того, что поступили они от одного лица.

Два нравоучительных произведения, которые «предупредили перевести» и напечатать в «Утреннем свете», также находятся в «Recueil».¹⁵

¹⁴ Указано Ю. Д. Левиным в статье «Английская поэзия и литература русского сентиментализма» в кн.: От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970, с. 273 (№ 28).

¹⁵ *Bozaldab*. — Recueil, 1764, t. 1, pt. 1, p. 177—185. О русских переводах этого популярного в XVIII в. нравоучительного рассказа из английского журнала «The Adventurer» (1753, July 28, N 76; автор: Joseph Warton) см.: *Левин Ю. Д.* Английская просветительская журналистика в русской литературе XVIII в. — В кн.: Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1967, с. 64, 93, 94, 101, 102 (№ 145, 182, 342, 369, 387); *Рак В. Д.* Переводческая деятельность И. Г. Рахманинова и журнал «Утренние часы». — В кн.: Русская культура XVIII в. и западноевропейские литературы. Л., 1980, с. 102—103, 108—109.

Les quatre âges de la vie. — Nouveau recueil, 1766, t. 2, p. 305—314. Ранее этот же текст печатался в журнале «Choix littéraire» (1758, t. 14, p. 166—174) с указанием на то, что он представляет «вольный перевод немецкого оригинала». Однако на немецком языке удалось выявить лишь более позднюю публикацию: Die vier Stufen des menschlichen

Радость по случаю появления первых переводов скоро сменялась недоумением. «„Утреннего света“ осталось мне получать немного, — пишет Приклонский 21 июня 1778 г., — а переводов моих только 5 издаю.¹⁶ Разве они в будущем году станут их печатать, но тогда „Утреннего света“ у меня не будет. Жаль, что я о том не знал. Я бы лучше хотел брать по одному экземпляру, но до самого окончания моих переводов» (123, 1, 7 об.). Ждать пришлось еще четыре месяца, но зато октябрьская книжка журнала (1778) щедро вознаградила Приклонского за все проволочки и разочарования. В ней он нашел сразу десять своих переводов:

Коразмин (с. 141—147): Corasmin, — Recueil, 1764, t. 2, pt. 1, p. 193—201. Оригинал: The Adventurer, 1754, February 9, № 132 (автор: John Hawkesworth).¹⁷

О зависти (с. 148—154): L'envie — Recueil, 1764, t. 1. pt. 1, p. 193—203.

«Истинны» (с. 155—159), «Письмо несчастного мужа ко приятелю» (с. 159—164), «Письмо ко приятелю, что учение лучше богатства» (с. 164—168), «Борьба любви с добродетелью» (с. 169—174): Источники и оригиналы этих произведений не установлены,¹⁸ но переводы можно с уверенностью приписать Приклонскому, поскольку они расположены между его опознанными публикациями, образуя с ними единый массив.

Нахальство и вежливость. Правоучительная аллегория (с. 175—179): L'Impudence et la Modestie, allégorie morale, traduite de l'anglois. — Journal étranger, 1755, février, p. 231—236. Оригинал: Impudence and Modesty. An Allegory. — The Universal Magazine of Knowledge and Pleasure, 1754, vol. 14, January, p. 8.¹⁹

Мисса и бабочка. Баснь (с. 180—184): Miss et le Papillon. Fable. — Journal étranger, 1755, février, p. 226—230. Оригинал: Hamilton, William. Miss and the Butterfly. A Fable.

Alters. — Mannigfaltigkeiten. Ein gemeinnütziges Wochenschrift, 1771, Jhg. 2, 86. Woche, 20. April, S. 525—534; 88. Woche, 4. Mai, S. 557—560; 90. Woche, 18. Mai, S. 589—591 (подпись: K u. M). Русских переводов (включая перевод Приклонского) четыре: 1. Четыре степени возраста человеческого. Пер. с нем. яз. Г. Кириак. — Утренний свет, 1777, ч. 1, октябрь, с. 144—155. Этот перевод перепечатан в кн.: *Виноградский И. Н. Картина нравов...* М., 1789, ч. 2. с. 116—134; 2. Четыре возраста жизни. — Чтение для вкуса, разума и чувствований, 1791, ч. 1, № 21—22, с. 330—342; 3. Четыре возраста человеческие. — Приятное и полезное препровождение времени, 1796, ч. 11, № 79, с. 401—410.

¹⁶ Два перевода не опознаны; вполне вероятно, однако, что эта цифра включает три перевода самого Приклонского и те два произведения, с которыми он опоздал.

¹⁷ *Левин Ю. Д.* Английская просветительская журналистика..., с. 93 (№ 148).

¹⁸ К сожалению, не представилось возможности просмотреть «Journal étranger» за 1758—1762 гг.

¹⁹ *Левин Ю. Д.* Английская просветительская журналистика..., с. 93 (№ 149).

Гнев (с. 184—192): *La colère*. — *Recueil*, 1765, t. 2, pt. 2, p. 193—202. Оригинал: *The Rambler*, 1750, April 24, N 11 (автор: Samuel Johnson).²⁰

Кабул (с. 193—194): *Kabul*. — *Recueil*, 1764, t. 1, pt. 1, p. 126—127.

Всего Н. И. Новиков поместил в журнале тринадцать или, может быть, пятнадцать переводов Приклонского; два произведения он отвел на том основании, что они были напечатаны ранее в переложении других лиц. Таким образом, из сорока семи статей, содержащихся в рукописи, которую получил Булгаков, свет увидели максимум семнадцать, а тридцать, т. е. около двух третей, остались неопубликованными и безвозвратно для нас потеряны.

«*Recueil*», выходивший в немецком городе Целле, был компилятивным журналом. Его страницы заполнялись рассказами, стихотворениями, эссе, рассуждениями, подборками афоризмов и сентенций и другими произведениями малых жанров, которые без указания источников и авторов перепечатывались или переводились из французской и немецкой периодики или различных сборников. Издатель, протестантский священник Жак Эммануэль Рок (*Roques*), преследовал моралистические цели, в соответствии с которыми помещал только правоучительные сочинения, проникнутые «уважением к религии, государственным установлениям и нравственности», оставляя за собою свободу изымать все несогласное с его взглядами и добавлять то, что ему представлялось необходимым.²¹

В других иностранных журналах Приклонский, судя по его опубликованным переводам, также останавливал внимание, если не исключительно, то преимущественно, на произведениях и статьях правоучительного содержания. Однако следует учитывать, что «*Утренний свет*» может создавать несколько искаженное представление о составе рукописи, т. к. вторичный отбор, произведенный Н. И. Новиковым, был строго целенаправленным и потому, конечно, односторонним.

Во всяком случае, складу мыслей Приклонского отвечало не только нравучение, облеченное в изящную художественную форму. Переведенная им «африканская» повесть «*Мурат и Туркия*» французской писательницы де Любер принадлежала к псевдоисторическому галантному жанру. Ее содержание составляют переживания, страдания и перипетии, выпавшие на долю благородных возлюбленных, чьему счастливому соединению препятствуют обстоятельства. В повести присутствует весь обычный для этого жанра арсенал персонажей и коллизий: мнимое неравенство происхождения, принуждение к браку с нелюбимым человеком, взаимные недоразумения, изливания чувств, военные подвиги, пленения и др.

²⁰ Там же, с. 93 (№ 150).

²¹ *Recueil pour l'esprit et pour le coeur*, 1764, t. 1, pt. 1, p. [XII], [XIV].

Выхода этого перевода Приклонский ожидал с нетерпением, надеясь, что он окажет на него стимулирующее действие. «Худой успех прежних моих пьес, — писал он 17 мая 1778 г., — сделал меня нерадивым, а особливо и мысли, занимающиеся попечением о доме, долге и пр. <...> Напечатанием „Мурата“ примусь я с большею охотою к переводам» (123, 1, 1 об.). Впрочем, гонорар уже был получен, а это вселяло спокойствие и уверенность: «О „Мурате“ я не забочусь, что еще не печатается. Теперь не наши хлопоты, а Миллер заплативши за него и самому захочется поскорее пустить в продажу. Я бы хотел подобно и „Рублевика“ ему втереть: пускай у него лежит, лишь бы нам заплатил» (2 авг. 1778; 123, 1, 11). Издание было осуществлено лишь в 1780 г. Имя и фамилия переводчика были на титульном листе обозначены литерами «В. П.». ²²

«Втереть» «Рублевика» не удалось, и он остался неизданным. Рукопись не сохранилась, но можно с уверенностью предположить, что речь шла о романе английского писателя Чарлза Джонстона «Дух золота, или Приключения гишени», который в руки Приклонского попал, разумеется, во французском переводе. ²³ Роман распадется на множество отдельных эпизодов и сцен, объединенных несложным сюжетным приемом, который состоит в том, что дух, вселившийся по велению высших сил в золотой самородок, добытый в Перу, а затем в монету, из этого самородка изготовленную, повествует об образе жизни и поступках каждого из людей, в чьих руках эта монета побывала. Она переходит от одного лица к другому, и перед читателем развертывается панорама английских нравов середины XVIII в., цепь нескончаемых обманов, вереница преступлений, картина бурного моря низких страстей, торжества порока и страданий добродетели, произвола и притеснений, лицемерия, продажности, разврата во всех слоях общества.

Не располагая переводом Приклонского, невозможно понять, почему издатели отказались печатать этот роман, написанный по столам Г. Филдинга и Т. Смоллета, хотя существовали все условия для того, чтобы ожидать благосклонного его приема читателями. Уже завоевали признание в России «комические эпопеи в прозе» Филдинга, подготовив почву для проникновения и популярности произведений его последователей и подражателей. Хо-

²² *Де Любер. Мурат и Туркия. Африканская повесть.* Переведена с французского языка В. П. М., Унив. тип. у Н. И. Новикова, 1780. (СР, № 3842). Криптоним до сих пор оставался не расшифрованным.

²³ *Johnston Ch. Chrysal: or, the Adventures of a Guinea. Wherein are exhibited Views of Several Striking Scenes; with Interesting Anecdotes, of the most noted Persons in every Rank of Life, through whose Hands it has passed. By an Adept. Vol. 1—4. London, 1760—1765; Chrysal, ou les Aventures d'une guinée, histoire angloise. [Trad. par Jos.-P. Frenais]. Londres—Paris, 1767; Supplément à Chrysal, ou les Nouvelles aventures d'une guinée, trad. de l'anglois par Mylord Aleph [Jos.-P. Frenais]. Amsterdam, 1769.*

рошо был в России известен и пользовался успехом композиционный прием, родившийся в XVII в. во Франции в кружке мадемуазель де Скюдери. В 1710 г. Свифт посоветовал им воспользоваться Дж. Аддисону,²⁴ который на нем построил сатирический очерк в журнале «Болтун»,²⁵ послуживший образцом Джонстону. Еще в 1763 г. этот очерк был переведен на русский язык, а позднее в «Трутне» Н. И. Новиков напечатал свое ему подражание.²⁶ Любопытно, что в то самое время, когда Приклонский и Булгаков хлопотали об издании «Похождения рублевикова», еще один рассказ от имени монеты появился в «Утреннем свете» (опять новиковском журнале!).²⁷ Не связан ли провал всех попыток Приклонского с этим событием? Если же это хронологическое совпадение случайное, то наиболее вероятной причиной неуспеха перевода остается предположить его несовершенство, хотя, например, Новикова могли, кроме того, оттолкнуть содержащиеся в романе насмешки над алхимическими сочинениями.

Не увидело света также «Путешествие принца Фанфередина» — перевод романизованного памфлета французского иезуита Гийома Гиацинта Бужана (1690—1743).²⁸ Из письма Приклонского от 27 августа 1778 г. явствует, что за некоторое время до этой даты он отправил Булгакову посылку, «состоящую в экономических 7 томах и в „Принце Фанфередине“, да ассигнация в 25 рублей за „Роланда“» (123, 1, 15). В остальных сохранившихся письмах о «Путешествии» не говорится ни слова.

Памфлет был одним из многочисленных полемических сочинений, вызванных к жизни бурными спорами о жанре романа, которые велись во Франции на протяжении всего XVIII в.²⁹ Бу-

²⁴ [Isarn S.]. La pistole parlante, ou la métamorphose du louis d'or, dédié à Mademoiselle de Scudéry. Paris, 1660; Swift J. Journal to Stella. Ed. by H. Williams, vol. 1. Oxford, 1948, p. 110, 124.

²⁵ The Tatler, 1710, November 11, N 249.

²⁶ Похождение червонца. [Пер. с англ.] «Студент» Михайло Пшермский. — Свободные часы, 1763, ноябрь, с. 661—668 (перевод с частичной перделкою); Трутень, 1769, 30 июня, л. 10. — В кн.: Сатирические журналы Н. И. Новикова. Ред., вступ. статья и коммент. П. Н. Беркова. М.; Л., 1951, с. 76—79. На генетическую связь между очерком в «Свободных часах» и письмом в десятом номере «Трутня» указал В. П. Семенников, но он не знал ни автора, ни источник переводного рассказа (см.: Семенников В. П. Русские сатирические журналы 1769—1774 гг. Разыскания об издателях их и сотрудниках. СПб., 1914, с. 48).

²⁷ Повесть о полуполтиннике. — Утренний свет, 1778, ч. 3, июль, с. 264—279. На этом русская традиция не закончилась, ее продолжил сатирический рассказ А. А. Бестужева «История серебряного рубля» (Благонамеренный, 1820, ч. 10, № 7, с. 13—22). Существует большое число западноевропейских произведений XVIII—XX вв., в которых использован этот сюжетный прием.

²⁸ [Bougeant G.-H.]. Voyage merveilleux du prince Fan-Férédin dans la Romance, contenant plusieurs observations historiques, géographiques, physiques, critiques et morales. Paris, 1735.

²⁹ Об этом см.: May G. Le dilemme du roman au XVIII^e siècle. Étude sur le rapport du roman et de la critique (1715—1761). New Haven (Conn.). Paris, 1963.

жан предполагал, что рассчитывать на внимание легкомысленных, в его представлении, поклонников этого жанра, ничего иного, в особенности серьезного, как ему казалось, не читавших, он мог лишь в том случае, если ему удастся преподнести свою аргументацию в занятой, забавной форме. Это родило парадокс: неприемлемый противник романов написал пародийный роман в популярном для того времени жанре фантастических путешествий (*voyages merveilleux*).

Королева Фан-Фередина, мать героя, повествующего о своих странствиях и приключениях, не жаловала романы, но как-то ей случилось прочитать в одном солидном сочинении, что «для воспитания ума и сердца молодых особ нет ничего более приличествующего, чем подобное чтение»,³⁰ и она засадила за них сына, чтобы с раннего возраста привить ему «любовь к добродетели и чести, отвращение к пороку, владение страстями, уважение к истине, величию, всему серьезному и достойному почитания».³¹ Воспитание принесло свои плоды. Исполненный самых благородных чувств и мыслей, принц испытывает отвращение к людям, среди которых ему приходится жить. Оставив их коснеть в низких и грубых правах, он отправляется на поиски «чуждой земли Романов, где живут одни герои».³² После долгих скитаний он попадает в прекрасную долину, которая и оказывается обетованной землей Романией. Принц рассказывает о ландшафте страны, ее флоре и фауне, жителях, их внешности, обычаях, пище, занятиях, правах, государственных законах, торговле и ремеслах — и каждая деталь пародирует что-нибудь абсурдное и неестественное. А таковыми автор памфлета признавал в романах все.

Бужан отвергал и «Астрею», и пухлые галантно-героические творения Гомбервиля, Ла Кальпренеда, Скюдери, Демаре, и новейшие романы Прево или Кребийона-сына, и повести «Тысячи и одной ночи», и «Дон-Кихота», и волшебные сказки, и «Путешествия Гулливера». Для него не имело ни нравственной, ни эстетической ценности как происходившее на его глазах приближение жанра к современной действительности и вызванное этим изменение тематики и объектов изображения, так и художественное новаторство, преодолевавшее все те абсурды, в которые он метал свои сатирические стрелы. История жанра воспринималась им лишь как постепенная деградация главных персонажей, в процессе которой особы королевской крови и прославленные герои уступили место авантюристам, бродягам и вообще людям заурядным (*de mediocre vertu*). В этом единственно виделось ему отличие, например, «Жиль Блаза», которого он также задевает в памфлете, от, скажем, «Астреи», «Клеопатры» или «Фарамонда».

³⁰ Бужан с иронией цитирует кн.: *Lenglet-Dufrenoy N. De l'usage des romans, avec une bibliothèque des romans*. Т. 1—2. Paris, 1734.

³¹ *Voyageant G.-H. Voyage merveilleux...*, p. 3.

³² *Ibid.*, p. 5.

Итак, в выборе иностранных сочинений для перевода Приклонский проявил себя эклектиком. Предлагая к изданию, с одной стороны, «Мурата и Туркию» и «Рублевик», а с другой — пародию, полностью отказывавшуюся жанру, к которому они относились, в какой-либо ценности, он вел себя непоследовательно, и это можно, по-видимому, оценивать как свидетельство неустойчивого его отношения к роману в целом. Подобная же двойственность сквозит, например, в письме от 15 сентября 1777 г., poslanном Булгакову по случаю получения первого тома «Влюбленного Роланда»: «Украшения первого листочка прямо соответствуют содержанию сей книги и изобретены хорошо, да и самая книга смешна и, когда вам городским умницам нравится, то осмелимся ли мы, люди простые, ее опорочивать, да и возможем ли, когда нам и Бова королевич, и Аннупка Новгородская безмерно любезны?» (122, 27, 13 об.). Не оставляют сомнения искренность похвалы и подлинный интерес Приклонского к поэме Боярдо; но совершенно очевидна также ирония по адресу всех, включая себя самого, кому «любезны» не только подобные печатные «басни», но даже рукописные повести. Характерно, что в то же время по совету Булгакова Приклонский трудился над переводом романа французского писателя Луи Шарпантье «Нормандский сирота». ³³ Вместе с тем причину вялой продажи «Роланда» он видел в том, что читатели постепенно вообще охладевали к романам. ³⁴ Именно эта подмеченная им тенденция и подала, вероятно, ему надежду на то, что памфлет Бужана сможет найти в России свою аудиторию. Однако Булгаков или книгоиздатели, видимо, рассудили иначе. В конце 1770-х годов огульные осуждения романов, с которым двумя-полтора десятилетиями ранее согласились бы многие и в том числе такие авторитеты, как Сумароков и Херасков, должно было восприниматься как анахронизм. Этим, возможно, и была предопределена судьба перевода.

Не заинтересовал Булгакова или книгоиздателей и «список

³³ Об этом сообщалось в письме Я. И. Булгакову от 17 мая 1778 г. (123, 1, 1 об.). Работа прекратилась на девятой главе в связи с тем, что Приклонский обратился к переводу «Всемирного путешественника» (8 нояб. 1778; 123, 1, 21—21 об.). Оригинал: [*Charpentier L.*]. *L'Orphelin normand, ou Les petites causes et les grands effets*. Pt. 1—4. Paris, 1768—1769.

³⁴ «Не удивляйся, что мало охотников на „Роланда“. — писал он 2 ноября 1777 г., — ныне умножилось знающих французский язык, которые и читают в оригиналах книги, не покупая переводов. Впрочем, романы навскучили, нравоучение опостытело, деньгам расход во все концы. А от того типографиям и убыток» (122, 27, 19). «„Роланд“ твой многим не нравится, все называют его сказкой и неохотно читают богатырские подвиги» (12 февр. 1778; 122, 28, 9). Булгаков задумывал перевод «Неистового Роланда», Приклонский его от этого отговаривал по крайней мере до той поры, пока не станет ясной картина продажи «Путешественника» (20 сент. 1778; 123, 1, 17—17 об.). Из 800 присланных Приклонскому экземпляров каждого тома «Влюбленного Роланда» к 5 июня 1780 г. разошлось первого тома — 53 экз., второго — 57, третьего — 47 (5 июня 1780; 123, 3, 1).

живописцам», переведенный Приклонским для «картинного охотника». Остался неизданным, а может быть даже неосуществленным, перевод «Dictionnaire d'avocat».³⁵ Приклонского остановило конечно, сообщение Булгакова о том, что эта книга была уже полностью переведена на русский язык. Неясно, однако, что имел в виду Булгаков, поскольку в XVIII в. переводных юридических словарей в России не выходило.

Между тем Булгаков принимается за перевод «Всемирного путешественника», и дело у него подвигается необычайно споро. 12 февраля 1778 г. Приклонский поздравляет его с началом предприятия (122, 28, 9 об.), а 23 августа с окончанием пятого тома (123, 1, 13 об.). Несмотря на все свои издательские разочарования, он все же решает принять участие в этом труде и 17 мая просит прислать ему какой-нибудь том (123, 1, 1 об.). Через месяц, 21 июня, он сообщает: «„Всемирного путешественника“ восьмой том, — *В. Р.*» я получил, переводить начал и уже первое письмо о Лапонии кончил. Перевод его не труден и весел, и я весьма тебе благодарен за причиненное мне приятное упражнение» (123, 1, 7). Таким же оптимизмом дышит и письмо от 2 августа. Приклонский уже задумывается о том, чтобы попросить еще том, но, занятый хозяйственными делами, воспитанием детей, общением с соседями, не решается принять на себя обязательство переводить, как его, очевидно, просил Булгаков, по три тома в год. Осторожность его усугубляется ожиданием того, что в следующем 1779 г. его могут выбрать судьей (123, 1, 11 об.). К 23 августа переведено уже более половины тома (123, 1, 13 об.), а к 20 сентября работа над ним закончена (123, 1, 17 об.). Отослан он был Булгакову, однако, лишь 9 января следующего года (25 янв. 1779; 123, 2, 3 об.), а в промежутке с него была снята копия (5 дек. 1778; 123, 1, 23 об.). Вышел том в 1780 г.

Через месяц после завершения восьмого тома Приклонский получает от Булгакова девятый и собирается уже на следующий день приступить к работе (123, 1, 20). Что-то его отвлекает, а тем временем приходит новая посылка, в которой наряду с «Нормандским сиротою» и возвращаемой рукописью «Рублевика» находятся еще два тома «Путешественника» — Булгаков явно спешит подогреть энтузиазм друга.

Издание пользуется большим успехом, особенно на фоне холодного приема, оказанного «Роланду». Приклонский охотно принимает на себя хлопоты по распространению «Путешественника» и будет ими заниматься долгое время. «Первого тома распродано около 10 экз., но на подписку о 2 томе охотников нет. Однако сие происходит не от нежелания покупать, но от непривычки подписываться» (18 окт. 1778; 123, 1, 20). «Я скажу вернейшее то, что не бывало у нас книги, которая бы с такою отличностью читалась и покупалась» (25 апр. 1779; 123, 2, 7).

³⁵ Оригиналы этих переводов установить не удалось.

Неблагоприятное мнение Приклонского о деловых качествах Новикова сыграло свою роль в том, что Булгаков отказался продолжать издавать «Путешественателя» в его типографии.³⁶

Между тем в жизни Приклонского готовились большие перемены, круто изменившие род его занятий и положившие конец его увлеченной работе над девятым томом «Путешественателя».

Осенью 1779 г. успешно завершаются долгие хлопоты в Департаменте герольдии о дворянском дипломе и гербе Приклонского. Посылая ему эту радостную весть, Булгаков предлагает ходатайствовать о возвращении его на государственную службу, но он отказывается. Среди различных приведенных им причин немаловажную роль в его решении играет следующая: «... поправить свое состояние, как говорят, а правильнее воровать, я не хочу, не умею и боюсь» (18 окт. 1778; 123, 1, 19 об.). Однако «увернуться» от службы Приклонскому, к его сожалению, не удается; его избирают на три года секретарем дворянства, а затем он принимает предложенную ему должность директора дворянского училища, которое предполагается открыть в Твери (25 янв. 1779; 123, 2, 3—3 об.). В марте 1779 г. он уже в Москве, «закупая нужное для училища и приискивая учителей». Дел много, но расставаться со «Всемирным путешественателем» не хочется. «Я рад, — пишет Приклонский 27 марта, — что перевод мой в целости до тебя доведен, а тем более, что и понравился. Желание твое об окончании сей книги есть самое похвальное. Она столь хороша, что всяк, кто ее ни читает, хвалит до небес. А сие одно великим побуждением к продолжению трудов, коими паче мне, которой лишен будучи способа видеть другие государства, в одном чтении исполнение своего охоты не находит. Я никак от сего не отстану, не могу уверить о скорости, ибо по новой моей должности много предстоит мне работы. Но зато не сыщу ли в Твери охотника, который бы помог хотя один том перевести. Девятого переведено у меня больше половины, сколь скоро кончу, то и перешлю <...>» (123, 2, 6). В мае или июне — новая поездка в Москву за «делами училища» (25 апр. 1779; 123, 2, 7 об.), затем переезд в Тверь, где множество забот не оставляет совершенно времени на литературные занятия. «Поздравляю тебя, любезной друг, с окончанием 10-го тома. Мне прискорбно, что я отстану, но перевести и подумать некогда, — излишает Приклонский свою грусть в письме от 8 ноября. — О выходе 4-го тома я уже здесь возвестить успел. Все ожидают его с нетерпеливостью» (123, 2, 11). Через две недели: «Я радуюсь успехам перевода „Путешественателя“. Когда бы она так скоро напечаталась, то сделали бы Вы самое главное дело. Мне жаль, что я мало в том участвовал, но теперь мне и подумать некогда. Не знаю, обратятся ли мои

³⁶ Письма от 5 янв., 25 янв., 27 марта, 25 апр., 8 нояб., 13 дек. 1779 г. (123, 2, л. 2, 3 об., 5 об.—6, 7, 11 об., 17). Приклонский часто упоминается в письмах Новикова к Я. И. Булгакову. См.: Русский архив, 1864, № 7—8, с. 737, 740—741, 747.

труды мне в пользу, но я работаю, как осел, и ни одного праздного часа не имею».³⁷

Училище, открытое 28 июня 1779 г., должно, очевидно, было по замыслу его учредителей сообщить толчок культурной жизни в Твери и стать ее организующим центром. «Нонешний месяц, — извещал Приклонский Булгакова 8 ноября, — откроется у нас театр при училище и будет продолжаться по средам каждую неделю, да сверх того 2 маскарада ... Вчерась получили мы из Сената указ о заведении при училище типографии, на обыкновенных правах, но не зависящей ни от кого, т. е. ни от Университета, ни от Академии. Сказывают, что наместник берет в содержатели оныя Шнора. Правда ли то? Впрочем, я тому рад; и мы можем воспользоваться ею, а особливо потому, что оная будет под директором училища» (123, 2, 11 об.—12). Выпускать предполагалось календари, русские книги, а также журнал «Тверской вестник».³⁸ Однако, разрешая открыть типографию, Сенат отказал Шнору в просимой им ссуде (1500 руб. на 5 лет без процентов), и поэтому надежды Приклонского на то, что у него появится «способ перепечатать все свои переводы скорее, нежели в других местах» (22 нояб. 1779; 123, 2, 13 об.), не сбылись. Театр же начал функционировать: «Вчерась <21 ноября 1779> открылся у нас в училище театр, и я получил себе публичную благодарность как от начальника, так и от всея публики, коея было (разумея все благородных) 130 персон. Дети мои, без хвастовства сказать, играли очень хорошо, и что удивительнее, что все актеры мои такие, которые от роду ни театра не видывали, ни комедии не читывали. Между актерами был сын губернаторский и Лисанька...»³⁹

Первыми шагами Приклонского на ниве просвещения были в губернии довольны, но трудности, неприятности и разочарования быстро обступают его со всех сторон. Не хватает учителей (3 дек. 1779; 123, 2, 15). Жалованьем прожить не удастся (25 окт. 1779; 123, 2, 9). Обещанный чин задерживается. Пожертвования, на которые было построено и должно было содержаться училище, приходят к концу, а правительство не спешит на помощь.

³⁷ 21 нояб. 1779; 123, 2, 13. Девятый том вышел в 1781 г. В сохранившихся письмах не имеется сведений о том, закончил ли Приклонский свой перевод и, если нет, то вошла ли выполненная им часть в печатное издание.

³⁸ Указ от 3 октября 1779 г. «О дозволении иностранцу Шнору завести в Твери вольную типографию». — Полное собрание законов Российской империи с 1649 г., т. 20. 1775—1780. СПб., 1830, с. 872—873 (№ 14927).

³⁹ 123, 2, 13—13 об. Лисанька — дочь Приклонского. До настоящего времени не было известно ни об одном реально состоявшемся спектакле в Твери в 1770—1780-е годы, а исследователи говорили лишь о возможных тверских театрах того времени (см.: Десницкий А. В. Крылов — автор «Кофейницы» и театральная жизнь в Твери 70-х и 80-х годов XVIII века. — Учен. зап. Лен. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1955, т. 120, с. 135—150).

Первый год своего пребывания директором Приклонский завершает с чувством горечи. Мысли его «неспокойны и скучны», он приходит к убеждению, что «нет ничего в службе верного» и что для него не уготовано «впереди ни видов, ни почестей, ни награждений» (123, 3, 3 об.). Он подумывает о перемене места с тем, чтобы в дальнейшем служить «на твердейшем, нежели теперь, основании и лучших видах».⁴⁰ Не исключается и возвращение в Щопотово.

Приклонский ушел из училища в 1781 г., в адрес-календаре на 1782 г. он уже значится прокурором верхнего земского суда Тверского наместничества.⁴¹ В этой должности он пробыл недолго. Адрес-календарь на 1783 г. показывает его советником правления наместничества;⁴² назначение, следовательно, состоялось еще в 1782 г.

Директорские заботы оказались несовместимыми с литературными занятиями. «В двугодичное в Твери пребывание не имел времени и книг читать», — жаловался Приклонский другу 6 ноября 1780 г. (123, 3, 4). На месте советника загруженность также была большой: делопроизводство досталось в крайне запущенном состоянии, а дел проходило в год до двенадцати тысяч. Но вскоре о литературных способностях Приклонского вспомнили. «Я теперь в новых трудах упражняюсь, сочиняя историческое и топографическое описание всех городов Тверской губернии, для поднесения при Тверской карте государыне», — сообщает он тестю 20 октября 1782 г.⁴³

Речь идет, несомненно, об известном «Генеральном соображении по Тверской губернии» — капитальном справочнике по географии, экономике и этнографии Тверского края во второй половине XVIII в. Издавая его в 1873 г. по сохранившейся рукописи, Тверская губернская земская управа отмечала, что «неизвестный автор ... обнаруживает ... просвещенный ум, многие практические познания и замечательную наблюдательность».⁴⁴ Основное достоинство этого выдающегося для своего времени обстоятельного труда составляют обилие и точность фактического материала. О каждом из тринадцати городов наместничества дается краткая географическая, топографическая и историческая справка, описание герба;⁴⁵ перечисляются государственные уч-

⁴⁰ 123, 3, 4. Тем же настроением проникнуто письмо от 20 ноября 1780 г. (123, 3, 5).

⁴¹ Месяцеслов с росписью чиновных особ... на лето... 1782, с. 162.

⁴² Месяцеслов с росписью чиновных особ... на лето... 1783, с. 176.

⁴³ И. М. Булгакову; 123, 8, 13. Ср. письмо ему же от 31 окт. того же года (123, 8, 17).

⁴⁴ Генеральное соображение по Тверской губернии, извлеченное из подробного топографического и камерального по городам и уездам описания 1783—1784 гг. Тверь, 1873, с. 1.

⁴⁵ Приклонский использовал сочинение Д. И. Карманова «Исторические известия о принадлежащих к Тверскому наместничеству городах», написанное в 1778 г. по распоряжению наместника Т. И. Тутолмина.

реждения, учебные заведения, церкви, склады, лавки, промышленные предприятия, больницы и богадельни; указывается число жителей, их разделение по сословиям, размеры их доходов. насыщены разнообразным справочным материалом и разделы, относящиеся к отдельным уездам: описываются климатические условия и сообщаются важнейшие фенологические данные; много внимания уделяется характеристике пахотных земель, лугов и сенокосов, лесов, флоры и фауны, рек и озер; перечисляются выращиваемые культуры, называются сроки посева и сбора урожая, средняя его величина, способ обработки почвы; рассказывается об охоте и промыслах. Очень подробны этнографические и демографические сведения: национальность жителей уезда, язык, рост, цвет волос, черты лица, вероисповедание, питание, одежда, жилище, размеры и состав хозяйства, обычные болезни и способ лечения и пр. Весь материал тщательно систематизирован и подан единообразно, в конце приложено несколько статистических таблиц. Эта энциклопедия Тверского края была, безусловно, главным трудом, созданным Приклонским.

Привыкнув к новой должности и закончив «Генеральное соображение», Приклонский, кажется, снова обращается к переводам. «Теперь начало сделано, — пишет он тестю 8 апреля 1784 г., — посмотрим, опробует ли сей перевод Яков Иванович, а если оной будет безубыточен, то станем продолжать и впредь» (И. М. Булгакову, 123, 9, 1).

В адрес-календаре на 1785 г. Приклонский числится в Твери,⁴⁶ но его письмо Я. И. Булгакову от 1 июня отправлено из Новгорода. Он уже хорошо обжился на новом месте, замечает одновременно генерал-губернатора и губернатора, обласкан проследовавшей через город 25 мая Екатериной II и гр. Безбородко, тверской и новгородский генерал-губернатор Н. П. Архаров им доволен. «Начало хорошо, дай бог, чтобы продолжение таково же было» (123, 3, 23—24).

К концу жизни Приклонский стал преуспевающим чиновником. В Новгородской казенной палате он занимал должность поручика правителя, а в 1788 г. был назначен еще и директором Главного народного училища Новгородской губернии.⁴⁷ Умер он 26 октября 1789 г. в чине статского советника.⁴⁸

См.: Карманов Д. И. Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского края. Подг. к изд. В. Колосов. Тверь, 1893, с. 129—154.

⁴⁶ Месяцеслов с росписью чиновных особ... на лето... 1785, с. 156—157.

⁴⁷ Месяцеслов с росписью чиновных особ... на лето... 1786, с. 129; 1787, с. 138; 1788, с. 128; 1789, с. 121, 123; Русская старина, 1890, № 3, с. 787.

⁴⁸ Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга, т. 2, с. 132; Чернявский М. Генеалогия господ дворян..., л. 155 (№ 960).

И. Ф. МАРТЫНОВ

**ЗАБЫТЫЙ ТИПОГРАФ XVIII СТОЛЕТИЯ
ИВАН НИКИТИЧ ТРЕДИАКОВСКИЙ**

В истории отечественной культуры XVIII в. встречается еще немало несправедливо забытых имен. Посвятив свое фундаментальное исследование судьбам русской демократической интеллигенции послепетровской эпохи, М. М. Штранге¹ совершенно обошел вниманием значительную социальную группу, с такой энергией проявившую себя позднее в движении 1850—1860-х годов. Это были выходцы из среды бедного духовенства, в первую очередь питомцы Киево-Могилянской и Славяно-греко-латинской академий, которые уже с середины XVIII в. активно трудились на самых различных поприщах, немало способствуя просвещению своих соотечественников. О деятельности одного из них, Ивана Никитича Тредиаковского, нам бы хотелось рассказать здесь подробнее.

Первое известие об этом энергичном, предприимчивом человеке сохранилось среди старых бумаг синодального ведомства. «1773 года марта 8 дня Московской типографии в должности корректора Иван Никитин сын Тредьяковской скаскою объявил, — гласит обнаруженный нами документ, — что он родом Тульского уезда села Скоморошек, церкви Покрова Богородицы дьячка Никиты Семенова сын. И, прежде обучавшись с 1759 года в Коломенской семинарии и в Московской академии, был потом учителем в оной Коломенской семинарии грамматики и инфимы. Наконец, по прошению его, переведен исключительно из оной Коломенской епархиальной семинарии указом Святейшего синода в Московскую академию в 1768 году и по окончанию учения богословского определен в типографию указом Святейшего синода конторы 1772 года августа 2 дня. От роду ему 26 лет, жена у него Настасья, бывшего при строении дворца магазин-вахтора

¹ Штранге М. М. Демократическая интеллигенция в России в XVIII веке. М., 1965.

Ивана Алексеева Гальцова дочь. Жительство имеет на Пречистинке, в приходе у Воскресения Нового, у купца второй гильдии Лариона Кузьмина».²

Как видно из ведомости о студентах, обучавшихся в Славяно-греко-латинской академии в 1770 г., Иван Тредиаковский «остроту понятия доказал похвальным успехом», однако спустя несколько месяцев он «богословское учение окончил и отбыл самовольно, не получивши никакого увольнения».³ После ухода из Академии студент-недоучка с 12 февраля 1771 г. по 8 июля 1772 г. обучал «закону и прочим наукам» детей князя Н. А. Оболенского, а затем 25 июля 1772 г. подал прошение о зачислении в Московскую синодальную типографию, напомнив начальству о том, что у него «не токмо есть и пить» нечего, «но ниже где жить» нет места. 4 августа 1772 г. его привяли на должность справщика с жалованием 75 руб. в год.⁴ Вскоре Тредиаковский был замечен начальством, и ему поручили исполнять корректорские обязанности,⁵ а в начале 1774 г., по-видимому не без чьей-то влиятельной протекции, вызвали в Петербург для возобновления деятельности местной синодальной типографии, бездействовавшей с января 1767 г.⁶

Новый комиссар (заведующий полиграфическим производством) и несколько рабочих прибыли в столицу, осмотрели хранившиеся в синодальном архиве два стана для печатания церковных и гражданских книг и обнаружили, что они совершенно не пригодны к работе.⁷ Тредиаковский энергично принялся создавать типографию заново, представил несколько проектов и заявок на оборудование, заказал гражданские шрифты, которые были скопированы с академических и отливались в Московской синодальной типографии.⁸ Вскоре детище Тредиаковского проявило первые признаки жизни, была выпущена книга «Алфавит духовный», а усердный справщик награжден прибавкой к жалованию.⁹

² ЦГАДА, ф. 1184, оп. 2, д. 643, л. 50.

³ Там же, ф. 1183, оп. 1772 г., д. 558, л. 4, 7.

⁴ Там же, л. 2, 8, 11. Князь Н. А. Оболенский в аттестате, выданном Тредиаковскому, засвидетельствовал, что он «своими честными и добрыми качествами по справедливости заслужил себе место между нелицемерно честными» (л. 2).

⁵ Там же, ф. 1184, оп. 2, д. 643, л. 50.

⁶ Гаврилов А. В. Очерк истории Санкт-Петербургской синодальной типографии. СПб., 1911, вып. 1. 1711—1839, с. 215; ЦГИА, ф. 796, оп. 59, д. 476, л. 1—5.

⁷ ЦГАДА, ф. 1183, оп. 1774 г., д. 131, л. 49.

⁸ Гаврилов А. В. Очерк..., с. 223—224, 227—231. Более подробные сведения о работе Петербургской синодальной типографии в это время см.: ЦГАДА, ф. 1184, оп. 1, д. 8299—8434.

⁹ В сентябре 1774 г. Тредиаковский представил прошение о переименовании его корректором, и, поскольку был усмотрен Синодом «в должности своей прилежным и исправным», то с мая 1774 г. ему дали эту должность и положили жалование 200 руб. в год (ЦГАДА, ф. 1183, оп. 1774 г., д. 131, л. 49). 13 февраля 1778 г., по представлению Синода,

После первых напряженных месяцев книгоиздательская деятельность здесь надолго замерла в связи с отъездом Синода в Москву,¹⁰ и Тредиаковский в поисках дополнительного заработка занялся «приватными» переводами. Отличное знание латинского языка и профессиональное чутье литератора обеспечили синодальному корректору поддержку содержателя типографии Артиллерийского и инженерного шляхетного кадетского корпуса Христиана-Фридриха Клеэна, охотно печатавшего своим «иждивением» его переводы. Издание сборника анекдотов о великих мужах прошлого и неверных женах под названием «Рассказчик забавных и увеселительных повестей» (СПб., 1777) принесло, вероятно, неплохие барыши типографу Клеэну и переводчику Тредиаковскому.

Интереснее другой перевод Тредиаковского, также напечатанный за счет Клеэна, — два «рассуждения» К. Линнея «О употреблении кофеа» и «О человекообразных» (СПб., 1777). Книга эта вышла в свет явно позднее 1777 г., обозначенного на ее титульном листе, поскольку рецензия на нее как на последнюю новинку появилась в «Санктпетербургском вестнике», издаваемом Г. Л. Брайко, только в феврале 1779 г. В этой рецензии редактор одного из лучших столичных журналов того времени горячо одобрил саму идею познакомить русских читателей с сочинениями великого шведского естествоиспытателя, однако резко критически отозвался о профессиональном мастерстве переводчика, обвинив его в буквализме.

По невыясненным обстоятельствам 25 февраля 1779 г. Тредиаковский был уволен в отставку, а в апреле Синод назначил на его место младшего корректора Михаила Кудрявцева.¹¹ Бывший комиссар Петербургской синодальной типографии вернулся в Московскую синодальную типографию снова на корректорскую должность, правда, с гораздо большим окладом.¹² Возвращение Тредиаковского из Петербурга совпало с началом славного московского десятилетия издательской деятельности Н. И. Новикова, с первыми преобразованиями в Университетской типографии и организацией Дружеского ученого общества. Вместе с некоторыми другими служащими Московской синодальной типографии Тредиаковский стал активным сотрудником великого русского просветителя. Уже в декабре 1780 г. он просил местную синодальную контору разрешить ему напечатать на свой «кошт» новый перевод книги «Диоптра или Зерцало мирозрительное»: «В свободное время, остающееся от должности моей, а особливо ночное и праз-

он получил чин губернского секретаря (там же, ф. 286, оп. 1, д. 620, л. 269).

¹⁰ Гаврилов А. В. Очерк..., с. 222.

¹¹ Санктпетербургский вестник, 1779, февр., с. 137—142.

¹² Гаврилов А. В. Очерк..., с. 267; ЦГАДА, ф. 1184, оп. 2, д. 661, л. 54. Тредиаковский был отпущен в Петербург с паспортом от 22 июня 1779 г.

дничное, переведена, мною именованным, с латинского языка на русский книга под названием Дионтра или Зерцало мирозрительное, представляющее суету сего света, которая, хотя и была прежде переведена выбором на славянский язык и напечатана церковною печатью в обители Кутейнской в 1651 году, однако как перевод оной столь темен и в рассуждении славянских речений, вышедших из употребления, столь невразумителен, что всякому человеку, привыкшему к чистоте славяно-русского диалекта, в чтении наводит отвращение. К тому ж в каждой главе по трети, по полуглаве и более пропущено; и, в-третьих, что авторские мысли во многих местах не в той силе изображены, как должно, и, наконец, в некоторых местах только что надписи глав порядочно поставлены, главы же, кои под оными надписями в латинском оригинале состоят, совсем не переведены, а вместо того из разных глав мелкие пункты собраны и положены вместо оных. И для того, дабы оная книга на нашем русском диалекте читателями с пользой употребляема быть могла и с выражением всего ее содержания, нужда была перевести всю оную вновь яснейшим и употребительнейшим наречием, которую при сем на благорассмотрение и представляю. Того ради Святейшего правительствующего синода контору всепокорно прошу помянутую книгу, по благорассмотрении, дозволить мне, именованному, для пользы общества выпечатать в типографии Московского имп. университета собственным моим коштом и сей посильный труд не оставить бездействительным, а тем самым поощрить меня, именованного, к переводению и других духовных книг».¹³ В предисловии к печатному изданию Тредиаковский повторил часть этих доводов.¹⁴ Однако расхождение между челобитной и предисловием — положительная оценка в нем деятельности переводчиков XVII в. для «блага общественного» — позволяет предполагать здесь следы редакторской работы Новикова и его бесед с переводчиком. Стремление Тредиаковского отстоять перед обществом свое право на творческое, критическое отношение к текстам, популярным еще в рукописной славяно-русской традиции, весьма симптоматично для русской культуры послепетровской эпохи.

Первый опыт «исправления» церковнославянских книг прошел для корректора Синодальной типографии вполне удачно, и вскоре он предпринял новое издание — «Беседы на Шестоднев» Василия Великого (М., 1782).¹⁵ Синодальная контора разрешила напечатать и этот перевод, однако книга вышла в свет без указания имени переводчика. Последующие свои труды Тредиаковский

¹³ ЦГАДА, ф. 1183, оп. 1781 г., д. 9, л. 1.

¹⁴ Дионтра или Зерцало мирозрительное. Вновь переведенное Московской типографией корректором г. с. Иваном Тредиаковским. М., 1781, ч. 1, [с. 7].

¹⁵ ЦГАДА, ф. 1183, оп. 1782 г., д. 73.

(анонимно) издавал уже «иждивением» новиковской Компании, не представляя их на цензуру в Синод.¹⁶

По-видимому, уже тогда, сразу же после обнаружения указа 1783 г., разрешавшего заведение «вольных» типографий, Тредиаковский начал подумывать всерьез о собственном деле. 25 февраля 1785 г. он получил отпуск на месяц с разрешением выехать в Петербург «для свидания с родственниками и для исправления собственных его надобностей»,¹⁷ но обратно уже не возвратился. Заручившись протекцией могущественного в то время генерал-майора и кавалера Петра Александровича Соймонова, зятя известного историка того времени И. Н. Болтина, Тредиаковский в конце мая 1785 г. перешел на службу в его канцелярию.¹⁸

Как и многие другие вельможи екатерининского двора, Соймонов совмещал обязанности статс-секретаря по принятию прошений на «высочайшее» имя с доходными должностями директора императорских театров, Кольвановских заводов и Горного училища. Целый отряд исполнительных чиновников обеспечивал их начальнику относительно беззаботное существование. Долгое время чуть ли не одним из самых хлопотных дел, находившихся в прямом ведении Соймонова, оставалось распределение между петербургскими и московскими типографиями заказов на печатание учебников для Горного училища, афиш, билетов и программ для придворных театров, а главное — изданий «Кабинета ее императорского величества», в том числе исторических сочинений и пьес самой Екатерины II. Поэтому появление в штате Кабинета опытного специалиста книжного дела было весьма своевременным.

Около года решался вопрос, при каком из подведомственных Соймонову учреждений и на каких основаниях организовать «подручную» типографию. У Кабинета и дирекции императорских театров не было собственной полиграфической базы, а два печатных стана и шрифты, пожертвованные в 1775 г. Горному училищу П. А. Демидовыми и коломенским купцом Я. К. Шульгиным, за десять лет вконец износились.¹⁹ Однако при Училище

¹⁶ Имеются в виду книга Полидора Вергилия Урбинского «О первых изобретателях всех вещей» (М., ч. 1—2. 1782) и «Божественные паставления» Лактанция (М., ч. 1—2. 1783). Цензором книги Лактанция был статс-секретарь Екатерины II Г. В. Козицкий.

¹⁷ ЦГИА, ф. 796, оп. 66, д. 201, л. 2.

¹⁸ Там же, л. 1, 6, 9.

¹⁹ Лоранский А. Исторический очерк Горного института. СПб., 1873, с. 22. 24. Типография печатала исключительно переводы книг по горному делу и сочинения преподавателей Училища. Все эти сочинения, за небольшим исключением, оставались на складе типографии. В 1782 г. из-за убыточности типография была упразднена, книги, необходимые для обучения, решено было печатать в «вольных» типографиях, а станы и типографское оборудование передать в Сенатскую типографию (ЦГАДА, ф. 271, оп. 1, кн. 1391, л. 378—382). Всего типография напечатала 17 книг, по большей части тиражом в 450 экз. Попытка передать это предприятие в аренду частному лицу, по-видимому, не удалась. Сохранился только проект контракта с неизвестным типографом (там же, л. 1).

еще сохранялись кадры опытных типографских рабочих. Это и решило судьбу будущего предприятия. Хлопоты и заботы, связанные с возобновлением работы казенной типографии, пугали Соймонова. Гораздо проще и выгоднее было по примеру Комиссии о народных училищах подрядить для выполнения своих заказов предприимчивого «вольного» типографа, оказав ему на первых порах помощь деньгами и специалистами. Долго искать такого человека не пришлось. 25 февраля 1786 г. И. Н. Третьяковский предложил Соймонову «принять в протекцию» Горного училища свою вновь заведенную типографию,²⁰ а через два дня дирекция Училища подписала с ним нижеследующий контракт из девяти пунктов:

«1) Горное училище, имея необходимую надобность в печатании всяких случающихся по классам на русском и французском языках пиес, книг и прочего и уклоняясь от заведения собственной типографии, немалого на то требующего капитала, принимает в свою протекцию заводимую губернским секретарем Иваном Третьяковским на собственный его кошт типографию и, желая оную иметь как бы в своей собственности, для споспешествования в заведении ее и в рассуждении будущих в пользу Училища с стороны оной выгод в нижеписанных статьях означенных одождает его впредь на шесть лет тремя тысячами рублей, без процентов, которые и должны им в срок возвращены быть безотговорочно; 2) Горное училище дает сей заводимой им, Третьяковским, право называться типографией Горного училища; 3) помянутая типография во всех ее делах в рассуждении производства книгопечатания и расчетов в приходах и расходах состоит на хозяйственном его, содержателя Третьяковского, распоряжении, и Горное училище в случае каких-либо ему, содержанию, от содержания ее убытков не принимает в свою часть ничего, равно и в рассуждении прибыли, ежели какой от содержания ее ему, содержанию, последует, в участие не входит; 4) обязуется он, содержатель, печатать для Горного училища всякие книги, нужные для оного, также методы и другие пиесы, ежели оные из целого листа или многих состоять будут, получая за каждый лист за набор в обыкновенный формат, а равно и за тиснение против Академии наук в полы, мелкие же пиесы, в поллиста, четверть и осмью долю, ежели оные изредка назначаемы будут, да и числом экземпляров не будут превосходить четверть завода, печатает он, содержатель, безденежно; 5) бумагу на списывание книг всех и всяких пиес, какие от Училища назначены будут, дает Училище собственную, а ежели употреблена будет по приказанию Училища бумага его, содержателя, тогда Училище платит за оную ту цену, по какой она содержателю в покупке обошлась; 6) для корректуры сих училищных книг и пиес, печатаемых в сей типографии, корректор назначается с учи-

²⁰ ЦГИА, ф. 468, оп. 32, д. 91, л. 1.

лицной стороны, который и должен не задерживать всякого листа корректуры более одного дня, в противном случае содержатель типографии имеет право требовать за простойные на том стану дни столько, сколько ему от того каждый день по расчислению последует убытка; 7) Горное училище для помещения сей типографии на несколько времени, покуда содержатель оной собственный свой купит дом, дает покой в новом флигеле в нижнем этаже; 8) Горное училище отдает в оную типографию знающих типографские дела людей, которые, по силе сего условия, нарочно для сей типографии от Святейшего правительствующего синода истребованы будут в полное его, содержателя, распоряжение, кто к чему способен окажется; на содержание которых с стороны Училища не требовать ему, содержателю, никакой суммы, а довольствоваться из своих типографских доходов, определяя каждому, кто какого жалованья будет достоин, в случае же неисправности и наказывая по соразмерности дела; 9) содержатель типографии обязывается содержать оную на сих кондициях десять лет с тем, однако, ежели с стороны Горного училища или печатанием непрерывным за малую плату книг, или чрез меру многих безденежно пиес, или другим каким способом обременен не будет, или, если не почувствует от содержания оной типографии убытка. В противном же случае волен он, содержатель, не додержав термина десятилетнего, оставя титул типографии Горного училища и возвратя взятых из Училища мастеровых людей в штат оного, нарушить сей контракт и остаться с своею типографиею под названием частной».²¹

Условия контракта были довольно выгодными для Тредиаковского. Он не смог продержаться только немногочисленными изданиями по горному делу, но через Соймонова, оставаясь его секретарем при Кабинете,²² получал преимущественное право на выполнение типографских заказов правительства. Такое привилегированное положение и личная заинтересованность Кабинета в улучшении деятельности типографии сделали ее одним из лучших в то время полиграфических предприятий России. Тредиаковский при помощи Соймонова нанял во Франции двух высококвалифицированных типографов Жана Тома и Лорапа Маона, которые создали выдающееся для того времени шрифтовое хозяйство.²³ Фронт работ с каждым годом расширялся, и содержатель типографии Горного училища пригласил в качестве помощника и

²¹ Там же, л. 2—3.

²² 3 апреля 1786 г. по представлению С. Ф. Стрекалова Тредиаковскому, «находящемуся при Соймонове», был дан чин коллежского асессора и право на потомственное дворянство (ЦГАДА, ф. 286, оп. 1, д. 733, л. 262—263).

²³ *Полонская И. М.* Издательская деятельность Ф. В. Каржавина. — В кн.: *Проблемы рукописной и печатной книги.* М., 1976, с. 163—166, 174—177; *Горфункель А. Х.* Книги «русского американца». — Ленинградский университет, 1980, 4 января, с. 11; ЦГАДА, ф. 1239, оп. 1, д. 37560, л. 1.

компаньона кабинетского переводчика Семена Семеновича Лехавого.²⁴

Дела Тредиаковского в первые годы шли настолько удачно, что он сумел даже досрочно, ко 2 декабря 1788 г., выплатить Училищу полученные в долг «на обзаведение» три тысячи рублей.²⁵ За семь лет работы типографии (1786—1793 гг.) с ее станов вышущено в свет около 70 названий книг на русском, французском и немецком языках. В дни русско-турецкой кампании 1787—1791 гг. сюда поступил из Кабинета е. и. в. необычный заказ. Подготавливая восстание балканских народов против иноземных поработителей, русское правительство поручило Тредиаковскому печатание воззваний и манифестов на греческом языке специально отлитыми для этой цели шрифтами.²⁶ Выпуск книг, составлявший вначале 6—7 томов ежегодно, достиг максимума (24—28 томов) в 1789—1792 гг. и практически упал до нуля в последние месяцы существования типографии. Большинство оригинальных и переводных сочинений печаталось «стандартным» для того времени тиражом в 1200 экземпляров; исключением из этого правила были либо наиболее популярные у читателей периодические издания («Продолжение трудов Вольного экономического общества» — 2400 экз.), либо «камерные» безделки сановных авторов (оперы Екатерины II — по 600 экз.). Стоимость печатания во многом зависела не только от тиража и объема книги, но и от ее полиграфического оформления: выбора шрифтов, книжных украшений, бумаги. Так, издание четырехтомного собрания сочинений Я. Б. Княжнина тиражом в 1500 экземпляров обошлось казне в 6371 руб. 49 коп., а 600 экземпляров исторического представления Екатерины II «Начальное управление Олега» — в 6940 руб. 99 коп.²⁷

В типографии Тредиаковского, формально состоявшей под «протекцией» Горного училища, были напечатаны только три книги по геологии и горному делу, причем одна из них — «Первые основания искусства горных и соляных производств» (9 ч., 1786—1791) начальника Старорусского солеваренного завода Ф. Л. Канкрин — по прямому распоряжению и на счет императ-

²⁴ Лехавый с 1765 г. был гимназистом, студентом, а затем переводчиком при Академии наук, в 1782 г. с чином регистратора поступил в Кабинет е. и. в. В 1785 г. произведен в коллежские асессоры (ЛЮ ААН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 549, л. 210; ЦГАДА, ф. 286, оп. 1, д. 808, л. 47, 55, 56; ЦГИА, ф. 468, оп. 32, д. 91, л. 4). 25 февраля 1794 г. он был принят на старую свою должность переводчика в Кабинет е. и. в. с жалованием 600 руб. в год (ЦГИА, ф. 468, оп. 1, д. 3909, л. 28).

²⁵ ЦГИА, ф. 468, оп. 32, д. 91, л. 5.

²⁶ 22 марта 1788 г. Екатерина II распорядилась выдать из государственной казны «как в возврат издержанных на набор, тиснение и бумагу, так и на раздел трудившимся при сем случае» 150 руб. (там же, д. 87, л. 1).

²⁷ Там же, д. 109, л. 41, 43; д. 93, л. 1—4; д. 105, л. 1—2.

рицы.²⁸ Не играли существенной роли в балансе типографии и многочисленные заказные издания: программы и афиши для дирекции императорских театров, два десятка переводных романов, стихотворные панегирики Екатерине II и географические атласы для народных училищ.

Около двух третей в перечне изданий типографии Тредиаковского составляли книги, изданные на счет Кабинета е. и. в. В первую очередь это были литературные труды самой императрицы: «Опера комическая Февей» (1789), «Сказка о Горе-богатыре Косометовиче» (1789), «Начальное управление Олега, подражание Шекспиру без сохранения феатральных обыкновенных правил» (1791) и его немецкий перевод (1792). Изысканность шрифтов и нотных знаков, изысканная простота виньеток и иллюстраций, гравированных по эскизам Н. А. Львова, четкая соотнесенность всех элементов «книжного строения», которую удалось найти Тредиаковскому и его сотрудникам для пьес императрицы, превратили их в великолепные образцы русского полиграфического искусства конца XVIII в.²⁹ По заказам Кабинета Тредиаковский выпустил в свет полтора десятка книг и брошюр членов Вольного экономического общества, посвященных вопросам агрономии, животноводства и мануфактурного производства, два журнала — «Еженедельные известия Вольного экономического общества» (№ 1—52, 1788—1789 гг.) и «Продолжение трудов Вольного экономического общества» (ч. 37—46, 1787—1789 гг.), а также сочинения некоторых литераторов, удостоенных высочайшего покровительства и признания. В типографии Горного училища были напечатаны «Изображение Фелицы» Г. Р. Державина, четырехтомное собрание сочинений Я. Б. Княжнина (1787) и переводы С. Е. Гурьева и Л. И. Голенищева-Кутузова. Императрица распорядилась выдать в награду за труды Державину, Гурьеву и Голенищеву-Кутузову весь тираж, а Княжнину 150 экземпляров собрания его сочинений, которые он продал в 1788 г. Академии наук за 375 руб.³⁰

Однако особенное внимание Кабинет е. и. в. уделял публикации исторических памятников и сочинений по русской истории. Екатерина II охотно предоставляла субсидии на их издание. Под ее покровительством существовал кружок ученых-историографов, который возглавлял граф А. И. Мусин-Пушкин. Полиграфической базой этого кружка стала типография Тредиаковского. Здесь были

²⁸ Там же, д. 92. Из тиража в 1200 экз. по 12 экз. каждой части сочинения Канкрин были бесплатно переданы Горному училищу и по 5 экз. — П. А. Соймонову «для рассылки по разным горным заводам» (там же, д. 109, л. 25—26).

²⁹ Весь тираж этих книг коронованная заказчица оставила за собой, распорядившись «не выпускать в публику» для продажи ни одного экземпляра (там же, л. 19 об.). Однако 94 экз. «Февей» и 216 экз. «Сказки» исчезли из типографии раньше, нежели императрица успела наложить запрет на их распространение (там же, л. 42 об., 43).

³⁰ СК, т. 2, с. 45.

напечатаны «Лексикон российский исторический, географический, политический и гражданский» В. Н. Татищева (1793), болтинские «Примечания на историю древняя и нынешняя Россия г. Леклерка» (1788)³¹ и «Ответ на письмо князя Щербатова, сочинителя Российской истории» (1789), «Собрание народных песен с их голосами» (ч. 1, 1790),³² подготовленное к изданию и анжированное Н. А. Львовым, и принадлежавший ему «Летописец руской от пришествия Рурика до кончины царя Иоанна Васильевича» (ч. 1—5, 1792).³³

Сам типограф не был только техническим исполнителем воли заказчика. Уважение к памятникам древнерусской культуры проявилось у Тредиаковского еще в предисловии к переводу «Диоптры». В 1781—1784 гг. он, по-видимому, участвовал в подготовке к изданию летописей из собрания Типографской библиотеки и «Сказания» Авраамия Палицына,³⁴ а по приезде в Петербург принял активное участие в широком национальном движении за создание русской историографии, в котором объединились представители самых различных направлений и политических симпатий от Миллера до Болтина и от Новикова до Екатерины II.

Тредиаковский комментировал вместе с А. И. Мусиным-Пушкиным второе издание «Книги Большому чертежу» (1792), написал к ней предисловие и составил топографический указатель.³⁵ Вслед за этим он предпринял попытку самостоятельного исторического исследования в книге «Разговор между двумя приятелями Полигистором и Правдолюбом».³⁶ Все доводы автора этого сочинения в пользу создания истории своего отечества и рассуждения о причинах, которые мешают такой работе, были проникнуты чувством подлинного демократизма. По его мнению, «благоразумному и ученому обществу» пресекали «путь к сему важному и полезному делу надменные знатоки, которые, не зная ни силы, ни писания», за все хватались, «и прежде, нежели из-

³¹ Тираж 1200 экз., стоимость печатания 5680 руб. 86 коп. (ЦГИА, ф. 468, оп. 32, д. 94, л. 1—3).

³² Тираж 900 экз., стоимость печатания 3267 руб. 99 коп. (там же, д. 99, л. 1).

³³ Тираж 650 экз., стоимость печатания 1960 руб. 98 коп. (там же, д. 83, л. 1, 7—10).

³⁴ В начале октября 1778 г. обер-прокурор Синода Акчурин представил реестр рукописным книгам, хранящимся в Синодальной и Типографской библиотеках, и 13 октября состоялось высочайшее определение об их публикации («под смотрением надежнейших людей» (ЦГАДА, ф. 10, оп. 1, д. 657, л. 69—72). Печатание осуществлялось с 1781 по 1784 г. в Московской синодальной типографии и, видимо, «под смотрением» И. Н. Тредиаковского, ибо его подпись отсутствует в это время в заключениях корректоров о печатающихся книгах (там же, ф. 1184, оп. 2, д. 799, л. 85).

³⁵ Евгений [Болховитинов]. Словарь русских светских писателей. М., 1845, т. 2, с. 97.

³⁶ Сочинение Тредиаковского так и не увидело свет и сохранилось в Отделе редких книг ГБЛ в единственном пробном оттиске с авторской правкой (СК, т. 3, с. 244).

дадут нелепое свое творение, все улицы, дома и книжные лавки» наполняли толками «о будущих пышных своих бреднях и заблуждениях, которыми, по их словам, битком набита будет их веле-лепная история». ³⁷ Хотя Тредиаковский и заканчивал свое сочинение присяжной похвалой императрице, по повелению которой «сделаны великие приуготовления, собраны бесчисленные древние летописи и всякие рукописи, могущие служить материалом к толь великому и полезному сочинению», однако его книга пла вразрез с господствующим направлением в русской историографии. В оценке так называемых «татищевских известий» Тредиаковский, сотрудник Болтина и Мусина-Пушкина, становился на сторону Щербатова, заявляя, что Татищев многие сведения в своей «Истории» «взял из архивы своей головы». Продолжение столь отважно начатых исторических штудий их автор ставил в зависимость от «беспристрастия публики». «Если просвещенная публика, — писал он, — сие первое одобрит творение, тогда ничего я не пощажу, ни времени, ни трудов». ³⁸

К сожалению, «просвещенной публике» так и не пришлось увидеть ни этого сочинения Тредиаковского, ни других его рассуждений о русской истории. Неожиданный крах ранее процветавшего предприятия заставил придворного типографа отказаться от теоретических экскурсов и обратиться к прозаическим заботам о хлебе насущном. 28 февраля 1792 г. последовал именной указ Екатерины II «впредь ни в каких типографиях как сочинений, так и переводов без особливого ее императорского величества повеления» на счет Кабинета не печатать. ³⁹ К тому времени Тредиаковскому была выплачена за печатание книг огромная сумма — 115 167 руб. 53 коп., однако оставался и довольно существенный долг — 15 464 руб. 75 коп. ⁴⁰ Главное же следствие указа — потеря дотаций Кабинета — лишило Тредиаковского основного источника существования. Опала П. А. Соймонова ⁴¹ довершила падение содержателя типографии Горного училища. «Не имея о себе ни рекомендателей, ни попечителей, — писал он статс-секретарю императрицы В. С. Попову 26 марта 1794 г., — а притом изнуряем будучи припадками, не мог доньше утруждать ваше превосходительство в моих крайностях... Я лишился места, жалованья и следовавшего мне по службе чина без худой с моей стороны заслуги. Дом мой, который мог бы в таком случае в пропитании меня учинить мне помощь, хотя и он по залогоу принадлежит лом-

³⁷ *Тредиаковский И. Н.* Разговор Полигистора с Правдолюбом..., с. 8—9.

³⁸ Там же, с. 129—131.

³⁹ ЦГАДА, ф. 468, оп. 32, д. 109, л. 1.

⁴⁰ Там же, л. 43.

⁴¹ 18 ноября 1793 г., вскоре после осуждения Новикова, Екатерина II уволила Соймонова «по прошению его... от присутствия в Кабинете» (ЦГАДА, ф. 1239, оп. 1, д. 3908, л. 247). Обстоятельства опалы Соймонова неизвестны, но довольно вероятно, что основная причина императорского гнева была в открывшихся фактах издания ональным Новиковым книг по заказам Кабинета.

барду, к вящему моему несчастию завален казенным гартом и книгами, Кабинету ее величества принадлежащими с 1787 года. Имущество мое, сколько его было, все издержано на напечатание помянутых книг, за которые, однако, терпя по нескольку лет, платы от Кабинета ее величества не получаю ни в число настоящей суммы, ни процентов, а сам, напротив того, будучи разным людям должен, принужден, приумножая проценты, увеличивать данные мною вексели и щеты и через то совершенно разоряться. А как уверен я, что в сих моих крайностях никто, кроме вашего превосходительства, помощи и облегчения учинить мне не в силах, того ради всепокорнейше прошу сделать мне милость, избавить меня от сей стремнины, угрожающей мне сокрушением». ⁴² Три года дело его оставалось «безгласным». ⁴³ За это время разорился и сошел с ума типограф Маон, ⁴⁴ возвратился в Кабинет на свою прежнюю переводческую должность Лехавый, а ТрEDIAKовскому пришлось продать типографию Синоду, ⁴⁵ расстаться с петербургским домом и поселиться в незадолго до того приобретенной ⁴⁶ деревушке под Нарвой. В декабре 1796 г. за несколько дней до смерти Екатерина II еще раз подтвердила свое решение не выкупать у ТрEDIAKовского напечатанных по заказам Кабинета книг. Павел I по восшествии на престол распорядился выплатить долг, однако все расчеты с ТрEDIAKовским завершились только к концу июня 1800 г. ⁴⁷

Книги, напечатанные И. Н. ТрEDIAKовским, долго еще пылились на полках кабинетского архива после того, как их издатель, отторгнутый от активной общественной деятельности, почил вечным сном на деревенском кладбище в Ямбургском уезде. ⁴⁸ Полторы тысячи книг, изданных им «со всевозможным типографским тщанием» (220 экз. «Начального управления Олега», 300 экз. «Сказки о Горе-богатыре Косометовиче», 201 экз. «Февея» и др.) хранились здесь до начала 60-х гг. XIX в. В ноябре 1861 г. Каби-

⁴² ЦГИА, ф. 468, оп. 32, д. 109, л. 32.

⁴³ Там же, л. 36.

⁴⁴ «Мой муж, — писала Агата Маон в челобитной Павлу I от 5 декабря 1796 г., — был приглашен из Парижа в типографию Горного училища... Однако вскоре после его приезда в Россию эта типография пришла в упадок из-за опалы генерала Соимонова. Контракт, заключенный с моим мужем, был нарушен противу всех человеческих правил: он остался без места и без средств к существованию... Горе сломило этого слабого здоровьем человека и его пришлось поместить в дом для умилившихся, где он находится и поныне...» (ЦГАДА, ф. 1239, оп. 1, д. 37560, л. 1. Подлинник на французском языке).

⁴⁵ 13 мая 1793 г. ТрEDIAKовский продал Синоду за 450 руб. три книгопечатных стана «дубового дерева» со всей к ним «принадлежностью» (ЦГИА, ф. 796, оп. 74, д. 218, л. 1—3).

⁴⁶ В октябре 1783 г. ТрEDIAKовский писал, что «людей и крестьян за собой не имеет» (ЦГАДА, ф. 1184, оп. 1, д. 11803, л. 12).

⁴⁷ ЦГИА, ф. 468, оп. 32, д. 109, л. 52, 58, 120.

⁴⁸ См. дело об установлении опеки над вдовой ТрEDIAKовского и его малолетней дочерью Еленой, начатое весной 1807 г. — Ленингр. гос. историч. архив, ф. 536, оп. 9, д. 3966, л. 1.

нет е. и. в. принял решение выдать по одному экземпляру каждого издания Публичной библиотеке и Московскому Румянцевскому музею, а остальные «продать с аукционного торга на вес». Среди 223 пудов «макулатуры», приобретенной крестьянином Углического уезда Ярославской губернии Андрианом Яковлевым по цене 1 руб. 25 коп. за пуд, были 148 экз. львовского «Собрания народных песен с их голосами» (1/6 часть тиража!) и много других полезных и превосходно напечатанных книг.⁴⁹

Печальный конец многолетней энергичной деятельности И. Н. Третьяковского типичен для судеб русских книгоиздателей века Просвещения — Новикова и Радищева, Рахманинова и Петра Богдановича, Овчинникова и Вицмана, — брошенных в застенки, опельмованных и разоренных до нитки. Трагедия содержателя типографии Горного училища — вполне характерный эпизод из истории той эпохи.

⁴⁹ ЦГИА, ф. 468, оп. 32, д. 43, л. 2—4, 37, 53 об., 73.

Н. П. ДРОБОВА

**БИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ XVIII в.
КАК ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ**

Биографические предания о русских писателях появились в первой половине XVIII в., и с этого времени активно участвовали в литературном процессе XVIII—нач. XIX в. Ими широко пользовались в литературной полемике, они служили одним из основных средств создания литературных репутаций¹ писателей XVIII в. в сознании современников и потомков, часто составляли основу писательских биографий.²

Публикации биографических преданий о писателях XVIII в. появлялись с подзаголовком «анекдоты». Этот термин в XVIII—нач. XIX в. применялся к произведениям разным по объему и характеру содержания. Одни из них воспринимаются сейчас как романы, другие — как повести (от 2 до 10 с.), существовали еще и разнообразные «краткие» формы (от 2 с. до нескольких строк). Не случайно В. В. Сиповский, предворяя библиографический перечень повестей и романов XVIII в., писал: «Труднее всего было отграничить повесть от анекдота, роман от эпопеи...»³ Издатели журналов и сборников создавали тематические подборки, выделяя «ученые», «театральные», «любопытные», «детские», «исторические» и др. анекдоты.

Ни объем, ни остроумная концовка не являлись дифференциальными признаками жанра. Самым устойчивым критерием стало прямое значение слова — «неизданное», «неизвестное».

¹ См.: [Без подписи]. И. С. Барков (Биографический очерк). — В кн.: *Сочинения и переводы И. С. Баркова*. СПб., 1879, с. I—V; *Дмитревский И. А.* Слово похвальное Александру Петровичу Сумарокову. СПб., 1807.

² См.: *Бангши-Каменский Д. Н.* Словарь достопамятных людей Русской земли. Ч. I—V. М., 1836; дополнения под тем же заглавием. Ч. I—III. СПб., 1847; *Капнист В. В.* Жизнь сочинителя. — В кн.: *Хемницер И. И.* Басни и сказки. СПб., 1799, с. I—VII.

³ *Сиповский В. В.* Из истории русского романа и повести. СПб., 1903, с. 11.

Такое положение во многом объяснялось двумя моментами. Во-первых, в России за короткий срок была усвоена многовековая европейская традиция. Во-вторых, система прозаических жанров русской литературы в XVIII—нач. XIX в. находилась еще в процессе формирования: для большинства жанров не были выработаны четкие критерии. Кроме того, представление об анекдоте как самостоятельном жанре появилось сравнительно поздно (в конце 20—нач. 30-х гг. XIX в.), когда эпоха его расцвета уже заканчивалась.

В сознании авторов справочных пособий того времени и курсов по теории литературы анекдот существовал как некий единый жанр, не разграничивались разные его типы; характеризовалась обычно одна из разновидностей.

Можно попытаться воссоздать представление интересующей нас эпохи о биографическом анекдоте, обратясь к ее свидетельствам.

Лицейский профессор Н. Ф. Кошанский в «Частной реторике»⁴ определяет анекдот как «что-то неизданное, оставленное Историею, забытое в Жизнеописаниях, но показывающее редкую черту характера, ума или сердца знаменитого человека. Содержанием анекдота бывают умные слова или необыкновенный поступок. Цель его: объяснить характер, показать черту какой-нибудь добродетели (иногда порока), сообщить любопытный случай, происшествие, новость... Достоинство их: в новости, в редкости, в важности...»

Попытка деления анекдотов по характеру их содержания предпринята А. Никитенко в статье для «Лексикона» А. А. Плюшара. Он отметил следующие разновидности жанра: «1) краткий рассказ какого-нибудь происшествия, замечательного по своей необычности, новости или неожиданности и пр.; 2) любопытная черта в характере или жизни известного лица; 3) случай, подавший повод к остроумному замечанию или изречению». Далее следует характеристика анекдота во втором понимании слова: «Анекдот важен в историческом отношении, если касается до какого-нибудь достопримечательного лица; он может служить к объяснению его характера, тайных движений его сердца и страстей. Историк однакож обращает на него внимание только тогда, когда оный находится в связи с другими обстоятельствами жизни изображаемого им лица. Впрочем, настоящее место анекдотов не в истории прагматической, а в записках (mémoires) и биографиях».⁵

Приведенные высказывания и эмпирические наблюдения позволяют заключить, что под русским биографическим анекдотом XVIII—нач. XIX в. понималась сначала устная, а затем и

⁴ Кошанский Н. Ф. Частная реторика. СПб., 1832, с. 65—66.

⁵ А. Н—ко. Анекдот. — В кн.: Плюшар А. А. Энциклопедический лексикон. СПб., 1835, т. 2, с. 203.

письменная фиксация каких-то поступков, высказываний и вообще событий жизни выдающихся людей (в частности, русских писателей XVIII в.).

Публикации анекдота, как правило, предшествовал период устного бытования. От длительности этого периода и от популярности предания во многом зависит степень фактической точности той или иной редакции. В письменной, как и в устной, культуре анекдот существовал обычно в нескольких вариантах (авторами их были разные лица).

Чтобы проследить отмеченную выше зависимость, попытаемся сравнить разные редакции одного анекдота. Вот известный анекдот о Е. И. Кострове, впервые опубликованный С. Глинкой: «Два офицера встречаются в трактире; один с видом отчаяния рассказывает другому, что он выронил 150 р., что у него нет теперь ни копейки, а завтра полк его выступает в поход. В комнате сидел еще незнакомец, который это слышал. Дождавшись выхода обоих офицеров, он догоняет их на улице: „Государь мой! — говорит одному из них, — вы потеряли 150 р.; я их нашел — вот они“. Потом, вложив в руку его ассигнации, уходит. Кто был этот незнакомец? — Е. И. Костров, известный лирический поэт и переводчик Илиады и Оссиана. Он вычел эту сумму из собственных 200 р., полученных накануне от Суворова-Рымникского в подарок за поднесенную эпистолу».⁶

Через год этот же рассказ появился в «Журнале российской словесности»,⁷ но здесь было сказано, что Костров получил не 200 р., а 150 и не за эпистолу, а за перевод Оссиана. У М. Макарова⁸ к этому прибавлено, что событие произошло в 1791 году. Д. Н. Бантыш-Каменский (см. примечание 2) использовал анекдот в биографии Е. И. Кострова в таком виде: «В 1787 году императрица пожаловала ему (Кострову) тысячу рублей новыми ассигнациями за перевод Илиады. Он тотчас отправился с этими деньгами в Царегородский трактир. Там, куря трубку, с стаканом в руке мечтал: „Завтра полечу в Питер. Это не Москва! Стоит только явиться прилично! Моя лира знакома императрице. Теперь я попаду на путь торный. Костров не профессор, не учитель; но что!.. Может быть, он будет?..“ Тогда сел подле него офицер, на лице которого яркими красками была начертана глубокая печаль. Костров предложил ему любимый свой напиток и, к удивлению, получил отказ; спрашивал, о чем он так сильно горюет. — „Оставьте меня, — отвечал офицер, — я несчастен!“ Но сердобольный Костров продолжал свои настояния, и офицер, выведенный из терпения его вопросами, отвечал с сердцем: „Что

⁶ С-й Г-а. [Сергей Глинка]. Русский анекдот. — Друг просвещения, 1804, ч. IV, с. 247.

⁷ [Без подписи]. Анекдот. — Журнал российской словесности, 1805, ч. II, с. 224.

⁸ Макаров М. Карин и Костров. Записки прежних лет. — Маяк, 1840, ч. III, с. 139.

о том говорить, чему нельзя пособить! Я бедный человек, а теперь самый несчастный: потерял казенных денег восемьсот рублей и должен променять шпагу на тесак!“ Услышав это, Костров сказал: „Я нашел ваши деньги и не хочу воспользоваться ими“. С этими словами положил он на стол восемьсот рублей перед удивленным офицером и тотчас ускользнул из трактира, но служители знали Кострова, и благодетельный подвиг его сохранился для потомства».

Наблюдение над приведенными вариантами показывает, что та или иная редакция сохраняет обычно лишь исходный момент сюжета.

Автор анекдота, веря в реальность этого исходного момента, стремится создать иллюзию достоверности и у читателя. Один из способов достижения этой цели — непосредственное указание источника: когда, от кого (обычно от близкого герою лица) слышал он то или иное предание. Например: «Княгиня Надежда Ивановна, племянница Хераскову по мужу своему и отменно им любимая, сообщила мне следующий анекдот...»⁹ и т. п.

Насколько установка на подлинность далека от фактической точности, можно судить по сделанному уже сопоставлению редакций анекдота.

Часто анекдот строится на комбинации биографического свидетельства и вымысла, и в этом случае иллюзия реальности возрастает. В качестве примера можно рассмотреть два анекдота А. Рихтера о Сумарокове: «В журнале „Сын Отечества“ (1818, № 49) напечатано из переписки барона Гримма письмо императрицы Екатерины к трагик Сумарокову, где она с тонкостью делает ему замечания насчет неблагопристойного поведения. Поэт поссорился с одною актрисой и не хотел, чтоб она играла в его трагедии; но главнокомандующий в Москве желал видеть пьесу, и актриса взопла на сцену. Сие так раздражило поэта, что он в гневе взбежал на сцену и прогнал за кулисы театральную царю. Опасаясь худых последствий, написал он к Екатерине сии стихи:

Екатерина, зри! проснись, Екатерина!
Одна от гроба зрит, другая зрит от трона!
От них и с небеси мне будет оборона.

Сие письмо, как справедливо замечает переводчик, есть грамота для архива российской словесности. Полагая, что читателям нашим приятно будет узнать о происшествии, которое было последствием сего случая, я намерен рассказать оное.

Сумароков, огорченный насмешками на его счет по случаю отзыва императрицы к фельдмаршалу Салтыкову, написал басню „Кукушка“, помещенную после в собрании его сочинений; между тем Державин, не будучи еще известен на поприще словесности,

⁹ Баргенов Ю. Н. Из записок. Рассказы о Хераскове. — Русский архив, 1879, № 9, с. 28.

поезжая через Москву, в Казань, услышал о сей басне и написал на Сумарокова небольшие стихи, которые заключал так:

Сорока что соврет,
То все слывет за бред.

Сии стихи распространились по городу с подписью Г. Д. и дошли, наконец, до Сумарокова, который, будучи сим раздражен, употребил все старание отыскать сочинителя. На домашнем театре князя Петра Михайловича Волконского игрывал молодой человек Гаврила Дружеруков, упражнявшийся в словесности. Для Сумарокова было сего и довольно. Он призывает его к себе. Молодой литератор, почитая за честь приглашение знаменитого поэта своего века, приходит к нему. Сумароков осыпает его ругательствами за сатиру и, не принимая никаких оправданий, отпускает так же, как и встретил. Молодой человек имел благородное сердце: он простил слабость поэту. Дружеруков вместе с некоторыми московскими вельможами участвовал в пожертвовании деньгами на погребение Сумарокова, приличное званию и славе сего автора, умершего в крайней бедности, и сочинил в честь ему стихи под названием „Разговор в царстве мертвых Сумарокова и Ломоносова“». ¹⁰

В первом случае реальным фактом биографии является то, что московский градоначальник назначил представление трагедии против воли Сумарокова и что последний написал два письма Екатерине по этому поводу. Эпизод же с актрисой, в том виде, как он рассказан, вымышлен, т. е. по письмам Сумарокова к императрице известно, что он в день представления не был в театре и что на сцену выбегал Салтыков. Во втором — реальна подробность биографии Державина: он действительно автор приведенной эпиграммы на Сумарокова, достоверно и то, что последний умер в бедности. Но можно сомневаться в том, имело ли место основное событие. Дружерукова звали Алексей (это известно по найденной, но значащейся в описи ¹¹ библиотеки гр. Д. Н. Шереметева книге «Песни Алексея Дружерукова» (М., 1777)), но никаких биографических свидетельств о нем обнаружить пока не удалось. Н. Е. Струйский называет Ф. Г. Карина автором «Разговора о царстве мертвых Ломоносова с Сумароковым» в сочинении «Апология к потомству от Николая Струйского или начертание о свойстве права Александра Петровича Сумарокова», а также в «Письме к Федору Григорьевичу Карину». ¹²

¹⁰ А. Р. Анекдот о Сумарокове. — Соревнователь просвещения и благотворения, 1819, ч. 6, с. 220.

¹¹ (Б. а.) Опись библиотеки, находившейся в Москве, на Воздвиженке, в доме графа Дмитрия Николаевича Шереметьева до 1812 г. СПб., 1833, с. 465, № 358.

¹² Струйский Н. Е. Соч. СПб., 1790, ч. I, с. 189—190, 305.

Внешняя достоверность этих анекдотов создавалась еще и тем, что поведение героя не противоречило уже сложившейся его репутации.

Представление о характере конкретного человека на основании созданного в преданиях образа определяло ряд деталей, а иногда и основу анекдота. Тогда последний приобретал уже качество художественной литературы — достоверность психологическую.

Такая достоверность, как и в мемуарах,¹³ часто зависела от авторского отношения к герою. Эта зависимость особенно ярко проявлялась в тех случаях, когда один и тот же герой обладал противоположными качествами в анекдотах разных авторов.

Примером могут послужить анекдоты С. Н. Глинки в его «Записках» (СПб., 1895) и И. А. Дмитриевского в «Слове...» о Сумарокове. Созданный в них образ не тождествен общепринятому представлению о писателе. Вот один из таких анекдотов: «Хотя фортуна редко к нему улыбалась, но он был щедр даже до расточения, особливо к бедным и неимущим. Некогда в прогулке своей (нельзя пропустить сего происшествия), некогда встретился он с израненным, но оставленным без пропитания офицером, молящим его о милости. Томный голос, томное лицо, порядок в рассказах, лохмотное рубище, изможденного страдальца едва прикрывавшее, столь сильно Сумарокова тронули, что он, не имея ни при себе, ни дома денег, скинул с себя мундир, обложенный по тогдашнему обычаю золотым широким гасом, отдал его воину, а сам возвратился в плаще своего служителя, за ним следовавшего. Тотчас поехал во дворец и чрез представительство свое доставил и место и содержание раненому на службе отечества. Странная, но сострадательная сия щедрота показывает ясно, сколь много получил он благословений от одолженного и сколь велика была доброта его сердца. Неприятели его сему происшествию смеялись, но истина скоро заградила уста нечестивых. Императрица Елизавета возблагодарила Сумарокова за сей поступок драгоценным перстнем».¹⁴

Анекдот очень близок мемуарам, но в отличие от них редко является «фактом жизненного опыта» самого автора. Авторская «память» обычно складывается здесь из «памяти» многих рассказчиков.

Анекдоты часто встречаются в произведениях большого объема: мемуарах, статьях, письмах и т. п. Но их нетрудно узнать: анекдоту свойственна структурная законченность. Своеобразную «рамку» анекдота составляют ссылка на источник и авторская оценка героя, т. к. чаще всего, анекдот служит иллюстрацией той или иной черты характера. Кроме того, автор часто предупреждает читателя, что далее следует анекдот.

Форма анекдота, «способ эстетической организации материала» во многом определяются целью, которую ставил перед собою ав-

¹³ Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1973.

¹⁴ Дмитриевский И. А. Слово похвальное Александру Петровичу Сумарокову, с. 37.

тор. Иногда он стремится просто сохранить факт жизни писателя, скупо и по возможности точно передавая его, как и требовал того исторический жанр. В качестве примера можно привести анекдот Н. (Бодянский О. М.?), отразивший читательское восприятие «Душеньки» И. Ф. Богдановича в первой пол. XIX в.: «Покойный мой отец жил в Петербурге, когда явилась „Душенька“ И. Богдановича. Известно, как она поразила всех. Но тогда же носилась молва, что Богданович в создании ее ни мало не участвовал. Жил-де у него под протекциею молодой человек, поручивший себя руководству такому именитому писателю, как Богданович. Исполнит Федорович этого молодого человека выдавал за переписчика своих сочинений, а молодой человек в своем кругу тайком читал и свои сочинения, на которые дерзал, в том числе читал и отрывки „Душеньки“. Этот молодой человек от занятий потерял здоровье и вскоре умер. Все бумаги достались Богдановичу. Вскоре затем вышла „Душенька“ и доставила вечную славу Богдановичу задаром. Может так говорила зависть, но чудно, и еще удивительнее, что и современные и посмертные завистники упускали замечание: чудно то, почему Богданович до „Душеньки“ никогда не писал ничего подобного, а прославился „Душенькою“, новым родом писания, продолжал все как писал и до своей славы. Извини меня, покойник! я не из завистников его и не пишу стихов, а, воля его, в „Душеньке“ не его перо и воображение».¹⁵

Но обычно автор старается создать психологический портрет героя, показать яркое проявление характера в той или иной ситуации. В этом случае рассказ приобретает черты литературного жанра, становится похожим на «краткую повесть» (сохраняя при этом «установку на достоверность»). Не случайно Н. Греч относил к разряду «прозаических повестей» и такие «самые краткие повести или анекдоты, из коих истинные принадлежат к истории».¹⁶

Внешний признак сходства биографического анекдота с повестью конца XVIII—начала XIX в. (той ее разновидностью, которую условно можно назвать новеллой, литературным анекдотом и т. п.) — краткость повествования. Но все же анекдот, как правило, короче повести. Здесь отсутствуют «необязательные» описания быта, природы (как и в поздней новелле).¹⁷ В повести — это один из элементов «композиционного строения».

Сюжет такого анекдота, как правило, однолинеен. Число действующих лиц — максимально ограничено. Если для большинства «кратких повестей» каноничным является «двучленное построение», то здесь главный герой один.

¹⁵ Н. (Бодянский О. М.?). Подозрение о Богдановиче. — Москвитянин, 1842, т. I, № 1, с. 176.

¹⁶ Греч Н. И. Учебная книга русской словесности... СПб., 1830, ч. III, с. 326.

¹⁷ Реформатский А. Опыт анализа новеллистической композиции. М., 1922, вып. 1.

Действие биографического анекдота развивается в небольшой отрезок времени, характерно отсутствие временных сдвигов. В повести (даже краткой) действие может охватывать много лет, часто хронологическая последовательность не соблюдается.

Неизменное свойство сюжета в анекдотах этого типа — динамизм. Один из способов достижения его — смена манеры повествования. Это происходит, например, в анекдоте о Богдановиче и его слуге Павле: «Богдановичу после родителей досталось наследство небольшое. Ипполит Федорович отказался от своей части в пользу сестры, а себе взял только одного дворового мальчика, Павла, который с тех пор и находился при нем, исправляя должность комердинера. Он сам учил мальчика грамоте, привык к нему и обходился как с родным. Случилось Богдановичу в то время, как он жил в Москве и служил в Архиве, получить откуда-то или скопить 1600 рублей. Один приятель Павлов, тоже чей-то дворовый человек, услышав об этой сумме, подговорил Павла украсть ее, а после бежать вместе с ним. Между тем сам он, принявшись за такую же операцию возле своего господина, попался и рассказал весь свой умысел. Господин отправился к Богдановичу.

— Мне нужно поговорить с вами, — сказал он; а Павел стоял тут же.

— Что прикажите?

— Мне нужно поговорить наедине.

— При этом человеке вы можете говорить все, что угодно; это мой близкий.

— Нет, — я прошу вас выслать его.

— Пожалуй! Что вы желаете?

— Он собирался украсть ваши деньги и бежать с моим человеком, которого я поймал и получил это признание.

Богданович изумился. Распростившись с неизвестным, он призвал к себе виноватого.

— Паша! Не обидел ли я тебя?

— Помилуйте, я вами всегда доволен.

— Но я замечаю, что ты становишься недоволен мною.

— Никак нет-с, ничего.

Богданович не сказал больше ни слова, отправился в Гражданскую Палату, написал отпускную, засвидетельствовал ее и, воротясь домой, позвал Павла.

— Вот тебе отпускная! Зачем ты хотел уйти от меня тайком? Ведь ты погиб бы. Товарищ твой плут, выманил бы у тебя деньги, и ты остался бы ни с чем. Тебе надо было сказать мне просто, что не хочешь жить у меня. Я не стану держать тебя поневоле. Вот тебе половина моих денег.

— Виноват, батюшка! простите! — закричал Павел и повалился ему в ноги. — Я останусь у вас навеки.

— Пожалуй, — сказал Богданович, — останься, но если ты соскучишься у меня, захочешь уйти, то вот отпускная будет лежать

здесь за зеркалом. Ты можешь взять ее всегда, только, пожалуйста, не бери всех денег, а оставь мне половину.

Этот Павел оставался при Ипполите Федоровиче до его кончины, и рассказал сам об этом происшествии в Курске Михаилу Семеновичу Щепкину, от которого я слышал этот анекдот уже лет 10 назад, а теперь записал, чтоб сохранить драгоценную черту добродушия в знаменитом нашем авторе „Душеньки“». ¹⁸

Здесь рассказ ведется то от лица автора, то, как в драме, строится на обмене репликами. Между «драматическими» кусками происходят события, переданные одной-двумя фразами автора; столкновение противоположных манер и рождает динамику. Невыдержанность в одном темпе, ритмические перебои свойственны анекдотам со сравнительно продолжительным повествованием. Это и свидетельство незавершенности литературной обработки.

Текст биографического анекдота XVIII—нач. XIX в. от текста литературного отличает еще и высокая степень неустойчивости (как в фольклоре).

Биографический анекдот, таким образом, близок документальной литературе своей установкой на достоверность, художественной литературе — формой «краткой повести» и, наконец, фольклору — текстуальной неустойчивостью, вариативностью. Анекдот мог легко переходить в любой из этих разрядов, но не совпадал полностью ни с одним из них. Биографический анекдот, вероятно, — результат взаимодействия двух типов культур: устной и письменной, и двух видов литературы: документальной и художественной.

С развитием жанра биографии, с появлением научной биографии писателя анекдот перестает быть первостепенным документальным источником. Подход к нему в этом отношении становится более критическим.

Общей тенденцией в развитии анекдота было требование остроумной концовки и измеряемого мгновением временного пространства. Оно окончательно оформилось к 30-м годам XIX в. Анекдоты о писателях XIX в. в большинстве своем имеют мало общего с рассмотренными выше и представляют собой уже другой этап в развитии жанра.

¹⁸ М. П. (М. Погодин). Анекдот о Богдановиче. — Москвитянин, 1853, № 13, с. 30.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Августин 68, 71, 221, 226
 Авзоний 221
 Авраамий Палицын 271
 Адамс С. 20
 Аддисон Д. 254
 Азадовский М. К. 24
 Акчурин С. В. 271
 Александр I, имп. 85, 90, 111, 130, 167
 Александр VII, папа римский 207
 Александр Македонский 48
 Алексеев-Попов В. С. 109
 Алпатов М. А. 44
 Алпатов М. В. 87
 Альшиц Д. Н. 187
 Анакреон 49—54
 Анахарсис 183
 Ангел Силезский 88
 Андьял Э. 207, 209
 Аничков Д. С. 43
 Анна Иоанновна 212, 217
 Ариосто Л. 201
 Аристотель 30, 200, 221
 Аристофан 200
 Артемьев А. И. 206, 215
 Архаров Н. П. 261

 Бабкин Д. С. 44
 Багрицкий Э. Г. 232
 Багрянский М. И. 106
 Баженов В. И. 120
 Бальзак О. де 224
 Бантыш-Каменский Д. Н. 275, 277
 Барага П. 120
 Барг М. А. 67
 Барков И. С. 275
 Барро Ж.-В. 221
 Барсов А. А. 187
 Барсуков А. 116, 117
 Барсуков Н. 188
 Бартелеми Ж. Ж. 138, 139, 149, 183
 Бартенева Ю. Н. 278

 Баткин Л. М. 157
 Баттё Ш. 195, 196, 204
 Батюшков К. Н. 52, 53, 56—59, 86, 161, 167, 236, 240
 Бегров, корреспондент И. Г. Гердера 93
 Безбородко А. А. 122, 261
 Безбородко А. К. 41
 Бейль П. 68, 69
 Белинский В. Г. 49, 52—54, 166, 202—204
 Белый А. 235, 236, 238, 241
 Бёме Я. 88
 Беневский 130
 Берков П. Н. 219, 228, 254
 Бестужев (Марлинский) А. А. 196, 204, 254
 Бидер, слуга 104
 Биттнер К. 93, 133, 134, 139, 146
 Бишоффсвердер 108
 Блумфилд Р. 201
 Бобров С. С. 84
 Богданович И. Ф. 50, 281, 287, 288
 Богданович П. 274
 Бодянский О. М. 281
 Болингброк Г. 67
 Болтин И. Н. 9, 10, 35, 168, 187, 266, 271, 272
 Боневиль Н. 109
 Бонне Ш. 30, 134
 Борис Годунов, царь 11, 12, 64, 163, 164
 Боссюэ Ж. Б. 67, 68, 70, 71, 76, 226
 Боярдо М. М. 256
 Брайко Г. Л. 264
 Брант П. 143, 151
 Брокгауз Ф. А. 183
 Буало Н. Д. 194—196, 198, 200, 201, 221
 Бужан Г. Г. 254—256
 Булгаков И. М. 246, 247, 260, 261
 Булгаков Я. И. 245—249, 252, 256—259, 261

- Булгакова М. И. 247
 Булгаковы 246
 Буслаев П. 212
 Бэкон Ф. 26
 Бюффон Ш. 20
- Вадим Храбрый 39
 Варло Ж. 179
 Вартон Т. 198, 200, 202, 203
 Василий Великий 265
 Василий Иванович, вел. кн. 8
 Василий III 163
 Вацуро В. Э. 132, 158, 165, 242
 Вашингтон Дж. 20, 21
 Вевер (Вебер) Х. Л. 248
 Вега Карцьо Л. Ф. де 201
 Вельнер И. Х. 108
 Вергилий 177, 199, 200, 220, 221, 226
 Вергилий Полидор 266
 Вико Д. 13—15, 30, 67, 76—78, 80, 82, 175
 Виланд Х. М. 103, 138, 139, 201
 Виллермоз Ж.-Б. 109, 111
 Винкельман И. И. 50, 56, 74, 78, 99, 192, 201
 Виноградский В. В. 106, 223
 Виноградский И. Н. 251
 Вицман А. 274
 Владимир Великий 177
 Владимир Мономах 185, 187—189
 Воейков И. Г. 245
 Волконский П. М. 279
 Вольней К. 82
 Вольтер 7, 10, 20, 25, 28, 33—35, 37, 43, 45, 67—72, 74, 75, 93, 98, 101, 157, 171, 182, 195, 200, 201
 Вомперский В. П. 217
 Воронцов А. Р. 110, 113, 117, 120, 122, 130
 Воронцов М. С. 129
 Воронцов Р. 127
 Воронцов С. Р. 110, 111, 114, 120—123, 128—131
 Воронцовы, кн. 44
 Востоков А. Х. 206
 Всеволод, кн. 39
- Гавиньский Я. 211
 Гаврилов А. В. 263, 264
 Галахов А. Д. 134
 Галилей Г. 49
 Галлер А. 201
 Гальцов И. А. 263
 Гамерини Т. 214
 Гегель Г. В. Ф. 68, 72, 80, 91, 202
 Гез Ж. Л. 224
 Гей Д. 250
 Гельвецкий К. А. 15, 18, 25, 45, 75
- Герасимова Ю. И. 246
 Гердер И. Г. 3, 4, 6, 7, 11, 15, 23, 24, 26—32, 38, 41—44, 47, 51, 52, 55, 56, 59, 67, 72, 78—82, 85, 91—101, 133—140, 145, 146, 150, 154, 157, 173, 175, 176, 192, 193, 202
 Геродот 183
 Герцен А. И. 120
 Геснер С. 201
 Гете И. В. 28, 29, 81, 101, 137, 138, 158, 192, 201, 204
 Гиббон Э. 67, 72, 74, 170
 Гиллельми М. И. 132, 165
 Гинзбург Л. Я. 280
 Глинка С. Н. 142, 277, 280
 Гнедич 161
 Голицышев-Кутузов Л. И. 270
 Голиков И. И. 9
 Голицын Д. М. 211—213, 217
 Голицыны, кн. 110, 111
 Гольбах П. А. 45
 Гольц А.-Ф.-Ф. 126
 Гомбёर्वиль М. Л. де 255
 Гомер 23, 29, 52, 70, 116, 137, 140, 199—201
 Гораций 52, 200
 Горфункель А. Х. 268
 Горчаковы 187
 Гостомысл 180
 Градова Б. А. 206
 Грессе Ж. Б. 200
 Греч Н. И. 281
 Грибоедов А. С. 86
 Гримм, барон 278
 Гроддек Г.-Э. 137, 193
 Грот Я. К. 118, 124
 Гузнер И. Н. 206
 Гукковский Г. А. 10, 41—43, 129, 171, 172
 Гулыга А. В. 11, 135
 Гумбольдт В. 91
 Гурьев С. Е. 270
 Гус Я. 49
 Гусев В. Е. 25
- Давыдов Д. В. 198
 Д'Аламбер Ж. Л. 8, 22, 67, 168, 171, 174
 Данилевский Р. Ю. 134, 138, 139, 150, 175
 Данте А. 201
 Дашков Д. В. 194
 Дашкова Е. Р. 117
 Декарт Р. 49, 171
 Дельплэ Ж. 201
 Демаре де Сен Сорлен 255
 Демидов П. А. 266
 Демин А. С. 212
 Державин Г. Р. 27, 33, 51—56, 58,

- 118, 129, 152, 161, 195, 197, 201,
202, 204, 235, 236, 238—243, 270,
278, 279
- Державин К. Н. 70
Десницкий А. В. 259
Десницкий С. Е. 43
Деффан М. дю, маркиза 70
Джами 201
Джонстон Ч. 253, 254
Дидро Д. 5, 8, 15, 17—19, 22, 32, 50,
67, 72, 75, 76, 174, 192
Дмитрий Ростовский 217
Дмитревский И. А. 275, 280
Дмитриев И. И. 104, 124, 128, 146,
197
Дмитриев Л. А. 187
Дмитрий Донской 164
Добролюбов Н. А. 188
Долгорукие, кн. 212, 213
Домашнев С. Г. 218
Дружеровиков Г. 279
- Евгений (Болховитинов) 271
Еврипид 199
Еймермахер К. 120
Екатерина II, имп. 18, 19, 38, 45,
46, 64, 107, 108, 110, 111, 116, 117,
120—123, 127—131, 151, 167, 182,
183, 186—189, 261, 266, 269, 270—
273, 278, 279
Елизавета, имп. 116, 280
Ермак Тимофеевич, атаман 40
Ефрем Диаковский 216, 217
Ефремов П. А. 218
Ефрон И. А. 183
- Жибер Б. 228
Жирмунская Н. А. 81, 94, 175, 192
Жирмунский В. М. 7, 23, 79, 81
Жокур Л. де 174
Жуковский В. А. 27, 56, 161, 167,
196, 201, 204, 232, 236, 240
- Западов В. А. 187
Засекины 187
Зицков В. Н. 110, 111, 113—116,
118, 223
Зубов П. 129
- Иван III Васильевич, вел. кн. 39,
178, 179
Иван IV Грозный, царь 11, 64, 163,
164, 179, 181, 271
Иванов А. А. 87
Иванов М. В. 144
Иероним 221
- Ингольд-Ракуза И. 120
Иоанн Златоуст 221, 226
- Кайсаров А. С. 161
Калидаса 140
Кальдерон П. 201
Канкрин Ф. Л. 269, 270
Кант И. 30, 67, 72, 103, 137
Кантемир А. Д. 25, 49, 57, 204, 230
Канунова Ф. З. 56, 141
Капшин В. В. 52, 275
Каподистрия И. А. 89
Каракалла, имп. 116
Карамзин Н. М. 4, 6, 9, 12, 27—
33, 35, 53, 55, 56, 59, 60—65, 69,
82, 84, 88—90, 102, 104—108, 111—
114, 116, 118, 121—125, 127—156,
158—170, 177, 179, 183, 193, 194,
197, 204
Каржавин Ф. В. 268
Карин Ф. Г. 277, 279
Карл Великий, имп. 67
Карл XII, король 34, 93
Карлова Т. С. 152
Карманов Д. И. 260, 261
Карякин Ю. Ф. 17, 18, 160
Кафенгауз Б. Б. 44
Квинтилиан 221
Кириак Т. 251
Кий 175
Киприан 221, 226
Клангай Т. 208
Клезн Х.-Ф. 264
Климовец Н. Д. 236
Клод де Боз 226
Клошток Ф. Г. 201, 137
Княжнин Я. Б. 9, 40, 151, 197, 269,
270
Козицкий Г. В. 266
Колокольников В. Я. 106
Колосов В. 261
Кольдов 232
Комаровский Е. Ф. 104, 111
Коммод Луций 116
Конде Л. 121
Кондильяк Э. Б. де 168, 170, 171, 173
Кондорсе Ж. А. Н. 67, 122, 128, 173
Константин, вел. кн. 167
Константин, визант. имп. 177
Корнель П. 199, 200, 201, 221, 226
Корнель Т. 221, 226
Корсаков Д. А. 213
Корсаков С. Н. 82
Корф 224
Коссар Г. 221
Костар П. 224
Костров Е. И. 277, 278
Кохановский П. 205, 214
Кохановский Ян 205

- Коховский В. 205
 Кошганский Н. Ф. 276
 Кошелев Р. А. 110, 111
 Кошелева В. И. 113
 Кребийон-сын Ж. 255
 Кретье Ж.-Б. 225
 Крестова Л. В. 151
 Кромвель О. 48
 Кросс А. Г. 138
 Крылов И. А. 204
 Кудрявцев М. 264
 Кузьмин Л. 263
 Кулакова Л. И. 167, 187
 Курянова Е. Н. 60, 112
 Курганов Н. Г. 25, 26
 Кутузов А. М. 105—108, 110—113, 123
 Кюхельбекер В. К. 86, 197, 198, 200, 204
- Лабе П. 209
 Лабзин А. Ф. 111
 Лабрюйер Ш. де 200
 Лагарг Ф. С. де 194—196, 202
 Ла Кальпренед Г. де К. де 255
 Лактанций 266
 Ла Порт Жозеф де 248
 Лапчинский А. Х. 207, 214
 Лапшин И. И. 41
 Лафатер Й. К. 104, 118—120, 121, 123, 135
 Лафонтен Ж. де 200
 Левек Ш. 29, 35, 145
 Левин Ю. Д. 23, 140, 250, 251
 Левитский И. 197, 201
 Лейбниц Г. В. 98, 99, 171
 Леклерк Н. Г. 12, 35, 271
 Ленин В. И. 80
 Ленц Я. М. 28
 Лермонтов М. Ю. 41, 234
 Лесаж А. Р. 200, 244, 245
 Лессинг Г. Э. 51, 67, 78, 81, 101, 132, 192, 200, 201
 Лехавый С. С. 269, 273
 Ливий Тит 220, 221, 226
 Лякурж 179
 Линней К. 264
 Лирья де 213
 Лифшиц М. А. 77
 Лихачев Д. С. 214
 Лобанов-Ростовский А. Б. 246, 261
 Локк Д. 21, 30, 142
 Ломоносов М. В. 9, 26, 44, 49, 67, 69, 93, 123, 130, 177, 201, 204, 217, 229, 236
 Лонгин Дионисий 197, 204
 Лонгинов М. Н. 134
 Лопухин И. В. 106
 Лоранский А. 266
- Лотман Ю. М. 60, 84, 86, 87, 113, 132, 136, 137, 147, 150, 153, 158, 172, 179
 Лузянина Л. Н. 132, 138, 162
 Лукан 199, 220—222
 Лукач Г. 67, 73, 81
 Лукриан 200, 246, 247
 Львов Н. А. 51, 52, 270, 271
 Любер де 252
 Люблинская А. Д. 8, 67, 174
 Любомирский Е. 207
 Любомирский С. Х. 205—215, 217, 218
 Людовик XIV 100, 145
 Людовик XVI 107
 Лютер М. 24, 49
- Мабли Г. Бонно де 5, 43, 45, 67, 83, 100, 168, 170, 171, 179
 Мазарини Дж. 226
 Макаров М. 277
 Макаров П. И. 194
 Макогоненко Г. П. 60, 129, 132, 133, 144, 146, 151, 152, 163, 172, 173, 178
 Мамертин 221
 Манкиев А. 8
 Маон А. 273
 Маон Л. 268, 273
 Марино Дж. 207
 Мария Федоровна 111, 120, 121, 123
 Маркс К. 5, 15, 16, 65, 73, 80, 159, 202
 Мармонтель Ж. Ф. 176
 Мартынов И. И. 197, 201
 Мартынов И. Ф. 219
 Машков А. 104, 110, 111, 121
 Мейнерс Х. 195
 Мерзляков А. Ф. 195, 197, 202
 Мерсье Л. С. 5
 Миллер Г. Ф. 9, 93, 186, 224, 225, 227, 271
 Мильтон Дж. 116, 201
 Миних Б. Х. 126
 Миранда Ф. 122
 Мировулий Тассалин см. Любомирский С. Х.
 Михаил Всеволодович, кн. 189
 Моисеева Г. Н. 187
 Мольер 200
 Монтень М. 79, 207
 Монтескье Ш. 5, 7, 15, 16, 20, 38, 42, 43, 45, 67, 69, 72, 74, 78, 100, 101, 122, 157, 168, 170—173, 179, 180, 184, 195, 196
 Мориз К. Ф. 138, 158, 159
 Морозов А. А. 209
 Мосальские, кн. 186
 Мстислав Романович, кн. 183

- Муравьев И. М. 123
 Муравьев М. Н. 10, 27, 167—184
 Муравьев Н. М. 164
 Муравьев-Апостол И. 197, 199, 200
 Муравьева Е. Ф. (Колокольцева) 168
 Муравьева Ф. Н. 175
 Мусин-Пушкин А. И. 187, 270, 271, 272
 Надежда Ивановна, княгиня, племянница М. М. Хераскова 278
 Надеждин Н. И. 203
 Назарий 221
 Наполеон I, имп. 55, 199
 Невзоров М. И. 106
 Некрасов Н. А. 232
 Нестор, летописец 36
 Никитенко А. 276
 Николай I, имп. 19
 Николай Михайлович, вел. кн. 111
 Новиков Н. И. 9—12, 19—21, 25, 26, 33, 35—37, 105, 107, 108, 114, 120, 133, 186, 225, 252—254, 258, 264, 265, 271, 272, 274
 Оболенский Н. А. 263
 Овчинников М. К. 274
 Одоевские, кн. 186
 Олег, киевский кн. 58, 59, 178
 Ольга, княгиня, жена Игоря Рюриковича 176
 Орлов Г. Г. 110, 116—118
 Орлова Е. Н. (Зиновьева) 116—118
 Орловы 110, 111
 Оссиан 23, 140, 201
 Отвиновская Б. 209, 214, 217
 Павел I (Павел Петрович), имп. 88, 111, 118—121, 123—125, 127, 129, 130, 131, 273
 Пакат 221
 Панин Н. И. 120, 129, 130
 Панченко А. М. 206, 208, 211, 214
 Патрю О. 224
 Пекарский П. П. 124, 224, 228
 Пенчко Н. А. 244
 Пермский М. 254
 Перро Ш. 198
 Пестель П. И. 86
 Петр I, имп. 8, 19, 29, 33—35, 38, 47, 56, 57, 84, 93, 127, 145, 146, 164, 181, 182, 185, 217
 Петр II, имп. 212
 Петр III, имп. 125—127, 130, 131
 Петрарка Ф. 174
 Петров А. А. 108, 139
 Петров Н. И. 206, 217
 Петровские М. П. и Н. М. 220
 Пештич С. Л. 9, 177
 Пиндар 199—201
 Питт В. 116
 Плавт 200
 Платон 30, 137, 179
 Плеханов Г. В. 67
 Плещеев А. А. 138
 Плимак Е. Г. 17, 18, 160
 Плиний Младший 221, 226
 Плюшар А. А. 276
 Погодин М. П. 134, 288
 Поликарпов Ф. П. 8
 Поликрат, тиран 51
 Полонская И. М. 268
 Пономарев С. 125
 Поп А. 201
 Попов В. С. 187, 272
 Попов М. В. 26
 Попов Н. 11
 Порошин В. С. 124
 Порфирий Крайский 217
 Потемкин Г. А. 111, 116, 117, 129
 Прач И. 52
 Прево д'Экзиль А. 255
 Приклонская Е. В. 259
 Приклонские 246
 Приклонский А. 246
 Приклонский В. А. 244—254, 256—261
 Приклонский В. В. 245
 Приклонский М. В. 244, 245
 Прохоров А. В. 236
 Пугачев Е. И. 12, 25, 38, 128, 189
 Пумпянский Л. В. 223, 225, 227, 228
 Пушкарев Л. Н. 206
 Пушкин А. С. 3, 4, 6, 19, 41, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 89, 104, 106, 132, 156, 157, 162, 196, 198, 200, 201, 204, 234, 235, 238—241
 Пыпин А. П. 189
 Рабле Ф. 201
 Радищев А. Н. 4, 6, 9, 12, 14—16, 19, 21, 27, 34, 39, 41—44, 46, 48, 55, 56, 67, 82, 108, 110, 120, 129, 151, 179, 185, 187—189, 234, 274
 Разин С. 48
 Разумовская 110
 Разумовская М. В. 220
 Разумовский К. Г. 118
 Рак В. Д. 250
 Рамлер К. В. 201
 Расин Ж. 199—201, 221, 226
 Растопчин Ф. В. 84—86, 131
 Рахманинов И. Г. 250, 274
 Рейзов Б. Г. 192
 Реймарус Г. С. 67
 Рейналь Г. Т. Ф. 5, 6, 12, 17, 18, 20—22, 31, 32, 43, 67, 122

- Решин Н. В. 110, 114
 Решины 187
 Реформатский А. 281
 Ржевский А. А. 50
 Ридигер Ф. В. 248
 Рижский И. 199, 202
 Римский-Корсаков А. М. 121
 Рихтер А. 278
 Ричардсон С. 201
 Ришелье А. Ж. дю Плесси 145
 Робертсон У. 67, 74, 170
 Рок Ж. Э. 252
 Роллен Ш. 225—227
 Ромул 175
 Рондо К. 213
 Ростислав Мстиславич 189
 Руссо Ж.-Ж. 5, 10, 15, 16, 22, 33—
 35, 45, 46, 60, 67, 71, 72, 75, 79,
 83, 85, 94, 95, 98, 136, 142, 148, 149,
 160, 170, 173, 174, 182
 Рылеев К. Ф. 59, 196, 198, 200, 204
 Рылеев Н. И. 113
 Рюрик 39, 175, 185, 189, 271
- Саади 201
 Саллюстий 220, 222, 226
 Салтыков П. С., фельдмаршал 278
 Сарбевский М. К. 205
 Сафо 52
 Свифт Дж. 201, 254
 Святослав, кн. 186
 Святослав Ярославич 189
 Сегре Ж. 221
 Сеерс, англ. поэт 140
 Семенников В. П. 254
 Сен-Мартен Ж.-К. 109, 110, 111, 114,
 120, 121, 123
 Сен-Симон К. А. 72, 87
 Сенека 213, 220, 221, 226
 Сен-Пьер Ш. И. де 183
 Сервантес Сааведра М. де 200, 201
 Сигал Н. А. см. Жирмунская Н. А.
 Симеон Полоцкий 215
 Симолин И. М. 121
 Сиповский В. В. 275
 Сисмонди Ж. Ш. Ж. С. де 55, 56
 Ситковский Е. 171
 Ситников А. А. 206
 Скавронский П. М. 110
 Скотт В. 3, 4, 6, 55, 59, 60, 163
 Складери М. де 254, 255
 Смирдин А. С. 168
 Смирнов Н. А. 215
 Смит А. 74
 Смоллет Т. 253
 Соболевский А. И. 206
 Соймонов П. А. 266—268, 270, 272,
 273
 Соколов И. 246
- Солнцева 187
 Соловьев С. М. 130
 Сомов О. 196, 197, 200, 201, 204
 Сопиков В. 125
 Софронова Л. А. 209
 Софья Алексеевна 211
 Спиноза Б. 134
 Спиридов М. Г. 187
 Сталь А. Л. Ш. де 55, 56
 Старцев А. 110
 Стефан Яворский 217
 Стрекалов Г. Ф. 268
 Струйский Н. Е. 279
 Суворов А. В. 183, 277
 Суворов В. И. 247
 Сумароков А. П. 26, 50, 51, 204, 229,
 256, 275, 278, 279, 280
- Тальман П. 218, 223
 Тараповский К. Ф. 236
 Тассо Т. 57, 58, 214
 Татищев В. Н. 9, 11, 44, 67, 69, 165,
 168, 271, 272
 Тацит 199
 Твардовский С. 205, 214
 Тезауро Э. 209
 Тейльс А. А. 248
 Теокрит 246
 Тертуллиан 221
 Тиман П. И. 114
 Тимофеев Л. И. 228
 Тихонравов Н. С. 84
 Тойбин И. 132
 Толстой Л. Н. 86, 88
 Тома Ж. 268
 Томашевский Б. В. 229, 230, 235, 238,
 239, 241
 Томсон Дж. 201
 Тредиаковская Е. И. 274
 Тредиаковская Н. И. 262
 Тредиаковский В. К. 26, 210, 218,
 219, 228—234
 Тредиаковский И. Н. 262—274
 Туманский Ф. О. 9, 10
 Тургенев А. И. 161
 Тургенев И. С. 88
 Тургенев Н. И. 86, 163
 Тургенев Н. П. 161
 Туттолмин Т. И. 260
 Тьерри О. 73
 Тюрго А. Р. Ж. 25, 43, 67, 72, 173,
 178
 Тюренин 221
- Успенский Б. А. 84, 86, 113
 Ушаков Ф. В. 44
 Уэбб 100

- Фаустина Анния 116
 Федор Алексеевич, царь 185
 Федор Иванович, царь 11
 Федор Ростиславич, кн. 189
 Федоров В. И. 142, 151
 Фенелон Ф. 140, 169, 221, 226
 Феокрит 199, 200
 Фергюсон А. 67, 74, 170
 Фердинанд, герцог Брауншвейгский 111
 Филдинг Г. 201, 253
 Фирдоуси 201
 Флешье Э. 221, 226
 Фомин А. 161
 Фонвизин Д. И. 25, 38, 120, 129, 130, 188, 204
 Фонтенель Б. де 199
 Фоше К. 109
 Франклин Б. 20
 Фредро А. М. 213
 Фридрих II, имп. 45, 127
- Хафиз 201
 Хемницер И. И. 52, 275
 Херасков М. М. 50, 139, 144, 197, 201, 204, 256, 278
 Храповицкий А. В. 188
 Хэрнас Ч. 207, 209
- Цицерон 220, 221, 225, 226
 Цицианов П. Д. 84
- Чатам, гр. см. Питт В.
 Чеботарев Х. А. 187
 Чернов С. Н. 130
 Чернышевы 187
 Чернявский М. 246, 261
 Чижевский Д. И. 206
 Чингисхан 48
 Численко Н. Д. 206
 Чистович И. А. 227
 Чичагов П. В. 128
 Чулков М. Д. 25, 26
- Шамрай Д. Д. 244
 Шанп д'Отрош 35—37
 Шарпантье Л. 256
 Шекспир В. 28, 78, 101, 132, 201, 270
 Шенгели Г. А. 235
 Шереметев Д. Н. 279
 Шиллер Ф. 67, 81, 162
 Шильдер Н. К. 111
 Шияшков А. С. 12, 13, 84—86, 88, 90, 192, 194, 202—204
 Шишмарев В. Ф. 94
 Шлегель А. 28
- Шлёцер А. Л. 67, 69, 93
 Шлоссер Ф. К. 9
 Шнор И. К. 259
 Шторм Г. П. 104
 Штранге М. М. 262
 Штриттер И. Г. 225
 Шувалов А. И. 84
 Шульгин Я. К. 266
 Шумахер И. Д. 220
- Щеголев П. Е. 41
 Щепкин М. С. 288
 Щербатов М. М. 9, 38, 67, 116, 127, 168, 186, 187, 189, 271, 272
 Щербатовы 187
- Эйхенбаум Б. М. 143, 158
 Энгель И. 201
 Энгельс Ф. 5, 65, 73, 80, 159
- Ювеналий см. Воейков И. Г.
 Юм Д. 5, 21, 43, 67, 74, 86, 162, 170
 Юнг Э. 201
- Язвницкий П. 197, 202
 Яковлев А. 274
 Ян Казимир 207
 Ян III Собесский 205
 Ярослав Мудрый 180, 186, 189
 Ярослав, кн. 164
- Angyal A. см. Андьал Э.
 Bary R. 227
 Bougeant G. H. см. Бужан Г. Г.
 Boulliers de 125
 Boze C. 226
 Brang P. 141
 Buffier C. 227
 Cassirer E. 67
 Chaquin N. 109
 Charpentier L. см. Шарпантье Л.
 Chrzanowski J. 208
 Cioranescu A. 192
 Cross A. G. 139
 Cуzevskij D. см. Чижевский Д. И.
 Cibert V. 227
 Dilthey W. 67
 Flechier E. 226
 Frenais Jos.-P. 253
 Głowinski M. 214
 Grevier J.-B. 227
 Grimm J. 97
 Grimm W. 97
 Hamilton W. 251
 Hawkesworth J. 251

- Heir Ed. 120
Hernas Cz. см. Хэрнас Ч.
Heuzet J. 246
Johnson S. 252
Johnston Ch. см. Джонстон Ч.
Jons A. W. 97
Kosny W. 141
Lavater J. C. см. Лафатер Й. К.
Le Bihan A. 111
Lefranc A. 225
Lenglet-Dufrenoy N. 255
Lubomirski St. H., Lubomirius S.
см. Любомирский С. X.
May G. 254
Mirobulius Tassalinus см. Любомир-
ский С. X.
- Morawiecki St. 208
Otwinowska B. см. Отвиновская Б.
Pamp F. 134
Pelc J. 209
Pollak R. 213, 214
Rivarol O. 225.
Rollin Ch. 226
Rynduch Z. 217
Saint-Martin L.-C. см. Сен-Мартен
Л.-К.
Scudéry M. de см. Скюдери М. де
Secrecka M. 109
Strahlmann B. 120
Swift J. см. Свифт Дж.
Williams H. 254

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ГПБ — Рукописный отдел Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина
ГБЛ — Рукописный отдел Библиотеки им. Ленина
ЛЮ ААН — Ленинградское отделение Архива Академии наук
ЛОИИ АН — Рукописный отдел Ленинградского отделения Института истории АН СССР
РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов
ЦНБ — Центральная научная библиотека АН УССР
АН УССР
ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и литературы
Сб. ОРЯС — Сборник Отделения русского языка и литературы
ТКДА — Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы
СК — Сводный Каталог русской книги гражданской печати XVIII века (1725—1800), М., т. 1—5. 1962—1967.

СОДЕРЖАНИЕ

I

Г. П. Макогоненко. Из истории формирования историзма в русской литературе	3
Г. М. Фридлиндер. История и историзм в век Просвещения . . .	66
Ю. М. Лотман. Идея исторического развития в русской культуре конца XVIII—начала XIX столетия	82
Н. А. Жирмунская. Историко-философская концепция И. Г. Гердера и историзм Просвещения	91
Ю. М. Лотман. Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг. (к генезису исторической концепции Карамзина)	102
Н. Д. Кочеткова. Формирование исторической концепции Карамзина — писателя и публициста	132
Л. Н. Лузянина. Проблемы историзма в творчестве Карамзина — автора «Истории государства Российского»	156
И. Ю. Фоменко. Исторические взгляды М. Н. Муравьева	167
Г. Н. Моисеева. К пониманию идейного замысла «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (глава «Тосна») . . .	185
Г. Н. Ионин. Спор «древних» и «новых» и проблема историзма в русской критике 1800—1810 годов	192

II

С. И. Николаев. Элогий и проповедь (проблемы изучения перевода «Adverbia moralia» С. Х. Любомирского 1730 г.)	205
С. А. Кибальник. Об одном французском источнике эстетических взглядов Тредиаковского	219
В. Е. Холшевников. Заметки о русском стихе XVIII века	229
В. Д. Рак. Переводчик В. А. Приклонский	244
И. Ф. Мартынов. Забытый типограф XVIII столетия Иван Никитич Тредиаковский	262
Н. П. Дробова. Биографические предания о русских писателях XVIII в. как историко-литературное явление	275
Указатель имен	284
Список сокращений	292